

ISSN 0132-0637

2000

4

Октябрь

Октябрь

4 2000

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

4

2000

АПРЕЛЬ

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Татьяна АНДРОНОВА. На освещенной жизнью стороне... Стихи	3
Николай КЛИМОНТОВИЧ. Конец Арбата. Повесть	20
Александр ВОЛОДИН. Хосе, Кармен и Автор. Рассказ	56
Владимир КАЧАН. Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка... Свободное со- чинение на свободную тему	64
Владислав ОТРОШЕНКО. Гоголиана	123
Григорий ПЕТРОВ. Родословное древо. Рассказы	143

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Борис ХАЗАНОВ. Вейнинггер и его двойник	166
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Павел БАСИНСКИЙ.

Постфеминизм. У русской литературы была женская душа 176

Терпение бумаги

Ольга СЛАВНИКОВА.

Двенадцать лет спустя. Два эксперимента «молодежной» литературы 180

Актуальная культура

Владимир БЕРЕЗИН.

Зверье 187

Песни познания

Фасон испанского сапога. Гвоздь нового зона 190

Главный редактор
Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

Редакция:

Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

Общественный совет:

Леонид Баткин, Юрий Буртин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Людмила Петрушевская, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин, Сергей Юрский.

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3850 экземпляров журнала.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64, ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии – 214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 2000. Электронная версия журнала www.infoart.ru/magazine/October

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Татьяна ТРОШИНА.

Сдано в набор 28.02.2000. Подписано к печати 22.03.2000. Формат 70x108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 8530 экз. Заказ № 525. Цена 29 руб. 50 коп.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Татьяна АНДРОНОВА

На освещенной жизнью стороне...

Легкий день

Давно уже не было легкого дня.
Текут мои дни, будто реки,
туманна, темна для меня
и в блеске дневного огня
невидима сила стремнины,
клубящейся этой лавины...
Когда я усталые веки
покорно, блаженно сомкну,
какие земные картины
сквозь сон, дымовую волну,
заглазная память откроет?
Какие найдутся слова
(душа моя, если жива,
со мной откровенна порою)?
Какое покажут круженье
воскресшие вновь жернова,
какое усилие проявят
в придуманном новом движенье,
кого перетрут и восславят,
к двуручному счастью склоня?
Давно уже не было легкого дня —
счастливой бесспорности, воли
(повсюду для жизни любой)
без жертвенной крови и боли
военной и прочей страды,
без дружб с чужеродной судьбой,
сменяемой вихрем вражды,
без чувства украденной жизни,
своей, а не чьей-то отчизны...

1999

* * *

На древнейшей равнине — наши села и города,
но повсюду мы чувствуем осквернение собственной жизни,
обиталище тайное чье-то, чужеродную волю, когда
искажение слов и времен разрушает усилие отчизны.

Одинокость славянская, позабытая в прошлом душа,
 больше прочих добра и отзывчива на великие таинства эти,
 на великие бредни, чужие (не злодействуя и не греша,
 не молясь о пустом и не веруя в милость на свете...).

Нелегко нас поэтому уничтожить или изгнать,
 как других изгоняли из мира в неприкаянность точно такую.
 Мы, илоты в веках, мы успели бессилье и гибель понять
 и еще отстраненность в ничто, в разноликость людскую.

Что осталось? Затишье посредине всеобщей борьбы,
 вместо родины — бедные избы (холодящие сердце приметы!).
 Может, кто-то в счастливое время единенья народной Судьбы
 вспомнит нас и когда-нибудь мы однолюбом будем воспеты.

1999

* * *

Слышно вдали колокольный звон —
 ранняя Пасха. Апрель.
 Тают сугробы со всех сторон
 или со всех земель.

Нынче явления жизни опять
 смешаны на крови...
 Мир просвещенный не хочет знать
 о совести и о любви.

Быстро взвиваются битвы вождей,—
 колокол сельский звенит!
 Новое тысячелетье людей
 душу мою леденит.

Время — чужое, и траур среди
 сонма горящих свечей.
 Рабство для белых еще впереди,
 битвы народов еще впереди,
 будто наш Бог — ничей.

1999

Год 2000

*А со мной только мрак и Русь.
 Анна Ахматова*

На этой грани без названья —
 конец столетья, подлость жизни,
 тревога, гневное прощанье
 или начало для Отчизны.

всё, что кому-нибудь станет угодно
или отпущено даже судьбой!).
В этом оркестре — земли грохотанье,
гул равномерный — морское дыханье,
шторм океанский, ревуший прибой
тяжко бросает, как горы вздымает
в небо светящийся омут волны —
в берег, на скалы его вековые.
Слушайте голос природы с вниманьем!
В древнем оркестре — есть песни людей:
просьбы, молитвы, слова огневые...
Музыка эта, как вещие сны,
рвет наше сердце на сотни частей,
горечь внушает нам, тайное знание
каменной плоти — воздушной стены,
смутную тяжесть, пока мы живые,
нашу отчаянность и беспризорность
жизни в оковах (как смерть в пеленах!),
жизни, свивающей путы кривые,
но уплывающей в некую звездность
вместе с другими (все дальше! в просторность!)
с общей мечтой, что мы здесь не впервые!
«Да, не впервые! Мы здесь не впервые!
Стикс полноводный, но пусто в челнах!» —
кто-то воркует, едва различимо,
разные песни про нашу повторность,
кровную, нежную родственность Крыма.

1996

* * *

*Почудилось
мне грохотанье ступки истребительной.
Аристофан. Мир.*

Где-то готовится бойня, война,
и разделение народов,—
все откровенней, шире она
с веками захватов, походов
и непроглядной тьмой
над жизнью и смертью иной...
Снова разводится древний костер,
уже заискрилось огниво,
фитиль за клубился, крикливо
национальный плетется узор —
властители делят планету,
разбойно гуляя по свету!
Смотрит славянская наша страна
угрюмо и молчаливо
на грандиозный позор.
Молчанью кровавая будет цена,
терпенью — чистилище, вихрь, волна.
Всему станет мера одна.

1999

* * *

Мама, мама, нас вместе убили!
Тебе холодно там, в могиле,
а мне холодно здесь, на земле...
В смертоносном аду,
в дымном, огненном этом котле —
среди крови живой
и растерзанной плоти — я жду
превеликого чуда,
но лишь смерть, только смерть повсюду.
Я из детства с седой головой!
Тебе холодно там, а мне холодно здесь,
где счастливо гарцует азиатская спесь...

1999

Чужое окно

1

За стеной из кустов
и столетних сосновых, еловых стволов,
за весенней листвой,
когда небо особенно синее над головой
и веселые синие пятна через ветви, как очи,
в душу пристально, ясно глядят,
даже в сумрачный день, когда стонут деревья, гудят,
мокнув в грозах и ливнях и когда мои мысли больны
(одиночеством жизни, недовольством собою и прочим),
тогда я благодарно смотрю, как с восходом луны
или в тьме русской аспидной ночи
здесь, совсем недалеко, за стволами, ветвями,
за сиренью, посаженной в ряд
между соснами и тополями,
вдруг окно зажигается, терпеливо и долго сверкает,
неизвестно, кого-то зовет его сонный, загадочный взгляд,
может быть, отвергает...

2

Жизнь чужая не скажет ничего о себе, никогда,
но присутствие племени строго завещано,
и его не отнять, не распать —
древний зов этой общности вместе нас собирает
в поселения и города
и потом разделяет опять.

3

Сколько лучших поэтов — от Марины и Анны —
сокровенно мечтали о родном уголке на земле!
Не богатом, а только — любимом, желанном
(с трясогузками на тропинке
и стрижами под облаками,

Безгрешные боги, великие боги,
избранники есть, да отвергнуты — мы.
Безгрешные боги, далекие боги
исчезли, нас бросив (просторны дороги
небесных морей и сияющей тьмы,
ни отклика там, ни времен-расстояний!),
исчезли, театром земным наслаждаясь!
Наскучило зрелище кукольных знаний
и драмы в единстве — холопы и князь.

Красив ваш корабль, безгрешные боги!
Мы, грешные люди, смешны и слабы:
и пламень, и волны, а лодки убоги...
И все же грехи наши меньше судьбы.

1999

* * *

По веселым дорогам весны
ходим с детским восторгом в очах:
знаем, осенью станут равны
жизнь и память на наших плечах.

Этой милости — нежно любить
жизнь повсюду — научимся мы,
будем с гордым усердьем ходить
по холодным дорогам зимы!

От напора других сторонясь,
мы подумаем: «Эй, скороход!
Не забудь! Погляди (не глумясь!),
что вас в будущей осени ждет!»

1996

* * *

Вновь на исходе дня,
исчерпав жизни штампы,
мы сядем у огня
старозаветной лампы.

Подкрутим фитилек,
задвинем скобку в сенцах,—
привычный уголек
в беседе о чеченцах.

В такой вечерний час
уютно с кружкой кофе,
но не начнем рассказ
о личной катастрофе!

На край родной земли
 посмотрим в этот вечер,
 там чудится вдали
 восшествие предтечи.

Двадцатый век силен
 интригою кровавой:
 кто ложью окрылен,
 кто заморочен славой...

1999

* * *

Светом пронизан лес,
 небо спокойно и мудро.
 Кто-то из мертвых воскрес
 в это прекрасное утро?

Кто-то напомнил: в крови
 нам остается наследство —
 нежная сила любви,
 отклик забытого детства.

1999

Прошлогодняя осень

Когда зима свой календарь листала
 и в мире не было метели, снега, стужи,
 то отражалась грустно и устало
 на тусклом зеркале дневного небосвода
 угрюмая, раздетая природа
 и подсыхали слюдяные лужи.
 А небо ночью было золотистым
 от пыли и огней! Над городом являлось
 с таким сияньем! Бежевым, лучистым,
 хоть ни луча, ни краешка луны
 на землю не струилось с вышины,
 лишь горстка звезд на миг приоткрывалась!
 Мы представляли, что, дневным смиреньем,
 ночной обманной красотой убажая,
 природа нашим становилась отраженьем —
 бесед и тайн участница живая!
 Ведь все надежды отцветали, увядали,
 потом опять мерещились иные,
 но люди милости не знали и не ждали
 в свои избушки земляные и льняные,
 в свои просторы дождевые, ледяные,
 где лес равнинный, где дымки печные
 как знаки жизни возносились и витали,

где древо власти разметалось над травой,
корнями корни ее высосать не в силах,
где за очерченной границей, круговой,
травы — как вечная, текущая река
(в земных, глубинных, переменчивых горнилах),
непостижимая: то с ржавую ботвой
лежит и свежего не видно стебелька,
то жизнь буйствует в ее бессмертных жилах,
в зеленых жилах с венчиком цветка!

Во время оное мы это говорили,
по младости смеялись и острили
(неволью следуя природному закону),
смотрели на сосну, на бурей и снегами
обломанные ветви, как штыками
пронзившие распластанную крону,
торчащие, как золотые жерди
или могучие, захватные крюки...
Вокруг ствола все сгублено, в пыли
иголки, шишки, чахлые ростки
(в опустошенной, истощенной тверди),
но дальше от него, на скошенной поляне,
где режущие лезвия прошли,
вновь поднялась трава, ей будто нету смерти!
Живет! И мы, блаженные славяне,
живем властительным веленьям вопреки.

1997

* * *

Уже река вспухает льдом,
лыжня потеет от натуги
сберечь все зимние досуги —
окольцевать наш дом.

Мы наблюдаем сквозь окно,
как неизбежны перемены,
не отстранят стекло и стены
природное кино.

Сменяет кадр мир родной,
и мы меняем настроенье —
душа являет повторенье,
предсказанное мной!

И как ни блещет белый свет
великой далью, лунной чашей
в просторном небе, — в жизни нашей
как бы дыханья нет.

1998

* * *

Что-то разладилось в мире —
сбои в его карусели,
остановились качели,
будто фальшивые гири
на весах мирозданья!

Но сохраняют преданья
 свой ободок откровенья,
 и над строкою забвенья
 светится напоминанье,
 что разные были бывали
 в кругах людоедской арены.
 Наивные аборигены,
 мы часть этой истины знали.

1999

* * *

Безнадежно и грустно на рассвете пиликают птицы,
 грустно вторят из сумрака леса
 в переключке предутренней с ними...
 Это желтая осень,
 листья рвутся, качаются ветви, не давая покоя синицам,
 там, за первой избой — и за всеми другими.

Это желтая осень скоро мглой и туманом повеет,
 станет вкрадчиво бредить о солнце,
 петь ветрами, дождями своими,
 но пока еще небо
 глубже летнего, ярче, как в торжественном блеске, синее
 там, за первой звездой — и за всеми другими.

Это желтая осень воскресила мне злую, морскую:
 как гремела, катила на берег
 стены волн с трубачами такими,
 будто шествует гибель,
 и за нею не видно, не слышно про единую жизнь людскую
 там, за первой волной — и за всеми другими!

Я-то знаю, о чем рассказать, расспросить и ответить,
 сердце снова речами утешить,
 долгожданнами и дорогими,
 и придумать нам жизнь,
 хотя лучше не помню, чем оставленный облик
 на земном, самодельном портрете,
 там, за первую смертью — и за всеми другими...

1995

* * *

Могучие горы и красный гранит
 накрыты снегами, корой ледяной.
 Льется из скал водопад слюдяной,
 где-то, почти в небесах, возникая,
 будто прозрачная лента звенит, —
 падает ровно волна колдовская!
 И светится передо мной.

Сколько историй и древних легенд
 поведали нам о пустынной земле,
 странно безлюдной! Как нитка в игле,

приметна тропа до машины, и тент
стоит одиноко в заброшенном мире,
где ночью тепло, днем умеренный зной
и нет обозрения прекрасней и шире
на горы и воду за гладью степной!
И хижины нет. Ни одной.

1995

Ожидание весны

Весна торжественна в апреле,
но есть начало в феврале,
когда метель, прощаясь, стелет
лоскут целебный в этой мгле,
туманный, звездный и небесный,
и дремлет в неге мир окрестный
перед цветеньем на земле...

Я нынче с замираньем сердца
встречаю признаки весны.
Еще тропинки холодны,
зато дороги днем — темны,
успев растаять, обогреться
и, будто совершив обряд,
замерзнуть снова: в час луны
ледком серебряным горят,
как две стеклянные струны,
их отпечатки на снегу.
Еще не в силах запылать
окно оранжевым лучом —
свои квадраты посылать,
круги, слепящую дугу,
златые отблески на стены.
Еще не видимы ни в чем
какие-либо перемены,
а жизнь уже являет мне
с теплом и солнцем наравне
хмельную вишенку в вине —
все флейты, цитры и клавиры,
когда доверчивая Лира
лучится счастьем и парит,
поет, безмолвствует, летит
на встречу с обновленьем мира!

1999

* * *

Жизнь повторяется только в сне —
шепотом ныть, завлекать и буянить,
напоминать, что нельзя отчеканить
просто и зримо, как луч на стене,
древний закон божества,
и правда его такова,
что тайну скрывают слова.

Волю запрета нам помнить должно,
вечно смиряясь с завешенным тьмою
замыслом жизни! И зыбкой каймою
вновь затуманив виденья окно,
крыльями времени, бурей немою, —
он заслоняет сверхзнание тому,
чье озаренье и в звездном дыму
будет доступно уму
или кому не под силу оно.
Он вразумляет и этих, и тех:
есть темные тайны как грех,
где нету ответа для всех.

1997

* * *

В древние-древние времена
странные были имена:
Греция называлась Иван,
чудное совпадение!
Имя это для многих стран
означает презрение.
К чему бы такое везенье?
Совести угрызенье —
чудное совпадение?

1999

Шторм

Под эту музыку живую,
под крики чаек, шум волны,
вздыханье водяной стены
являются ни явь, ни сны —
неутихающая память,
неистребимая печаль...
Под эту музыку живую
я слышу песню круговую,
за кругом — круг, мутны, грустны
слова, как в пору дождевую
и южный слякотный февраль.

Я здесь, стою на мокрой дюне,
трава колючая у ног,
холодный золотой песок,
балтийский ветер свищет впрок,
как в октябре, а не в июне.
И целый век, в любой минуте, —
неутихающая память,
неистребимая печаль
о том, что мне до смерти жаль,
до ужаса и темной жути...

1997

* * *

Продают по дешевке страну,
как крестьян крепостных в старину, —
острова, города с населеньем!
Эта жизнь темна, тяжела,
нестерпимой всегда была,
с безнадежностью и униженьем.

Раздают на подарки страну,
даже не затевая войну,
раздают благодушно и щедро
нашу землю, святыни и недра —
кунакам, друзьям, наследникам...
Кровососов разбойная рать
налетела — есть, что сожрать
властолюбцам, вору, нахлебникам.

1999

Знойное лето

Мы долго ждали этот гром,
и мрак, и хляби водяные!
Казалось, что развалит дом
огромность туч, шумы земные,
лесных деревьев скрежетанье
и золотое растеканье
зловещих молний — весь содом
природной вольности небес!
Когда затих великий шквал —
воды и воздуха стенанье,
как тихо, благостно сверкал
от утоленной жажды лес!
Какое нежное дыханье
качало мокрую листву,
и смутно видимые тени
(лишь от невидимых явлений)
с ветвей летели на траву,
легко скользили по стене.
И та, которая двукрыла,
настойчиво внушала мне,
чтоб я не просто жизнь любила,
а жизни новую главу.

1999

* * *

Новый июль, будто не было прежде
этого месяца в мире,
новые гроздья высокой рябины
чуть розовеют на солнце,

С грустной жалостью, хоть и туманной, отстраняю
пространство за дали,
чтоб ничто не привиделось мне за туманностью этой,
за вечною тенью:
нам самим узнавать предстоит или вовсе не знать ни о чем,
нам уже предсказали
жизнью видимой (тоже таинственной и беззащитной) —
земные растенья...

1999

* * *

Неотступный, вечный быт —
в нем минуты жизни тонут
без поэзии, как в омут
день ушел (и — позабыт!).

Рядом с грудюю листов
закипел сироп со сливой,
пена розовая — гривой,
будет к ночи джем готов.

Вот оно, мое творенье!
Ты, природа, помогла...
Но во лбу одна лишь мгла,
слов созвучье, строчек пенье.

Не собрать ли в хоровод
эту мглу из разных песен,
чтобы стал мне интересен
миг, свободный от работ?

Ведь покуда над плитой
сладкий джем бурлил, томился,
в сад над розами явился
чей-то веер золотой.

Кто-то вздумал пробудить
память о небесном звоне,
на темнеющем хитоне
лирный отблеск возродить.

Пусть сияет долго он,
лирный знак, волшебный символ,
в серебре неугасимом
шлет на землю лирный звон!

А когда нагрянет весть
о конце труда и жизни,
в стихотворческой отчизне
все останется как есть!

Здесь все готовы для усилий жить,
и напряженность эта, незащитность,
понятна нам, и трогательна слитность
природы и людей в одном желанье — быть.

На освещенной жизнью стороне
так много смерти, тайн и откровений,
печали, страха, воли, вдохновений —
великих и ничтожнейших мгновений
на самой светлой, солнечной волне,
и в самом светлом озаренье духа,
и в самой светлой, жертвенной любви.
На бесконечной, песенной струне
природного, божественного слуха
есть все веления-предчувствия в крови...

1996



Конец Арбата

ПОВЕСТЬ

Недели две я здесь не был. Не заходил с Никитского в вонючую приземистую, будто горбатую, арку, не попадал в пропахший помоями темный дворик-колодец, не шел наискось к неприметной кривой дверце в углу, ведущей в знакомый облупленный подъезд — с тыла, не поднимался на пролет по щербатым каменным ступеням и не спускался на пролет, с тем чтобы выйти к Кисловским переулкам уже через *парадное*. Нырлял я в этот *проходняк* без особой нужды, срезая-то всего полторы сотни метров, когда б пришлось обходить дом по краю площади, всё лишь из сладкого чувства причастности, ведь хитрый этот путь мог знать только старожил...

Да-да, не больше двух недель. И — задохнулся: всегда казавшийся мне очень большим дом, поставленный задолго до революции, задом приткнутый к другому такому же, а фасадом глядевший на Арбатскую площадь, вдруг исчез — как отрезали. Исчез целиком, без следа и остатка, и на его месте оказалась ровная и на удивление небольшая, уже заасфальтированная площадка, на которой теперь парковали автомобили. А ведь это был исторический дом, некогда возведенный на участке князей Шаховских; в разные годы здесь кто только не жил — советский драматург Афиногенов, Михаил Чехов, директор консерватории Сафонов, в подвале располагалось Общество слепых, на первом этаже — Коммерческий суд, на других — меблированные комнаты, а угол с бульваром занимала кухмистерская «Русское хлебосоольство», принадлежавшая, понятное дело, некоей Берте Ауэр; при большевиках дом превратился в скопище крошечных коммуналок, а над фасадом засияла реклама Госстраха... А теперь дома не стало. Ясно было, что градоначальство готовится к одному из своих торопливых топорных празднеств и дом отчего-то помешал ему, портил вид, что ли. Но то, что для чиновников было лишь обветшалым *расселенным жилищным фондом*, для меня оставалось полно жизни, пусть и прошедшей. Увидев вдруг это осиротелое место, я испытал чувство, будто занес ногу над провалом, над обрывом времени. Как просто и вмиг, оказывается, исчезают не только любимые вещи и любимые люди, но целые маленькие миры, в которых варились и плавилась судьбы родов и семейств. Теперь мне оставалось лишь каяться: отчего ж, совершая время от времени из несколько механической ностальгии маленькое путешествие сквозь этот двор, я едва поднимал глаза к знакомым окнам, не задерживаясь на своем бестолковом бегу, не подышав напоследок давними знакомыми запахами? Спыхватываемся, лишь когда теряем...

Впервые меня привел в этот дом отец, прихватил в гости — он всегда был любитель *навещать родственников*. Благо идти было от Грецевец до Арбатской — шаг. Здесь, в коммуналке, в одной большой комнате на шестерых, юти-

лось родственное нам семейство Щикачевых — случайно выпавшая из ковра советской истории веточка. Родственное дальше — мой отец приходился по женской линии внучатым племянником Кириллу Щикачеву, главе семьи, то есть троюродным братом Шурке, младшему сыну Кирилла, а тот мне, в свою очередь, четверюродным дядюшкой, хоть и был всего двумя с половиной годами старше.

Семейство было колоритно. Главой рода был никак не Кирилл, но его мать, барственная старуха, сиднем сидевшая в дальнем углу комнаты на расплывшемся диване и никогда ничем не занимавшаяся, если не считать, конечно, чтения писем Тютчева и раскладывания «могилы Наполеона», хоть вовсе не была столь немощна, чтобы, скажем, не помыть посуду. Так и не узнал, к какой фамилии она принадлежала в девичестве, уж не к титулованной ли знати, помню только с ее слов, что их семье со времен Павла принадлежал особнячок в одном из двух десятков приарбатских переулков, в московском барском Сен-Жермене, в Староконюшенном ли, в Малом Могильцевском ли, в Сивцевом Вражке ли, — уголок, отстроенный заново после наполеоновского пожара; так или иначе к Щикачевым старуха относилась не без снисходительности — по старой, вероятно, памяти, хоть Щикачевы и были вполне пристойным дворянским родом — из Пензенской губернии. К слову, в большом Николопесковском, побывавшем улицей Вахтангова, граничил с Арбатом участок земли, принадлежавший «гвардии корнету» Н. П. Щикачевой, — в доме, на нем позже выстроенном, умер Скрябин.

В своем коммунальном улье старуха исполняла роль пчеломатки, командовала с дивана младшему поколению, коли ловила на неверном словоупотреблении, немедленно *справиться у Даля*, следила за расписанием занятий двух внучек и внука, а с младшей, Наташей, по семейному прозвищу Няля, как с самой подающей надежды, безуспешно занималась французским — и так, стойчески и достойно, безо всяких видимых признаков отчаяния, доживала свою дворянскую жизнь. Сын Кирилл у нее был единственным, поскольку муж, белый офицер, стигнул на гражданской войне, когда она была совсем еще молода, и замуж она больше не выходила.

Кирилл был хрупким и тишайшим брюнетистым мужчиной с выражением лица и манерами человека, только что выпущенного из лагеря. Трудно сказать, в чем это выражалось: во всегдашнем робком добросердечии, в тихой безо всякой мимики речи, в покорной какой-то вежливости, без явной искательности, но и не без постоянного глубоко таящегося испуга. Впрочем, такие лица бывают и у тихих сумасшедших, а Кирилл был и бывшим зеком, и чуть помешанным одновременно — таким он вернулся из немецкого лагеря.

Его мать говорила, что уходил он на войну совсем другим — жизнерадостным юношей, звонким, несмотря на свое дворянское лишенство. Он пропал без вести на четыре года, а потом объявился постаревшим лет на двадцать, и его даже не посадили в сталинский лагерь — так очевидна была его обнаружившаяся после плена болезнь. На моей памяти, имея уже троих взрослых детей, он, работая чертежником, всегда учился на заочном отделении какого-то технического вуза, всегда на одном и том же курсе. По-видимому, он не мог заставить себя идти сдавать экзамен, коли чего-то из курса не усвоил, но всего курса он знать никак не мог, поскольку, подходя к середине, уже забывал начало. В быту это был непритворный и приветливый человек, но он погиб бы в какой-нибудь психушке, — мать была ему плохой подмогой, — когда б сразу после возвращения не нашел бы — или она его нашла — милую и работающую девушку по имени Аня, из тамбовских крестьян, которая вышла за него, не знаю уж — из любви и жалости, из-за отсутствия паспорта и прописки, из-за послевоенной нехватки мужчин или изо всего разом. Так или иначе она родила ему детей, ходила на службу, таскала авоськи, вела хозяйство на сущие гроши и ухитрялась быть в самых добрых отношениях со свекровью, безоговорочно признав в ней барыню...

В тот первый наш с отцом к ним визит — мне было девять лет, Шурке соответственно двенадцать — мы попали на семейный пир по случаю полочки. По таким дням, чуть не единственный раз в две недели, в семье ели мясо. Не мясо даже, а покупные, из Военторга, «московские» котлеты — пятачок за штуку — с гарниром из консервированной кукурузы (шло еще хрущевски-кукурузное время, и лишь тремя годами позже кукурузу в любом ее виде упразднят — лет эдак на двадцать), пусть дешево, но зато *от пуза*. Ничего столь вкусного я никогда не ел — у нас в семье, конечно же, знать не знали о самом существовании «московских» котлет и избегали есть консервы, коли не было в том необходимости.

У меня и сейчас стоит перед глазами вся картина: посреди комнаты — большой овальный стол под огромным в бахроме желто-оранжевым абажуром; стол развернут с тем расчетом, чтобы старуха могла трапезничать, не слезая со своего дивана, на котором, к слову, и спала. Где-то сбоку от нее на табуретке тулится «глава семьи». И дети — юные и горластые: старшая — грубоватая лицом Таня, она уже, кажется, тогда работала и доучивалась в вечерней школе; средняя — Наля, единственная в семье пышка, с милым-милым лицом гимназистки; и в гимназического же вида ученическом кительке, к которому пришивались изнутри белые воротнички, бравый и подтянутый, вылитый отец, каким тот был, должно быть, до войны, — Шурка, с очень блестящими живыми карими глазами, с прямым, в одну линию со скатом лба, носом, с неуловимой «щикачевской» монгольской смуглостью, с дворянской формы коротко стриженной головой, со светящимся смелым, открытым лицом... На выставке старых фотографий «Офицеры первой мировой» позже я видел именно такие лица у юнкеров и дважды, трижды узнал в них Шурку — его самого, как и его прототипов, тогда уже не было в живых... Младшее поколение радостно возбуждено, на них покрикивает старуха, Кирилл застенчиво улыбается моему отцу, и тут тетя Аня — я всегда ее так звал — бухает на большую металлическую подставку, красующуюся посреди цветастой клеенки, которой накрыт стол, огромную скворчащую, дымящуюся сковороду под крышкой...

Сцена эта — точка отсчета, она никак не случайна. Эта полунищая семья в начале 60-х без натяжки была счастлива. Жива старуха-мать, отбрасывает облагораживающий свет давно потерянного прошлого на нынешнюю скудость; выжил ее сын — после устрашающих передряг и мучений, но — выжил; молода, боготворима мужем, любима *ребятами*, полна крестьянских сил и непреклонности жить тетя Аня; юны и здоровы трое детей, и двое из них, младшие, явно не без способностей выше средних; и нет повседневного страха, и вполне можно надеяться на лучшее: вот тете Ане на работе дали садовый участок, целых бесплатных шесть соток, там такое можно наворочать и насажать; а для Нали купили-таки подержанное пианино, у нее *прилежание к музыке*...

Так счастлива эта семья больше никогда не была. И не будет. Поскольку этой семье, как и самого дома на Арбатской площади, больше нет. Нет барыни-старухи, нет Кирилла Щикачева, больна Наля, и нет последнего наследника этой ветви рода по мужской линии Шурки... Тетя Аня совсем состарилась, схоронив всех подряд, скукожилась, побелела, не может справиться — всё мелко дрожит головой, ее переселили куда-то в *спальный* район, страшно подумать, каково ей там одной спится, да и жива ли она...

2

План их коммуналки я мог бы и сегодня набросать с закрытыми глазами. По тогдашним московским понятиям она была не из самых населенных. Ближе к входной двери жил в двух смежных комнатах врач-венеролог Самуил Кац и здесь же вел прием. В те годы была еще разрешена частная деятель-

ность сапожников, лудильщиков, старьевщиков, закройщиков, зубных техников, адвокатов и врачей; это позже, при Брежневе, частное предпринимательство свернуло окончательно, чем подтолкнули к более пышному цветению *теневую экономику*, и кто знает, может быть, в этом и состоял тонкий замысел власти. Тогда же доктор Кац лечил в свое удовольствие триппер и трихомонаду на дому и от входной двери до его комнат то и дело шныряли личности съезженные, глаз не поднимавшие. Доктор и докторша были, безусловно, самыми состоятельными жителями квартиры. Забегая вперед, скажу, что эти венерологические две комнаты уже по смерти старухи, при начавшемся *расселении* квартиры, отошли к Щикачевым; мы с Шуркой провели немало веселых денечков в обиталище бывшего Каца, но именно здесь завязался сюжет, который привел Шурку к гибели.

И следующая комната, которую позже, выйдя замуж, заняла Наля, тоже сыграла в трагедии свою роль — не будь ее, не было б под боком у Шурки его бодрого племянника. Тогда же в этой комнате, дверью прямо на висевший на стене в коридоре общий телефонный аппарат, жила Неля. Вполне возможно, у пятнадцатилетней школьницы Нели здесь же жили и родители, даже наверняка жили, но их я не помню начисто, а вот саму Нелю — назубок: у нее были сильные коротковатые ноги с крутыми икрами плохой танцовщицы, круглые бедра и зад, всегда туго затянутая лифчиком крупная грудь; она была кокетка и ветреница, фигуряла на коньках на Патриарших, часами *висела на телефоне*, халатик короткий, виднелись чашечки круглых колен; губки — бантиком; глазки круглые и светлые, Мальвинины ресницы, рыжеватые кудри до плеч; я млея, видя ее, подглядывал, как, застоявшись с трубкой у уха с запроверженным за него локоном, она поджимала то одну, то другую ножку с морковной пяткой, халатик распахивался, полные крепкие ляжки у нее были глянцево-розовые, мерцали в полумраке коридора; помню, я тайком звонил ей, меняя голос, если подходил к телефону кто-нибудь из Щикачевых, и пытался склонить к свиданию: она отвечала тожно, благосклонно, но туманно, для нее я был малолеток, за ней уже ухаживали и консерваторские студенты. Кстати, Шурка тоже не был к ней равнодушен, и, кажется, у них был-таки роман, скорее всего школьно-платонический... Где она нынче? Ее семейство тоже давно переселили подальше и от консерватории, и от Патриарших, но все-таки не вовсе на задворки. Нынче ей должно быть за пятьдесят, и вышла ли она прилично замуж, нарожала ли деток, и не разочаровали ли детки ее, нарожали ли ей внучат? И снится ли ей в ее грустных полувековых снах давний ее Арбат, которого давно больше нет?..

Остальных соседей я помню смутно, стертые фигуры в неопрятных халатах на грязноватой кухне со многими лохматыми от старых клеенок кухонными столами и с двумя газовыми плитами, на которых все равно на всех одновременно не хватало конфорок.

Зато хорошо помню армянку тетю Эмму, она была филармонической певицей, жила одна в комнате, расположенной крайне неуютно — в закутке, откуда еще две двери вели в общие ванную и уборную. Она была близка Щикачевым, вечно торчала в их комнате и давала Нале бесплатные фортепьянные уроки, в цветастом халате и мягких тапках, со всегда замотанной китайским полотенцем головой — красилась хной; не знаю, как она пела, но говорила с сильным кавказским акцентом, к ней в гости захаживал *доцент* из Гнесинского, мне почему-то запомнилось, что именно доцент, она и тетя Аня потом всякий раз долго обсуждали его визит, гадали — уйдет ли от жены, тетя Аня говорила:

— Бог с ним, Эмочка, что ж семью-то разбивать, есть у него жена, ну и пусть его...

— Что ты, Аня-джан, зачѐм разбивать? — махала руками Эмма. — Но только она нѐ очень хорошая жѐнщина, он так на нѐе плачется...

По малолетству меня к Шикачевым отпускали одного нечасто — тогда ведь не было подземных переходов, и мне предстояло аж два раза самому пересечь проезжие улицы — Фрунзе и Калинина. Но отпускали-таки, и мы с Шуркой стремительно сблизились, несмотря на разделявшие нас без малого три года, в этом возрасте — пропасть. Быть может, это случилось оттого, что ни у него, ни у меня не было братьев, и мы сразу же их заполучили — он младшего, я старшего. Но идиллия продолжалась недолго — отец наконец получил квартиру *от университета* в новом доме на самом тогдашнем краю города. Сдачу строителями этого самого дома в семье ждали уж не один год, в последнее время буквально со дня на день, но стройку не раз *замораживали*, и, помнится, я понимал это выражение буквально: есть стройка, а нерадивые, бессердечные строители время от времени замораживают ее — как треску...

Этот восьмизэтажный трехподъездный — в каждом лифт — кирпичный параллелепипедный сарай в начале 60-х на фоне пятиэтажных фанерных хрущоб являл собой вочую последнее слово советского массового коммунального строительства. Стоял он посреди грязных оврагов, незавершенных соседскихстроек и еще не расселенных деревень.

Впрочем, словосочетание «получили квартиру» было своего рода лакировкой действительного положения дел: отцу предоставили две комнаты в трехкомнатной квартире, никак не проектировавшейся под коммуналку, причем комната соседей находилась между двумя нашими. Но, должно быть, моим родителям и это казалось подарком: у нашей семьи, теперь из пяти человек (у меня уже была и прелестная в свои пять лет сестричка), никогда не было своего гнезда.

Здесь, ввиду достигнутой наконец оседлости, у меня, естественно, возникли многие приятельства: Саша Пучков и Саша Месхи, Андрюша Пожарский и Сережа Рачинский — все дети университетских преподавателей, и в разное время мы с одним играли в солдатики, с другим клеили картонные замки и лепили пластилиновых рыцарей, закованных в латы из шоколадной фольги; гоняли в футбол, пекли картошку в углях костра, разведенного на пустыре прямо за домом, и с ослепивым любопытством наблюдали не касавшуюся нас, «чистых» детей, кипящую вокруг университетского этого оазиса барачную жизнь наших сверстников и соучеников, сбивавшихся в стаи и устраивавших время от времени форменные битвы, оружием в которых служил преимущественно штакетник, именовавшиеся почти эпически — «Раменки на Нижний Мосфильм» или «Верхний Мосфильм на Фили».

Сейчас можно посмотреть на это дело с известной долей юмора, но в средней комнате нашей квартиры, комнате, которая давно уж служит отцу кабинетом, тогда обитало семейство для меня диковинное. Глава его, мужичок миниатюрный, трудился на университетской автобазе слесарем; его супруга, еще более крохотная и похожая на шарик с ножками, изумительно курносая — переносица вровень с круглыми щечками, — больничной санитаркой; и их сын Славик, в родителей недомерок, мой ровесник, звали его во дворе Сявка за склочный характер и малый рост. С этим самым Сявкой нас — по-соседски — связывали странные отношения: нас с ним заставляли на пару *протирать пол в местах общего пользования* — довольно идиотская идея *трудового воспитания* мальчишек, принадлежавшая, не исключая, моему отцу, у которого случались нежданные приливы педагогического вдохновения, — а также кормить рыб в аквариуме Сявкиной матери, стоявшем отчего-то на общей кухне, и это занятие, конечно, было много милее. Мытье полов и уход за внезапно вздрагивавшими в воде и дрыгавшимися бессловесными разноцветными тварями исподволь нас так сблизили, что, помнится, мы воровали из кармана ношеного, со следами машинного масла по клапанам, пальто его папаши папиросы «Север», а там уходили поздней весной куда-то в поля за пустырем, пря-

тались в густых кустах и курили — набирали в рот дыма и тут же, закашлявшись, выпускали, не вдыхая.

4

Но Шурку я не забывал, конечно; я скучал по нему и, едва нам *поставили телефон*, стал названивать ему чуть не всякий день, но видеться удавалось редко — пока не приходило лето.

Дело в том, что семейство Щикачевых неумными трудами тети Ани быстро освоило свои шесть соток и обзавелось *дачей*. Находилась она возле станции Чепелево Курской железной дороги, перегона не доезжая до Чехова, и даже сейчас звук этого имения, Чепелево, напоминает мне запахи только что из леса принесенных и рассортированных на щелястом косоногом садовом столе грибов, зянутого ближе к августу ряской пруда с карасями и пиявками, смородинового листа и спелой клубники. Вот на эту самую дачу мои родители с удовольствием меня и сбавривали — под Шуркину опеку, потому что *парень он ответственный*, как заверял отец моих мать и бабушку, и *вполне разумный*. Всю рабочую неделю мы с Шуркой проводили на даче, как правило, одни, и эти два или три лета остались самыми вольными и беспечными каникулами в моем школьном детстве.

Дача представляла собой квадратную постройку из деревянных щитов, между которыми был засыпан шлак, об одной комнате. Был, правда, и тамбур-пенал, отделявший комнату от входа. Была и летняя дощатая кухонька, стены которой были обиты рубероидом, здесь же, под березой, густо обросшая кустами малины. Но главное — имелся чердак, куда забирались мы по приставной лестнице и где устроено было наше логово.

У нас было множество самых разнообразных тайных и явных забот, как-то: чтение «Декамерона», курение болгарских ароматных сигарет «Пчелка», распивание настойки «Горный дубняк», выделывание моделей планеров, которыми мы сражались, крутя каждый свою над головой на бечевке и стремясь вдарить ею по чужой, и никаких правил *техники безопасности* при этом, как я теперь понимаю, не соблюдалось вовсе; были и лазанье за яблоками по соседским садам, и купание в пруду, и переписывание в тетрадку песен типа «Иза пары распущенных кос», и, конечно же, долгие беседы в темноте чердака, каждый в сене по горло, — исключительно философского характера. Конечно, накапливались и общие тайны. Скажем, однажды Шурка раскопал в шкафу, стоявшем в коммунальном коридоре в Москве, коробку, на которой значились дивные слова — «противозачаточные свечи»; коробку, безусловно, прятала старшая сестра Татьяна, девушка шалопутная и уже на выданье, лет тогда семнадцати, что ли; мы увлеченно гадали, смутно представляя себе женскую анатомию и физиологию, как этими изделами пользуются, однако ни он, ни я, конечно, точно не могли представить — как именно...

5

Жалко опускать многие дивные пустяки и диковинные мелочи, какие услужливо подбрасывает память, только начни вспоминать, но пришла пора сказать о Шуркиной тогдашней юной смелости и отчужденности поступка. Однажды мы собирались на дачу и на Арбате в сказочном табачном магазине, похожем на вывернутую наизнанку — рисунком внутрь — расписную в русском стиле шка-тулку, должны были запастись куревом; прежде чем подойти к витрине, мы положили собранные уже сумки — с продуктами, что дали родители, и двумя бутылками наливки «Вишенка», только что самостоятельно купленными, и вы понимаете, конечно, какую эти два пузыря имели для нас цену, — на такую же, как и всё здесь, расписную, красную с золотом, резную деревянную лавку, стоявшую под витринным окном.

Мы долго выбирали: купить ли польских коротких сигарет в коробке с оттиснутым на крышке видом на Вислу, или черных индийских, или отечественных «Друг» с золотым ободком,— Боже, как все это мерцало и пахло, в какую взрослую сказку попадали мы, входя в эту лавку, где были и махорка, и курительные трубки, и табак «Золотое руно», а также «Флотский», и янтарные мундштуки... Когда мы наконец отоварились, сумок наших на лавке, разумеется, не было.

Удар и крушение. Я, во всяком случае, почувствовал слабость в ногах и желание плакать от горькой досады. Но Шурка оставался спокоен и собран, только сжал по-мужски губы. Мы вышли на Арбат, и Шурка коротко сказал: «Ты — туда, я — сюда, побежали». Мне выпало *бежать* к площади. Я пронесся мимо тыльной стороны «Праги», выскочил на бульвар, поозирался и потоптался; впрочем, я плохо представлял себе поставленную передо мной задачу; я уныло понимал, что бесценные наши пожитки потеряны безвозвратно; я — **смирился**.

Я приобрел обратно к Щикачевым, поплакался тете Ане, утаив, конечно, в каком именно магазине все произошло, и та успокоила, что, мол, котлет она нам еще нажарит, главное, что сами целы (в ней вообще был силен здоровый простонародный фатализм, помню, однажды на той же даче я пожаловался, что соленые грузди, которыми она нас потчевала, с *червяками*; она отмахнулась, мол, важно, что мы их едим, а не они нас)... Раздался звонок в дверь, и вскоре в комнату вошел Шурка с обеими нашими целехонькими сумками, залихватски перебросенными через плечо.

Я помню, как моя сумка выглядела. Она была более пижонская, чем Шуркина,— бочонком об одной из кожаменителя бретельке, из какого-то «под черный бархат» материала, с верхним клапаном-крышкой, застегивавшимся на серебряную пряжку, а на боку ее была кожаная рамка-окошечко, куда под специально предусмотренный целлулоид можно было засунуть бумажку с надписью — ну хоть с собственным гордым именем,— чудо. И вот ее-то Шурка со сдержанной гордостью чемпиона протягивал сейчас мне.

Из его рассказа рисовалась такая картина.

По его словам, все было *очень просто*. Послав меня к площади, сам Шурка побежал от табачной лавки направо. На первом же углу он обратился к старухам, гревшимся на солнышке. Здесь нужно пояснить, что старорежимные арбатские старухи из домов с сырыми, затененными, глубокими дворами сиживали тогда на стульях около своих подъездов прямо на улице,— давным-давно перевелись и эти старухи. Так вот старухи подтвердили, что да, только что пробегал здесь парень с сумками — вон туда. Шурка припустил по переулку и вскоре увидел впереди фигуру паренька его лет, уже расслабленной походкой идущего, уже не думавшего о возможной погоне. Метрах в десяти от него Шурка громко крикнул: «Стой!» — сообразив, что тот с поклажей от него далеко не убежит. Паренек даже не обернулся, лишь вздрогнул, как спугнутый заяц, бросил разом сумки на асфальт и дал дёру...

Меня восхитили находчивость и смелость Шурки, но вряд ли я мог бы тогда внятно сказать себе, на чем прежде другого было замешано мое чувство гордости своим дядюшкой: я смирился, он — **стоял**.

Быть может, память меня подводит, но, кажется, именно тогда началось разорение Арбата и строительство того, что называется теперь Арбатом Новым, который, съев Собачью Площадку, вгрызся в плоть неповторимого ампира старой дворянской Москвы и расчленил единый некогда «особый город», как писал Бунин, от Бронной до Остоженки, веками слой за слоем, особняк за особнячком прихотливо складывавшийся и нараставший. Во всяком случае, я еще помню, как Воровского, ныне опять Поварская, чуть изогнув-

шись, уходила к Садовому прямо от площади, как некогда от Арбатских Ворот Белого города. Результат этих только разворачивавшихся градостроительных преобразований тогда трудно было вообразить и предсказать, далеко еще было до опереточных фонарей на пешеходном, вмиг сделавшемся сувенирно-провинциальным старом Арбате, по которому от Киевского вокзала ходил тогда троллейбус под номером 37, — на него я пересаживался с номера 34, когда добирался с наших Ленинских гор к Шурке, на Арбатскую.

Многое было на местах: и Кинотеатр юного зрителя, зал которого, помнится, я как-то на сеансе непременно «Синдбада-морехода» примерно облевал, накурившись перед тем с Шуркой в арбатской подворотне гаванской сигары; и кафе-мороженое в совсем парижском доме-утюге в стиле модерн, в котором нам, как большим, к крем-брюле приносили в графине полусладкого белого «Совиньона»; и магазин «Фрукты-овощи», в каком-то среди прочего, исчезавшего и возникавшего вновь в разные годы ассортимента всегда была в продаже давно сгинувшая навсегда капуста «провансаль», квашенная со сливами и маринованными яблоками; и уж вовсе невозвратны букинистические и антикварные лавочки, ютившиеся в домах по левую руку, коли идти от площади, нынче давно снесенных, — мы часами толклись там, разглядывая многие диковины, и волновали нас прежде другого атрибуты далекого мужского мира: громадные часы-луковицы с массивными золочеными цепочками, бархатные, шитые жемчугом кисеты, позолоченные же портсигары с именными вензелями на крышках, кальяны с серебряными чашечками и длинными изогнутыми мундштуками, инкрустированными слоновой костью, какие-то фляги в схваченных цветными толстыми нитями кожаных футлярах, массивные граненые штофы радугой переливавшегося венецианского стекла, костяные моржовые ножи для разрезания невесть чего — не для вскрытия ли конвертов с женскими любовными признаниями? — а также допотопные эротические открытки, на которых из коричневатой мути выступали наивно завлекающие тела купальщиц в кружевных панталонах.

Впрочем, кое-что и выжило из тогдашней околоарбатской нашей географии. И дом и двор на Грецевец — в Большом Знаменском переулке, по-русски говоря, — и оба Гоголя, и «Прага», даже швейцар с галунами при ней, и магазин «Охотник» с таким печальным чучелом медведя в витрине, будто ему никак не дают почесаться. Если же повернуть в другую сторону, то следует еще больше удивиться: выстояли Дом медработника и ресторан «Домжур», правда, без раков, раки до наших дней не дожили, и Кинотеатр повторного фильма, в просторечии Повторка, лишенная, впрочем, своей соседки, с которой много лет она делила одну крышу, — шашлычной «Казбек». Выжили даже такие грустные для мечтающего о жизни юноши фонари на Тверском, июньская нега бульваров, сухая июльская пыль, запахи перегретого за день, только что политого асфальта... Именно с Повторки и началась — тайная для меня — другая Шуркина жизнь; именно Повторкой кончилось Шуркино отрочество, и на сколько-то лет мы оказались как бы в разных временах: я еще в детстве, он уже в юности.

7

Блатная жизнь в те годы варилась во всяком московском дворе — может быть, в Центре не так явно, как по окраинам. Скажем, еще живя на Грецевец, я восемь лет от роду лазил с однокашниками по школе им. Фрунзе по окрестным чердакам; самый жуткий, захлащенный и таинственный был в большом, наверняка некогда номенклатурном, с лепниной по фасаду, с арками и эркерами, доме на тогдашней улице Маркса-Энгельса, параллельной Волхонке. Именно там мы находили самые настоящие человеческие желтые сухие черепа — подчас с почти целой нижней челюстью. Молва гласила, что еще десять лет назад чердаки эти населяли уголовники, выпущенные тогда

из лагерей по амнистии, и там они сводили между собой счеты — известно из-за чего, это было написано в моей тетрадке, «из-за пары распущенных кос», — а то и прозаически ставили на кон собственную жизнь, играя в карты. Житье каждого, пусть самого обычного и примерного, московского подростка в те годы так или иначе, но неминуемо соприкасалось с блатной стихией, *улица* никак не была отгорожена от *дома*, то и дело навещающая любого; уклониться было почти невозможно, и, конечно же, в свои тринадцать-четырнадцать лет, будучи, по сути, предоставлен самому себе — невзирая на все усилия, тетя Аня уследить за ним никак не могла хотя б по обилию у нее прочих забот, хоть она любила его, без сомнения, много горячеей и самозабвенней, чем дочерей, — Шурка рано или поздно, как это называлось, *связался с дурной компанией*.

Повторю: он не только не знакомил меня с другой стороной своей жизни и с новыми своими друзьями, но никогда даже не упоминал их имена и ничего не рассказывал. Теперь я вижу в этом благородное желание оградить меня от любой опасности, никоим образом не вовлекать в свою вторую жизнь и нести ее груз в одиночку — это тем больше говорит о его сдержанности, что, как ни странно при нашей разнице лет, ближе меня у него тогда никого не было, и это вскоре подтвердится. Тогда же меня обижала его скрытность.

Сегодня не у кого спросить, как все разворачивалось, и мне остается лишь путь догадок. Кажется, Шурка и не мог избежать связаться с местной шпаной. Ведь он, гордый и самолюбивый, конечно же, презирал угрозы, которыми размахивала перед его лицом жизнь, шел к любой опасности, развернув плечи и выпрямившись. В тогдашней восьмилетней школе в любом классе было непременно две, так сказать, партии. Шпана *ботала по фене* и верховодила, это были подростки, для которых в самом звуке слова «тюрьма» таился некий романтический призыв; вокруг их лидера и его близкого окружения вились слабые паренки из послевоенных бедных и униженных рабочих семей, готовые выполнить любой приказ. По другую сторону стояла группа «чистых» мальчиков, и, коли она была достаточно сплоченной, то в общем-то соблюдалось некоторое равновесие: шпана не слишком их задирала, но при одном условии — если те не лезли в ее дела, проще говоря, не вмешивались, когда те грабили и терзали наиболее незащищенных. Хорошо представляю себе, перед каким выбором оказался Шурка: с одной стороны, вряд ли его могло не мучить зрелище постоянного террора в отношении слабых; с другой — элементарное чувство самосохранения должно было подсказывать, что благородный одиночка поделаться здесь ничего не может, — в конце концов такая организация школьного сообщества лишь повторяла без затей, с инфантильной буквальностью, устройство мира вокруг. И, кажется, он пошел единственно, как ему казалось, возможным путем: он попытался завоевать авторитет среди шпаны, а там уж влиять на правила игры изнутри. Быть может, он сам чувствовал всю пагубность этого, по сути, компромисса, подобного тому, что позволяли себе с первоначально самыми благими намерениями приличные люди, вступая в партию; или его несоприродность блатной компании помешала ему естественно вписаться в плебейский мир бесцельного хулиганства — так или иначе, кончилось для него все это очень хорошо.

Я все узнал от матери, ей рассказал отец, а ему, по-видимому, сама тетя Аня. Так или иначе на излете его восьмого класса, весной, выяснилось, что Шурка попал в переplet: он был изобличен как соучастник ограбления уже помянутого мною Дома медработника: он и его дружки украли магнитофон из радиорубки. Помню, меня совершенно потрясло это известие, настолько несовмести-

мым с образом моего благородного родственника представлялось само постыдное понятие «кража». Впрочем, позже он мне кое-что объяснил.

Эта дурная компания так и называлась — ребята «от Повторки». То есть объединяла она урлу, населявшую бесчисленные хибары, сараи и кромешные коммуналки в переулках вокруг Никитских ворот: Кисловских и Калашном, и многие из этих самых «от Повторки» учились в Шуркиной школе, в квартале вглубь от улицы Герцена, поставленной еще в тридцатые на месте разрушенной церкви. «От Повторки» была заметной в тогдашнем Центре бандой хулиганов, ее влияние распространялось и на Патриаршие, и на Арбат, и на Гоголевский, даже на Волхонку, но кончалось при слиянии Тверского бульвара и улицы Горького — здесь уже царили ребята «с Пушки» и вообще начинался другой мир — мир богатой молодежи «с Брода» или «со стрита», говорили тогда и так и эдак. Вот в этой самой компании «от Повторки» Шурка, вовлеченный своими одноклассниками, и очутился, причем оказался одним из самых младших — дружки по классу были сплошь второгодники, а верховодили и вовсе лбы лет по семнадцать-восемнадцать, за которыми в тени стояли, должно быть, взрослые уголовники. И, как я понял из Шуркиного намеренно глухого и маловнятного рассказа, дело оказалось, конечно, не в магнитофоне: это было, так сказать, испытание, от которого никак невозможно было отвертеться, — любой отказ однозначно расценивался в этом мире как трусость, а мог ли Шурка позволить себе прослыть трусом?

Но и этого мало: сам он в будку не лазил — стоял «на атасе», и вся подлость была в том, что, взломав дверь и выкрыв этот самый магнитофон, дружки его почувствовали неладное и ушли через заднюю дверь, «забыв» Шурку предупредить. И минут через десять в 108-м отделении милиции оказался именно он, причем в одиночестве. И здесь перед ним встала, естественно, моральная проблема: от него стали требовать назвать имена сообщников. Надо ли говорить, что, как и положено честному подпольщику, Шурка никого не выдал. Все эти страсти могут казаться вполне потешными, но в жизни Шурки это приключение сыграло свою — и немалую — роль. То, что он сам поступил в соответствии со своим врожденным кодексом чести, — не диво. Но при том ему пришлось сделать одно открытие: этот самый его кодекс оказался отнюдь не обязателен для других; и это стало для него своего рода потрясением.

Дело в том, что в блатной среде именно культивировались представления о своеобразной чести. Видя постоянную ложь и трусость взрослых — прежде всего учителей, — такой «со взором горящим» юноша, каким был тогда Шурка, не мог не попасться на эту удочку: именно среди бесстрашной, независимой, плюющей на лживые условности взрослого мира шпаны только и мог он надеяться найти сохранными моральные устои, каковыми бессознательно очень дорожил. Но в деле с Домом медработника он убедился, что и у блатарей все эти разговоры о воровской чести — мишура, раз они тут же струсили и бросили его одного, фактически подставив. И, пусть это покажется выпсренным, полагаю, с этого начался едва приметный поначалу его душевный надлом, так, маленькая трещинка, каких столько накапливается и за половину жизни у каждого в душе, но с каковыми люди более *пластичные*, или — иначе — менее цельные, нежели Шурка, научаются жить, цементируя их бесхитростными самоутешениями типа «все так живут», «так мир устроен», «се ля ви», незаметно привыкая прощать самим себе и трусость, и вероломство, и ложь.

Шурка по малолетству отделался сравнительно легко: в милиции уголовного дела заводить не стали, лишь поставили на учет в «детской комнате», заставили мать заплатить за магнитофон, которого, к слову, так и не нашли, — силь-

ный удар по семейному бюджету, и это было еще одно обстоятельство, причинявшее Шурке истинные страдания,— и, конечно же, сообщили в школу. Там, поскольку учебный год почти завершился, Шурке позволили окончить восьмой класс, но о девятом речи уж идти не могло.

Со шпаной Шурка резко порвал, на что пенять ему никто не посмел, никто из шпаны ему не мстил за дезертирство и даже не угрожал: помнила кошка, чье сало съела. Он в том же июне без натуги поступил в строительный техникум и до сентября оказался предоставлен самому себе. Началось последнее наше общее с ним светлое и беззаботное мальчишеское лето...

Тогда на дворе стояло повально *туристское* время, причем под *туризмом* следовало понимать не спортивное времяпрепровождение лишь, даже не элемент образа жизни, но целую философию бытия, своего рода малую культуру со своим языком, фольклором и кодексом поведения. Молодежь от мала до велика распевала *дым костра создает уют* и при малейшей возможности отправлялась *в поход* — забавное словцо, у Даля имеющее смысл «отправки в самый путь войск», и его употребление в данном случае много говорило об идеологии тогдашних туристов, не лишенной доли агрессивности по отношению к оседлому официальному «взрослому» миру. Высшей степенью посвящения в *туризме* в ту эпоху был Путь геолога, причем культ этой мирной профессии был сравним с поклонением летчикам в 30-е годы,— спелеологи и альпинисты почему-то шли наособицу, их занятия воспринимались лишь как экзотические и специальные ответвления Главного Пути. В *туризме* были свои певцы, гуру и герои, и в последних высших своих проявлениях это было своего рода сектанство — десятью годами позже те же черты повторятся в движении хиппи. Кстати, этот повальный, пусть и плохо осознанный, эскапизм, присущий советскому туристическому движению, рифмовался с американским битничеством, пусть марихуану заменяла водка. Не последнюю роль играл, конечно, секс: только *в походе*, где участники, не разбирая полов, спали вповалку в палатках, достигалась необходимая степень интимности и эротической раскрепощенности, дивно гармонирующая с лесной природой и невозможная в тогдашних городских коммуналках, недостижимая в подъездах, на чердаках и по лавочкам в скверах. И, конечно же, во всем был вызов ханжеству тогдашнего советского общества и насильственному прикреплению к месту жительства и службы, будь то прописка или закон о тунеядстве,— недаром, кстати, именно в половине 60-х расцвела мода на *автостоп*.

Заболел *туризмом* и Шурка, заразив и меня. Наши родители не заподозрили тут греха и не видели смысла сопротивляться: все лучше, чем *улица*. К тому ж мой отец тоже был со студенческих лет обуян зудом странствий и у нас в доме имелась вся необходимая амуниция: палатка, рюкзаки, топорики, котелки и даже упаковка таблеток «сухого спирта» для скорого поджигания костра. Конечно, родители предполагали, что я буду предаваться туристическим радостям вместе с группой одноклассников под руководством учителей, так что экипировку, накопившуюся в семье, я перетаскивал на дачу в Чепелево постепенно, под разными предлогами, а то и тайком. И вот в то лето оказалось, что к полноценному *походу* у нас все готово, и в один прекрасный день мы решились.

Но если меня влек лишь сам дух приключений, томила жажда сорваться с поводка и убежать как можно дальше из-под опеки старших, то с Шуркой, кажется, дело обстояло сложнее.

Он уже прошел стадию игры «в индейцев» и сбежал однажды в свою «Америку»: осенью ему должно было исполниться шестнадцать, кроме того, он всегда казался старше своих лет. Он был невысок ростом, но крепок и си-

лен, и выглядел очень мужественно, скажем так — не без орлиности, и пользовался бы оглушительным успехом у девочек, когда бы не был так разборчив и влюбчив: с теми, кто ему не нравился, он бывал резок и остужающе холоден, с теми же, кто его волновал, напротив, чересчур галантен и как-то — подходит ли это слово для юноши — старомодно велеречив, что в глазах многих делало его чуть смешным, а некоторых и пугало не на шутку; к тому ж, если загорался, он имел обыкновение смотреть на собеседника невыносимо пристально, с дрожью блестящих глаз, — такая дрожь глаз в минуты глубокой задумчивости или гнева свойственна и моему отцу. Короче, как и положено в этом возрасте, он зачастую не находил с людьми нужного тона, был одинок, без позы разочарован, или, скажем мягче, — задет и насторожен; у него, как ни странно, вовсе не было друзей *его круга*, возможно, потому, что он сам не знал, что назвать «своим кругом»; ведь он был редкого по чистоте сплава дворянско-крестьянского происхождения и воспитания, но не интеллигентского в обиходном смысле слова. И, беря меня с собой *в поход*, суливший испытания, Шурка, возможно, неосознанно стремился иметь рядом кого-то более слабого, о ком предстояло заботиться, и одна эта забота уже избавляла от одинокого юного томления — так молодой Толстой в Люцерне брал с собой на прогулку в горы сына хозяйки гостиницы. Но, и не будь меня, в то лето он отправился бы бродяжничать один, я в этом не сомневаюсь, столь задумчив он бывал во времена, будто прислушивался, пытаюсь отгадать будущую свою подступающую взрослую жизнь...

Маршрут наметился сам собой: от станции Чепелево было ловко проехать электричкой напрямиком до Оки, до Серпухова, там сесть на автобус, перебраться на правый берег и стартовать, держась реки и направляясь вверх по течению, в сторону Муранова и Поленова. В Велегоже предполагалось переправиться через реку в Тарусу и возвращаться уже по берегу левому, забрав вбок, и, отдаляясь от Оки, выйти к той же железной дороге где-нибудь в районе станций Шарапова Охота или Луч. По нашей — весьма приблизительной — туристической схеме выходило километров восемьдесят. Шурка наметил график: по пятнадцать километров в день с двумя полными днями отдыха, итого — неделя. У нас были кое-какие деньги и немалые запасы провизии: тушенка, сгущенка, вермишель, брикеты «гречки с мясом» и сухого киселя, пакеты с супом-концентратом. Едва в понедельник утром тетя Аня отбыла на работу, мы отправились по холодку, наказав остававшейся на даче Нале все правильно объяснить и всех успокоить...

11

Это легкомысленное предприятие, начавшееся бодро, веселым, солнечным утречком, несколько раз грозило нам — мне уж во всяком случае — не на шутку гибелью. Тогда мне это, конечно, и в голову не могло прийти, но теперь я подозреваю, что неосознанно Шурка искал опасности. Впрочем, может быть, я и преувеличиваю, всё выходило более или менее случайно. Скажем, в какой-то деревне однажды мы выменяли на тушенку трехлитровую банку парного, сразу после дойки, теплого и жирного молока. Тут же на околице мы и выпили его на голодный желудок, закусывая душистым серым хлебом, только купленным. К вечеру у меня начался сильнейший понос и подскочила температура. Ночью я бредил и то и дело терял сознание. Спасла меня марганцовка, предусмотрительно положенная Шуркой в нашу походную аптечку: Шурка разводил ее в воде, кипяченной на костре в котелке, и заставлял меня пить и пить. К утру мне полегчало, а уже в десять мы продолжили путь. В другой раз мы разбили палатку на берегу Оки и провели чудесный день за рыбалкой, купанием на песчаной отмели и ловлей ужей, которых оказалось в том году по берегам видимо-невидимо. К вечеру уже начались неприятности. Я изготавился было лечь брюхом на распрекрасного ужа, свивавшего кольца в ив-

няке, как Шурка оттолкнул меня и ударил змею палкой с такой силой, что она как бы расклеилась на две извивавшиеся половины. Оказалось, на этот раз это была гадюка, и легко себе представить, что бы было, не оказись Шурка рядом и не опереди он меня: гадюки не очень любят, когда на них ложатся голым брюхом... К вечеру пошел дождь и зарядил на всю ночь. Утром, впрочем, распогодилось, и я побежал к реке совершать утреннее омовение; плюхнулся в воду, как делал это на том же самом месте еще накануне, но неожиданно сильный поток подхватил меня и понес, крутя, с приличной скоростью, причем прочь от берега, видимо, в верховьях дожди прошли еще раньше и за ночь вода сильно прибыла. Я неплохо плавал, но от неожиданности запаниковал. Спас меня, разумеется, и на этот раз дядюшка; он вырвал большую ветку орешника, побежал вперед по течению, вошел в воду, подплыл ко мне, уже захлебывавшемуся, и протянул спасительную ветвь; я уцепился — и он подтащил меня к берегу.

Но это можно считать мелочами рядом с главным нашим испытанием. Идя вдоль берега, в один из дней мы решили к вечеру отойти вглубь с тем, чтобы собрать грибов и пожарить их на костре вместо надоевшей тушенки. Грибов было много, мы собрали целую рубаху отборных белых и уже в сумерках стали искать место для ночлега. Неожиданно мы оказались на краю карьера, образовавшегося на склоне большого холма; нам пришлось долго карабкаться вверх по краю, пока мы не дошли до вершины и не нашли ровную площадку — прямо над очень глубоким обрывом. Приготовление грибов пришлось отложить до завтра, в темноте мы кое-как раскинули палатку и, завернувшись в одеяла, уснули. На рассвете я проснулся от крика; палатка ходуном ходила; мы выскочили наружу и увидели мужичка, всего в мыле, отчаянно колотящего палкой по брезенту и орущего: «Уходите, уходите, убьет!» Мы, плохо соображая что к чему, собрались наспех и поспешили прочь. Через полкилометра мы достигли столба с надписью: «Запретная зона. Взрывные работы». И вскоре в карьере так ухнуло, что вздрогнула земля.

Тут же выяснилось, что мы забыли на месте нашего неудачного бивуака топорик. Когда взрывы стихли, мы решили вернуться за ним. Место, где только что стояла палатка, было завалено валунами — каждый размером с мой рюкзак. Этот самый мужичок-обходчик спас нам жизнь, и наше счастье, что он рано утром снизу заметил нашу палатку. А поставь мы ее чуть глубже, ближе к кустам...

12

И Шурка заделался заядлым *туристом*. Он предался этой напасти со всей страстью: ходил и по Москве в резиновых сапогах с завернутыми наружу голенищами и в *штормовке*, обзавелся непременной семиструнной гитарой, освоил три аккорда и довольно приятным молодым баритоном горланил, тарактя по струнам:

Все перекаты да перекаты,
Послать бы их по адресу,
На это место уж нету карты,
Плывем вперед по абрису...

И любил растолковывать остававшимся вне туристской культуры отсталым своим сестрам, а заодно и мне, что такое этот самый «абрис».

При этом Шурка не ограничился компаниями из своего техникума — уже осенью на первом курсе он на туристском *слете* познакомился со студентами МИИГАиКа — Московского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, так, кажется, эту аббревиатуру следовало расшифровывать. Студенты были, разумеется, старше его года на три-четыре, взрослые, можно сказать, ребята и девицы, и, помнится, Шурка однажды с одним из них меня познакомил. Это был малый по имени Марик с довольно хулигани-

стым выражением лица, это выражение ему придавал свернутый в какой-нибудь подростковой драке на сторону нос. Марик показался мне простоватым и неотесанным, но Шурка им восхищался, у него с возрастом развилась эта особенность — влюбляться в людей, которые хоть в чем-то задели его воображение. А Марик был бывалым, не без храбрости и предприимчивости, веселым и взрослым на Шуркин вкус *туристом*. Этот самый Марик говорил, что велит женщине во время акта все время отвечать на вопрос: что я с тобой делаю? Еще он учил, что главное — залезть рукой девке в трусы и нащупать там одно специальное место, и если нажать на него, то она *даст* непременно, только вот надо это место знать... Мне все эти Мариковы откровения казались хоть и интригующими, но неприятно вульгарными, а глядя на него самого, я не понимал, где находятся девицы, которые соглашаются лечь с ним в постель. Впрочем, наверно, я был слишком строг, потому что, без сомнения, ревновал к Марику своего дядюшку. Тот же неустанно учился у Марика каким-то туристским премудростям и записывал за ним слова все новых туристских песен. Кстати, кончил Марик почти героически: на одном из этих самых туристических *слетов*, происходивших в начале ноября, в то время, как вся страна обязана была ходить на демонстрации и праздновать день большевистского переворота 1917 года, он организовал на лесной опушке студенческое травестийное действо, пародировавшее главный партийный ритуал. Никогда не читавший, надо думать, Бахтина, Марик тем не менее интуитивно имитировал коммунистические обряды по законам карнавала: была построена трибуна из бревен, узнаваемо имитировавшая форму ленинского мавзолея, на ней стояли «вожди» в шапках-ушанках и длинных трусах и помахивали ручками; перед трибунами текла «народная масса», несшая национальные хоругви — с наклеенными на них этикетками от водки и портвейна, красные тряпки на древках, а также намалеванные на картонках портреты «вождей». При этом громко распевались революционные гимны такого примерно содержания:

Старый ежик ежедневно
К ним бараться приходил,
Старый ё-ё-ёжик приходил,—

на тему сказки о «теремке».

Надо ли говорить, что институтскому комитету комсомола не хватило *плюрализма*, как сказали бы нынче, когда на стол легли многочисленные доносы на Марика. И Марик вместе с несколькими другими активистами лесного праздника был отчислен с третьего курса, вычищен из комсомола и, как полагалось в те времена всякому советскому Чайльд-Гарольду, отправился не в Португалию и не в Грецию, а на Сахалин, где завербовался в рыболовецкую бригаду. Позже он объявлялся в Москве, и я даже видел его один раз у Шурки на Арбате. Марик, конечно же, отрастил бороду и показывал, как на Сахалине пьют неразбавленный спирт, закусывая строганиной из сырой мороженой рыбы. Через полгода он женился на дочке какого-то сахалинского поселкового начальника, а потом попал в тюрьму за то, что ударил топором по голове ее любовника-матроса. Матрос, кстати, выжил, но Марик исчез из московской жизни навсегда. Надо заметить, что Шурка еще до посадки в Марике несколько разочаровался. Шурке почему-то особенно не нравилось, что Марик «может соблазнить любую, но не умеет удержаться».

Дружба с Мариком даром Шурке все же не прошла: из какой-то загадочной склонности судьбы к бесхитростной симметрии Шурка попал почти в такую же, как Марик, историю. И связано это было с друзьями Марика — тот уже был на Сахалине. Зимой, в середине декабря, Шурка пригласил компанию студентов-геодезистов — все старше него — на дачу в Чепелево. По-ви-

димому, было чересчур морозно для *похода*, и дача с печкой заменила палатку. Чтобы восстановить канву происшедшего, важно сразу сказать, что девиц в компании не было. Были, кроме Шурки, еще трое студентов, колода карт для преферанса, в который сам Шурка, к слову, играть не умел, мы с ним играли в «кинга», в «буру», в «очко» и «сику», много водки и вина и гитара, конечно.

Одну бутылку портвейна «777» Шурка сразу же отдал сторожу поселка, дом которого стоял у ворот. Это была своего рода взятка: тетя Аня явно не была в курсе дела, прибыл на дачу Шурка без ее благословения, и было бы неплохо, когда б сторож не наклеузничал.

Я помню этого старикана — тип он был довольно безвредный, но какой-то склизкий, впрочем, к своим обязанностям относился с немалым рвением, днями расхаживал по поселку, всегда в телогрейке, пусть даже было под тридцать жары, с незаряженной — «от греха» — берданкой и клянчил у дачников «рюмочку». Впрочем, кое-какие мелочи, нужные в дачном хозяйстве: лопата ли, стоявшая у крыльца, забытый на террасе нож, жестяной рукомойник, оставшийся на столбе на улице, — за зиму все равно пропадали, и дачники уже давно сошлись во мнении, что ворует как раз сам сторож. Как бы сам себе добывает чаевые. Поделать с этим ничего было нельзя, и обитатели поселка давно с этим смирились как с неизбежным, но малым злом... Выпив свою бутылку — а для него, человека пожилого, пол-литра крепленого вина было весьма солидной дозой, — этот самый сторож — поселок, разумеется, в это время был пуст — ввалился в дом к Шурке.

Шурку старик знал еще совсем мальцом. В его глазах тот был, разумеется, «щенком». В хмельной голове сторожа, должно быть, возникла простая мысль: Шурка приехал выпивать на родительскую дачу с товарищами, и очень удобно его этим шантажировать. Наверное, сторож хотел и всего-то добавить полстакана, но, вместо того чтобы честно и ясно попросить выпивки, стал куражиться. Что уж он там нес — не знаю, но понятно, что нечто воспитательное: мол, вот вы здесь пьете, и я матери твоей все расскажу; ну и, конечно, о том, что мал еще пить, мальчишка. Был бы поумней и потрезвей, он бы сообразил, что никак нельзя было угрожать Шурке и тем паче его унижать. Добро б они были наедине, но свидетелями этой сцены оказались Шуркины приятели — все старше него и, должно быть, потешавшиеся, ведь их самих вся эта ситуация никак не касалась и не задевала, а Шурка действительно был еще мальчишкой. К тому ж сторож явно преступил неписанный, однако скрепленный между ними договор: вино-то он у Шурки из рук взял. То есть сподличал.

Шурка ударил сторожа всего один раз. Но, по-видимому, долго сдерживаясь и придя в ярость, силу удара не рассчитал. Я говорил уже, что Шурка был сильный, хорошо тренированный парень: он заехал сторожу по скуле, да так крепко, что буквально содрал кожу у того на щеке. Старик взвыл по-собачьи и посеменял к своей сторожке, придерживая свисавшую щеку и заливая снег кровью. А молодые люди принялись выпивать дальше. Уже через полчаса Шурку забрал наряд милиции, а через час он сидел перед следователем в городе Чехове. Там в следственном изоляторе он находился вплоть до суда, что-то около трех месяцев. Надо ли говорить, что никто из приятелей-студентов ни разу не принес ему и пачки сигарет...

Весной Шурке объявили приговор: два года условно. Из техникума, конечно, его выгнали. Шурка сдал экстерном экзамены за десятый класс, получил аттестат зрелости и сам — ему еще не исполнилось полных восемнадцати — «сдался» в армию, — к слову, тогда от военкомата было особо не побегать, советская власть стояла крепко. Учитывая его судимость, доверить ему служить в каких-нибудь стратегически ответственных частях никак не могли. А потому зачислили Шурку в строительные войска, в просторечии — стройбат.

«Коля! Ты, наверное, еще спишь, а я давно поднялся. Ну, Коля, жизнь у меня пошла райская! Вот уж чего не ожидал в армии, хотя, конечно, есть какие-то ограничения, но о них можно забыть и отместить в сторону. Зато действительно мне не приходится ни о чем думать, ни о чем заботиться. Ты, конечно, смеешься, но попади ты в подобную атмосферу — счел бы такое положение дел в какой-то степени приятным. Служу я не в строевых частях, так что никто не гоняет строевой, не заставляет раздеваться и одеваться за 30 секунд, ходить непременно застегнутым на все пуговицы и даже не запрещает держать руки в карманах. Работаю в бригаде. Работа сначала показалась тяжелой, потом я и к этому привык. Все парни из Москвы, почти все из Центра. Вспоминаем иногда с отвращением кафе «Молодежное»: у всех свалилась гора с плеч, когда забрали в армию, ну, думаем, теперь от водки отдохнем. Но, кажется, и здесь отдохнуть не придется: пришел новый бригадир — надо, сержант перевелся в наш взвод — давай, с ком. роты поехали в командировку — ну тут сам бог велел. Закончили работу в командировке — святое. Вот только откуда деньги берутся? На руки мы получаем очень мало, да и то не всегда. Как заработаем. Однако при здешней системе, конечно, как бы мы ни работали, ничего не заработаешь. Но нас ротный выручает. Наверное, вся его полчка уходит. В остальном выручаем мы его. Выработка в роте более 100% нормы. А его за это по головке гладят. Живем в полном согласии... Как видишь, все идет отлично. Плохо одно — местность. Голые сопки и военный городок. Жены офицеров и дети. Гражданских видим очень мало. Но, кажется, служить здесь недолго, скоро переедем...»

Так Шурка писал из Забайкалья в конце лета 67-го года. Уточню: в кафе «Молодежное» на Горького в те годы работал рок-клуб, и это было единственное в Москве место, где всякий вечер можно было легально слушать живую, имитировавшую «западную» поп-музыку. Наряду с понятной юношеской бравадой в этом письме есть следы и ненаигранной эйфории: наверное, Шурка и вправду вздохнул вольней, избавившись — пусть на время — от своих восемнадцатилетних проблем. Кажется, он уже устал в одиночку нести груз собственной свободы — очень понятное ощущение юного человека, — и странным образом армейские порядки поначалу пришлись по нему. Заканчивается это письмо так: «Кстати, как там Неля? Ты ей не звонил случайно? Если не звонил, то позвони. Ее телефон Б-3-78-78. Скажи, чтобы зашла на почту за письмом. Я ей написал. Это единственное тебе поручение, я знаю, как ты неохотно их исполняешь...» Дальше идут приветы моим приятелям, которых он знал: уже через несколько месяцев передавать приветы кому бы то ни было Шурка прекратит.

Письма, судя по аккуратно проставленным датам, в первый год он писал мне часто и регулярно — по три в месяц. Писал на ученических тетрадных страничках то в клетку, то в линейку, пару раз на листочках, вырванных из блокнота, причем без орфографических ошибок и без единой помарки. «Многоуважаемый Николай Юрьевич! Наконец-то ты вступил в пору юности, поскольку сокрушаешься о потерянном веселом отрочестве», — так начинается одно из следующих писем. Писано оно через полтора месяца после того, как мне исполнилось шестнадцать и я заканчивал девятый класс. Трудно теперь сказать, что я сообщил тогда Шурке, но, видимо, милицейская церемония получения паспорта произвела на меня не самое обнадеживающее впечатление. «Тебе московские девочки кажутся потрепанными, а у меня даже таких нет», — читаю дальше. Быть может, я в своем письме предпринимал неуклюжие попытки утешить его: мол, немногого ты лишился. «Офицерские дочки напуганы солдатами до смерти, ну а об офицерских женах и мечтать не приходится». Впрочем, письмо выдержано в победных тонах: «Сейчас вечер, а утром из окна вагона я крикну: «В гробу я видел это Забай-

калье, постараюсь больше сюда не возвращаться. Дранг на Европу, господа удавы!» Представь себе: еду под Горький учиться на командира взвода. После окончания пришьют лычки и будет не военный строитель рядовой, а сержант Щикачев. К тому же я буду на должности лейтенанта...» Замечательно все-таки Шурка боролся с судьбой, достойно неся ее бремя и ни в коем случае не позволяя себе жаловаться. Впрочем, тогда, похоже, ему и впрямь удавалось смотреть в будущее без боязни и весело. Забегая вперед, скажу, что по окончании сержантской школы его вернут-таки служить за Байкал... К этому письму есть постскрипtum: «Неле можешь не звонить, если еще не позвонил». По-видимому, Шуркино письмо не произвело на нее желаемого впечатления, — уверен, что такое же, как я, задание снести с Нелей получила и старшая сестра Таня, Шуркина конфидентка, а заделаться подругой, ждущей домой солдата, Неля не пожелала... Кстати, в письмах он подписывался всегда — «Саша», видно, домашнее «Шура» казалось ему недостаточно мужественным.

15

«Получил письмо от старых приятелей по техникуму. Пишут, что уже окончили, обмыли и половина успела пережениться. Вот уж никогда не думал, что эти дети — в душе, конечно, — способны к совместной жизни с женщинами. Здорово я им завидую, Коля. И в то же время рад, что у меня такой тернистый, зигзагообразный путь в жизни. Мне кажется, что когда я чего-нибудь добьюсь, а это уж точно, я в десять, в сотни раз испытаю радости больше, нежели они. Ведь вот кончили они техникум, пошли на работу, на которой им придется почти всем провести, может, всю жизнь, ничего в этой жизни не увидев и не поняв...» И тут важное: «Я говорю о главном — об отращивании к физическому труду...» Далее идут пространные туристические рекомендации, как устроить в зимнем снегу ночлег под тентом, как разводить костер, какую яму выкопать, приведены даже какие-то схемы. Это простодушие могло бы вызвать улыбку, но читать все это теперь грустно: Шурка погиб, ничего не добившись, если вообще словосочетания из ряда «такой-то состоялся», «не зря прожил жизнь», «нашел себя» что-нибудь означают перед лицом Творца, если, конечно, иметь в виду не протестантского, но нашего русского Бога.

Шурка был лишен какого-либо выраженного индивидуального таланта или прозорливого ума, и дар его был в другом — нести родовое знание, сохранять честь и собственное достоинство, хоть он это свое призвание, быть может, до конца не осознавал. За долгие годы нашей близости, впрочем, эта тема звучала-таки в нем исподволь, приглушенно и неявно — и то сказать, некому было ему ее преподать, о своем дворянстве взрослые тогда и вспоминать боялись, и в нем лишь отдавался эхом идущий от многих поколений предков далекий зов. «Что я думаю о своей военной жизни? Она сплошь состоит из ожидания лучших времен, а вот когда они настанут — понятия не имею. Ты, наверное, помнишь, что образ жизни я всегда вел довольно замкнутый. Это объяснялось тем, что я сберегал свою нервную энергию для настоящей жизни. Ты не думай, настоящая жизнь еще не началась, и пребывание в армии для меня ничем не отличается от гражданской жизни. Единственное изменение произошло в отношениях с людьми. Раньше я никому не был подчинен — кроме сознания долга...» Странное откровение, о каком *долге* он говорил, уж не об этом ли своем дворянском призвании? Во всяком случае, речь шла о *стержне* личности, а он, безусловно, в нем был...

«Извини, что долго не писал, виновата эта проклятая жизнь командира: надо навести порядок, а тогда уж и спать спокойно, зная, что никто у тебя не напьется и не замерзнет. Две недели назад был такой случай. Замерз один парень, и я сам ездил в Читу, отправлял его на запад. Не его самого, конечно, а то, что

от него осталось... Командовать мне тяжело — не привык. Приходится постоянно прибегать к хитростям. Видишь ли, дисциплины здесь нет никакой, это ж не строевые войска, где за невыполнение приказа сажают на губу. А здесь, если не стоишь над душой, ничего никто делать не будет, дверь в казарме не покрасят. Приходится искать «жертву», того, кто в самоволку подался или вне строя в столовую отправился, и уж ему-то и вчинять наряд... Живу я почти как на гражданке, только бытовые условия, конечно, много хуже. Никак не могу привыкнуть жить без теплого туалета. По-моему, это свинство — делать туалеты неутепленными».

В письмах появляются просьбы, всегда в постскриптумах: скажем, прислать новую записную книжку — «ты знаешь, мне нравятся большие и солидные», или переписать для него полный текст «Гражданки Парамоновой» — «нужно страшно, его можно достать в клубе на Козицком». Речь идет о недолго существовавшем Клубе туристической самодеятельной песни в Козицком переулке, куда меня не однажды приводил Шурка. Впрочем, Галич туристом не был и «туристических» песен не пел.

16

«Ездил в Читу в командировку, а когда вернулся — меня ожидал сюрприз. Из Читы в мое отсутствие приезжал какой-то полковник и приказал перевести меня на положение военного строителя со снижением в звании до рядового. Пока я отсутствовал, мой солдат напился. Причем напоили его люди из другой роты. Вначале он на месте побалагурил, а потом его потянуло на подвиги. Взял на стройке пятилитровый чайник краски и понес в соседнюю деревню продавать. Продал, добавил, естественно, отправился на танцы, нашел себе четырнадцатилетнюю дуру и изнасиловал ее. Может, все и прошло бы незамеченным, она и сама с радостью рассталась с невинностью, вот только он порвал ей щеку. Тут и началось: ее родители заахали, кто-то вспомнил, что она шла по улице с солдатом, ее прижали к стенке, и она все рассказала. Тотчас приехал следователь, и завели дело. Теперь этому парню светит не меньше пятнадцати в лучшем случае, в худшем — сам понимаешь... Об этом случае доложили аж командующему округом, и тот прислал полковника разбираться. У того времени в обрез, он и наложил всем несправедливо суровые взыскания, а ком. взвода, то есть меня, и старшину приказал снять с должности. Меня это мало тронуло. Мне сейчас наплевать. Правда, ком. части вызвал к себе, долго беседовали, он сказал, что нехорошо получилось, хотя никто в этом не виноват. Посетовал, что тяжело терять таких сержантов и т. д. На прощание пообещал, что как только осудят этого фраера, то сразу вернут звание. Но мне и на это наплевать, пусть делают как хотят. Скажут полы подметать — буду подметать. Вот только плохо — сразу же, как сняли с должности, перевели в другую роту. Старшина там был кусок, т. е. сверхсрочник, и сразу мне не понравился. Косился я на него, косился, и он почувствовал, конечно, во мне враждебность, стал тоже коситься. Возвращался я как-то от своей кошелки вечером: никуда не спешу, никуда не опаздываю. Он же в этот вечер решил сделать поверку минут на пятнадцать раньше обычного. И, естественно, меня засек. Я вхожу как ни в чем не бывало, кричу: «Старшина, я в туалете был!» А он мне: «Ни хера, иди в штаб полы мыть». Я его, естественно, послал. Он рассвирепел. Кричит так, что палатка дрожит и качается. Но я на своем стою, хоть и вижу, что он к тому ж под балдой, ну, думаю, дело будет. Пошли со мной, говорит, мы вышли. Позвал он меня куда-то за санчасть, прижал своей тушей, а туша у него килограммов 120, не меньше. И неожиданно ударил в челюсть. Ну я не растерялся, сделал ему серию, потом вторую. Закончил сокрушительным ударом в солнечное сплетение, добавил для верности по копчику и оставил под березками. На следующий день вызвал к себе начштаба, я рассказал ему, как дело было, ну вроде ты не виноват, говорит.

Перевели опять в другую роту. А того старшину уж недели две не видно. Ребята говорят, что пачка опухла и двух зубов как не бывало. У меня действительно от них две отметины на костяшках пальцев не заживают. Не везет мне. Да мне плевать, все равно в мае дембель».

Таким образом, армейская карьера, которой Шурка кичился, бесславно и нелепо оборвалась. Писал он это большое письмо в середине сентября. И опять ошибался: его демобилизовали только в конце июня следующего года, одним из последних в его призыве.

Бабушку свою в живых он уже не застал, она умерла незадолго до его возвращения. Зато его ждал сюрприз — ему была отказана отдельная комната. Та самая, из-под венеролога Каца. И это обстоятельство, конечно же, изменило его жизнь по сравнению с доармейской.

17

Стоит ли говорить, что он возмужал, но это была мужественность довольно грубой выделки, скорее матерость, чем заря мужского цветения. Он сделался еще смуглей, но и это была уже не фамильная нежная смуглость, а въевшаяся в поры армейская копоть. В нем появилась вместо сдержанной замкнутости и всегда чуткой задумчивости — угрюмость, по временам разряжающаяся неожиданным взрывным смехом. И, конечно же, он стал резче во всем — и в движениях, и во мнениях, которые окрашены были к тому же грубоватой, подчас злой иронией. Впрочем, никакой надломленности и болезненности в нем не было, но и прелестного юношеского «юнкерства» не осталось. Однако порода все равно просвечивала, но это было уже на уровне скорее антропологическом. Впрочем, я говорю лишь о внешнем впечатлении самых первых дней после его возвращения...

Прежде чем рассказать, как мы встретились, скажу, какими Шурка нашел своих близких после двух с лишним лет отсутствия.

Похоронив мать, Кирилл разом сдал; теперь он старался больше времени проводить на оставленном ему в наследство продавленном диване, стал еще смирнее и тише, если такое было возможно, похудел, почернел, плохо ел, хоть никаких явных болезней у него не было. Кажется, теперь, в отсутствие матери, его все чаще стало навещать прошлое, и он чувствовал, что жизнь прошла. Он умер через год, кажется, после Шуркиного возвращения, незаметно, как и жил, — освободил место. И получилось у него это, как и всё, что он делал, деликатно... Но я забежал вперед.

Стали взрослыми Шуркины сестры. К тому времени я с ними уж почти не общался, хоть в отрочестве с обеими был более или менее близок. Помнится, в какое-то лето, мне было лет тринадцать, Шурка отчего-то пару недель отсутствовал, и я дождался его на даче в Чепелеве сначала в обществе Тани, потом Нали...

Вот сценка: зарядил дождь, холодно, печку разжигать лень; мы с Татьяной лежим в одной постели, и, смеясь над моей робостью, она все просит погреть ей ноги своими ногами под одеялом; думаю, она тогда хотела бы меня соблазнить, но при всей половой бесшабашности духу у нее не хватило; тем более что я жался и дичился, ноги ей не грел, дрожал, втайне, конечно, мечтая хоть поласкать ее грудь. Я был в ту пору девственным херувимистым подростком, и она таскала меня с собой в какой-то недалекий пионерский лагерь, в котором годом раньше работала вожатой и в котором остались у нее дружки и подружки, — на смотрины, гордясь смазливим племянничком; лагерь был неухоженным, зачуханными пионеры; ночью, у костра, где пил водку *персонал*, Татьяна пару раз ходила в кусты с каким-то физкультурником, а меня все тискала и целовала толстуха лет под тридцать в красном галстуке; от нее воняло одеколоном «Красная Москва», женским потом, вином, мне хотелось бежать куда глаза глядят через темный лес.

Наля была старшей сестре полной противоположностью, застенчивая и романтическая. Видимо, я и ей нравился, коли она рассказывала мне нескончаемую какую-то повесть своей школьной влюбленности и, кажется, просила совета: позвонить ли *ему* самой и серьезно ли то, что *он* целовался с подружкой, правда, только один раз; советы, конечно, я щедро и с энтузиазмом давал...

Помимо прочего, ко времени, о котором речь, между мною и сестрами пролегло отчуждение и по причинам, так сказать, идеологического порядка; они были комсомолками, я же — упоенным антисоветчиком, такова была атмосфера и в моей семье, и в поздние школьные годы в моем «лицее»; должно быть, столь страстно верующими в свою идею, как я тогда, были только ранние комсомольцы. Как-то, помню, Наля в моем присутствии упомянула «русскую революцию». Я издевательски осведомился: о которой идет речь? И вызвал тем нешуточное возмущение. Я и потом не раз наблюдал потомков дворян, которые были не просто лояльны советским идеям — они были святее детей рабочих и крестьян, быть может, играл свою роль въевшийся навсегда страх, быть может, представление о том, что необходимо быть верным раз принятым как свои убеждения. Впрочем, Шурка был аполитичен, в комсомоле, как и я, никогда не состоял и к моей антикоммунистической проповеди относился со снисходительностью, маскирующей известное сочувствие и неподдельный интерес...

Когда он вернулся, Татьяне было лет двадцать шесть, и из некрасивой, но смешливой, добродушно-грубоватой, неглупой, хоть и легкомысленной девицы она неотвратимо превращалась в раздраженную гримзу, которой уж всерьез угрожало остаться в старых девах. Именно с ней приходилось Шурке делить комнаты Каца — ему досталась хоть и большая, но проходная, а Татьяне дальняя. Помнится, мы с ним подумывали расконсервировать некогда накрепко задраенную дверь из Татьяниной комнаты напрямую в коридор, но этого не понадобилось: Татьяны днями не бывало дома, и ночами тоже, и обе комнаты были в нашем распоряжении. Как я теперь понимаю, у нее, работавшей техником в какой-то конторе, разворачивался как раз тогда нервический *служебный* роман с начальником-инженером, причем холостым, и все резервы были брошены на то, чтобы его на себе женить.

Наля же превратилась в очень серьезную, хмурую и сосредоточенную девушку двадцати двух лет; музыка давно была позабыта, и Наля уже оканчивала престижный тогда институт электронной механики; помнится, математика ей давалась с трудом, и она часто приезжала к моему отцу за консультациями. Но мало того, что она осваивала столь суровую специальность, — у нее был столь же серьезный и правильный роман с однокурником по имени Сережа, и они уже объявили себя женихом и невестой. Жених тоже был основателен; отец-рабочий умер — от запоя, как выяснилось позже; мать служила, как в одной из пьес Рощина, проводником в поезде Москва — Владивосток, и во время ее длительных отлучек на старшем сыне лежала забота о скольких-то там младших сестрах и братьях; он был первым в роду, кто получал высшее образование и прямым шел «в люди», и чувствовал груз ответственности; так что жениться ему необходимо было добротню, на порядочной девушке, Наля подходила по всем статьям, *из образованных*, умела играть на фортепьяно, — и решенная свадьба была отложена до защиты обоими дипломов; к тому ж была надежда на комнату Нели, давно пустующую, обещанную жилищными властями Щикачевым в случае расширения семейства, — пока ведь была только убыль.

Не изменилась лишь тетя Аня — не помолодела, конечно, но и не сдала. А поскольку забот у нее стало меньше, она при каждом удобном случае по-крестьянски повязывала косынку на седеющую голову, собирала какие-то котомки и отправлялась *на огород*, — она вот-вот должна была выйти на пенсию, и врожденная тяга к земле теперь все прочее перевешивала.

Нам с Шуркой предстояло заново обнюхаться.

Впрочем, времени у меня на армейского дядюшку было немного. Мне шел девятнадцатый год, и, как всякий лоботряс из обеспеченной семьи, я был отягощен множеством забот. Как-то: по всем девичьим номерам нужно было позвонить, с друзьями *погулять*, посетить пивной бар, сходить на танцы в университетский «интерклуб» (дискотек тогда еще не было), поспеть на *поп-сейшн* (так назывались тогда подпольные рок-концерты доморощенных ансамблей, концерты, кончавшиеся зачастую милицейскими облавами); к тому ж я много читал — увы, не учебники — и возобновил попытки сочинять, чем грешил еще в поздние школьные годы. Занятия в университете на первом курсе я упоенно прогуливал, пробавляясь тем багажом, что вынес из специальной математической школы; у меня вызывала устойчивое отвращение сама унылая атмосфера, серый цвет коридоров и тусклый свет аудиторий физического факультета, куда я попал по наследству, то есть по чистому недоумению; лекции и семинары я еще мог с грехом пополам высидеть, читая спрятанных под парту то Генриха, то Томаса Маннов, но лабораторные занятия, осциллографы с термопарами, лазеры и магниты, электростаты и катушки с проводами, спектрометры и триоды вызывали у меня приступы душевной ненависти к миру и чувство заброшенности — такие ощущения охватывают, должно быть, по временам оставленного всеми сироту; одно-единственное могло меня подманить в заставленный приборами кабинет электротехники — лаборантка Лида, с которой мы с неистощимым упорством и звериной жадностью — так она была обильна и жарка — занимались ласками без соития (она была простой девушкой и полагала, что должна *целой* выйти замуж), и я выходил из ее кабинета измочаленный и с мокрыми между ног штанами...

К Шуркиному возвращению я как раз с пятого на десятое вытянул экзаменационную сессию и перешел на второй курс. И, конечно, вился ужом в прекрасной летней, полной полуобнаженных, прелестно застенчивых девок июньской Москве: все как одна *поступали в театральное и, не найдя себя в списках*, с готовностью шли на все, чтобы к себе в Пензу или Тамбов не отправляться вовсе без столичных впечатлений...

Шурка же, напротив, был в первые недели совсем прибитым — Москва пугала его, как впервые приехавшего сюда с далекой окраины родственника. К тому же он привез из армии грибковое заболевание, ему приходилось дважды в день мазать ступни и пальцы ног какой-то зеленой дрянью, и он не мог составить мне компанию ни на пляже на Филах, ни в Серебряном Бору.

Но это не главное. Ему казалось, что время ушло вперед безнадежно и неагоняемо, он мучился тем, что поют уже новые песни, что бурные сборища проходят теперь не в знакомом ему «Молодежном», а в открывшемся в его отсутствие кафе «Печора» не нынешнем Новом Арбате, где действовал тогда джаз-клуб; и что молодежь уж другая — высокомерная, стильная, — и с новыми девушками непонятно о чем говорить, а старые девушки повыходили замуж и лишь шипят по телефону «больше мне не звони». Естественно, у него не было денег — тетя Аня давала, конечно, понемногу, но этого хватало только на сигареты. Дошло до того, что он вовсе не выходил из дома, даже в Чепелево ездить отказывался, играл со своим будущим зятем Сережей в шахматы, делал вид, что изучает учебник математики, у отца позаимствованный, который тот уж давно отчаялся читать; но главное — Шурка повседневно и обстоятельно предавался занятиям, которых был так долго лишен: по часу сидел в горячей ванне напротив комнаты певицы Эммы, со вкусом пил кофе «по-турецки», заваривая его в турочке, у нее же одолженной, со вкусом закусывая сыром, нарезанным непременно так, чтобы видно было на просвет; конечно, он продолжал мечтать и

строить прожекты, однако более смутные и необязательные, нежели в армии; его захватило настоящее, и он заделался своего рода эпикурейцем, смакующим всякую минуту вольного бытия.

И оттенка покровительства старшего младшему не осталось в наших отношениях: пусть он лучше узнал жизнь «как она есть», но сейчас, в Москве, эти сведения не имели цены, я же стал для него своего рода проводником по чужому для него новому бравому миру. Теперь мы были на равных, и он стал откровеннее со мной. Как-то заметил: знаешь, идет время, а ты куришь все те же сигареты «Джебэл», к которым привык, поешь те же песни, посколькы новых не знаешь, цитируешь те же книги, что когда-то прочел, и предаешься тем же привычкам, ведь новые заводить лень, а однажды проснешься — и ты уже стар, и пора умирать...

Но все-таки шел ему только двадцать первый год, лето в разгаре, окна настежь, и сквознячок нет-нет доносил с бульвара возбуждающий душок бензина и томительный запах перегретой пыльной листвы. Теперь Шуркино окно выходило не в переулок, как некогда, когда жили все вместе в большой комнате, а смотрело в сумрачный дворик-колодец на окна противоположного крыла этого же дома. И случилось то, что и должно было случиться, поскольку жизненные сюжеты слагаются по законам итальянских комедий много чаще, чем мы привыкли думать: в окне напротив нарисовалась соседка, которая стала с Шуркой беззастенчиво флиртовать.

19

Но прежде чем рассказать о ней — особа была вполне экзотична, — еще пара слов об Арбате.

Точнее, о Калининском проспекте, как он тогда уже назывался и каким он стал — с чиновничьими «Волгами», шлюхами, модными парикмахерскими и косметическими салонами, дорогими магазинами и дюжиной питейных заведений, представлявших собой циклопических размеров ангары, в каждом из которых разместился бы партийный съезд, — стал ко времени Шуркиного возвращения.

Шурка радовался и гордился, глядя на эти бездарные московские *небоскребы*; пусть жизнь, в них варившаяся, смущала и пугала его — в те годы на сверкающий «по-западному» Калининский переместилась вся модная молодежная *тусовка*, как сказали бы нынче, изменив улице Горького, — но сам вид этих чудовищных сооружений создавал у него ощущение причастности *современности*, ведь он оказался их соседом, более того, был непосредственным свидетелем их рождения. И нет ничего странного в этом его тайном чувстве удовлетворения — он *расставался с прошлым*, для него прежде всего армейским, хоть новое настоящее было, по сути, покушением на истинный наследственный его мир, — скорее всего он тогда вовсе не задумывался над этим; так в 60-е рядовые москвичи, весело прощавшиеся с недавней казарменной жизнью в наглухо задраенной стране, повально выбрасывали на помойки старую мебель, азартно обзаводясь вдруг появившейся в продаже модной *импортной*, из Румынии или ГДР, разноцветной и пластмассовой, на гнутых алюминиевых ножках, а также торшерами и *журнальными столиками*, потом и *стенками*; и позже, когда антиквариат взлетел в цене, со скрежетом зубовным об этом вспоминали, и уже их дети выкидывали родительский пластмассовый утиль на помойку и прикупали обратно бабушкины комоды, сундуки и бумфеты...

Забвение прошлого потом отомстит и Шурке, пока же он силою вещей всячески демократизировался, — ведь и его юношеское увлечение шпаной, и его *туризм* были шагами именно по этому пути. Спроектированный и возведенный с плебейской тягой к яркости фасада при полном пренебрежении не то что к комфорту внутри, но даже к разумной функциональности, Калинин-

ский виделся ему скорее всего знаком современности; при этом он невольно разделял весьма распространенный предрассудок, приписывающий всяческому модернизму, эгалитарному по сути, черты избранности, чуть ли не аристократизма; в то время как действительная элитарность всегда консервативна и держится традиции.

Кстати, всякий такого рода амбициозный проект в России основан еще и на подсознательной провинциальной зависти, являясь, по сути, попыткой реванша; и идеи построить, скажем, «московский Манхэттен», «московский Сити» или «московский Диснейленд» непременно сведутся к созданию очередного муляжа: нельзя же за два года вырастить баобаб, которому положено расти век, — так некогда светлейший князь Меншиков, родившийся на конюшне, строил *ударными темпами* «северную Венецию» на Васильевском острове, украл большую часть отпущенных денег, оказался в Березове, зато и по сей день островитяне живут не на улицах, а на *линиях*, намечавших некогда так и не прорытые «венецианские» каналы.

20

Так вот — об украшавшей Шуркин унылый облупленный двор-колодец диве в противоположном окне.

Начать с того, что она сгодилась бы ему в матери — это была матрона лет сорока пяти, со следами безусловной молодой красоты, но теперь обрюзгшая. У нее была грудь, прущая из бюстгальтера, как тесто, при хорошо сохранившихся стройных ногах и изящных руках, пусть несколько поношенных; аккуратная небольшая попка, набрякшие крупные плечи и жирный загривок; породистое, чуть подпухлое лицо московской еврейки, живые зеленые глаза, аккуратный нос с едва заметной горбинкой, манкие правильные губы, отчеркнутые двумя вертикальными морщинами по углам, хорошие, как ни странно для девочки предвоенных лет, зубы, чарующая улыбка, густые волосы, крашенные в непроглядно черный цвет, — должно быть, она была уже наполовину седой, — и повадка разочарованной львицы. Она была знойной, но это был не сухой жар, а сырая духота парилки, в которой можно и угореть. Звали ее отчего-то по-гречески — Нина.

Она нигде не работала, жила одна. Занимала комнату в такой же, как у Щикачевых, коммуналке; к Шурке она применяла нехитрый арсенал завлечения — то садилась у окна, распускала по голым мощным плечам свои крашенные волосы и томно орудовала гребнем, то поздним вечером, убедившись, что он подсматривает за ней, гасила у себя верхний свет и раздевалась за прозрачным тюлем в желтоватом свете торшера. Этот стриптиз, конечно, бросал в озноб изголодавшегося солдата... Разумеется, его снедала робость: соседка была шикарна и недоступна, роскошная зрелая женщина, а кто он — огрубевший в глуши солдафон, привыкший в своем Забайкалье к пьяным *шкурам*, с какими только и яхшался последние годы. Устав его подманывать, она сама дала ему шанс и организовала предлог, однажды на виду у молодого соседа с подоконника во двор *обронив ридикюль*, совсем как дама с собачкой; Шурка рванулся подбирать и оказался прямоком у нее в постели. Скоро выяснилось, что эта самая Нина — настоящая вамп, знала толк в том, что и как делать в постели с молодым и, конечно же, малоопытным податливым мужчиной, и вскоре Шурка объявил обезумевшим от ужаса родным, что женится...

Для начала те пошли неверным путем, убеждая его, что дама немолода, детей у них, по всей вероятности, уже не будет, а он еще встретит милую девочку, подходящую ему по возрасту и прочим статьям. Но он совсем ошалел от своей неожиданной любви и был непреклонен. Он твердил, что *дал слово*, говорил, что *не имеет право отступить* и что они совсем не знают Нину, а та — *много страдала*... Короче, мотив из «Ямы»; кстати, Куприна Шурка от-

чего-то всегда любил и цитировал — наряду с кошмарным «Мартином Иде-ном» и — невесть почему — Лонгфелло.

Тогда родные зашли с другой стороны и умоляли хоть подождать, устроить как-то собственную жизнь, ведь ему не на что содержать семью, даже купить невесте обручальное кольцо и цветы. Это отчасти подействовало, и некоторая отяжка была-таки обещана.

Но только некоторая. И, кто знает, быть может, Нине и удалось бы дожать его и Шурка исполнил бы свое губительное намерение, когда б его не спасла сестра Татьяна.

Ближе к осени стала известна подноготная Нины: она жила в этом доме давно, и ее соседи по квартире, конечно же, многое могли о ней порассказать. Во-первых, стало известно, чем неработающая Нина промышляет: в коммуналке ей принадлежали две несмежные, через стенку, комнатки-пенала, и, сама занимая одну, другую она сдавала, но не постоянному жильцу, а на ночь. Об этом, разумеется, была извещена милиция, однако у Нины оказалась оформлена группа инвалидности по психиатрической, как выяснилось, статье, и это давало ей нужный иммунитет: по гуманным советским законам, как сумасшедшая, она имела право на *отдельную жилплощадь*, которой, понятно, у советской власти для нее не было. Более того, случайно обнаружилось, что секретарша на Татьяниной работе Манька Бородина — мал мир — не только хорошо знает Нину, но и водит дружбу с Ниниными постоянными девочками, которых та изредка сама вызывала к клиентам, то есть ко всему Нина была сводней. Но и этого мало, стало известно, что в молодости она, разумеется, и сама зарабатывала проституцией, ее портреты анфас и в профиль украшали соответствующий альбом на Петровке аж с конца 40-х, когда Нина окучивала преимущественно Дом офицеров.

Татьяна не была настолько душой, чтобы все это с ходу выложить влюбленному по уши брату: это дало бы, безусловно, обратный эффект, в тот момент он скорее отказался бы от сестры, чем от Нины. И она сделала неплохой ход, впутав в это дело племянника. То есть меня.

21

Впрочем, даже после того, как она все мне выложила о Нине, я все равно понятия не имел, как приступить к делу, соглашаясь, конечно, что Шуркино намерение есть чистое безумие. Немыслимо было говорить с ним прямо, тем более что эта шальная любовь сильно встряхнула его: с Шурки на глазах стало осыпаться все солдатское, стройбатовское, и вновь проглянуло юнкерское, дворянское, — к своей даме сердца он относился с отменным рыцарством, а к собственному чувству — с целомудренной сдержанностью и серьезностью. По-видимому, все, что копил он в себе, сейчас нашло выход, а ведь он всегда возвышенно относился к Женщине. Нина же была опытна и неглупа и предстала ему — Дамой. Да будь она и стервозной душой — кто из нас именно в шалавах не обнаруживал подчас под слоем хамоватой заносчивости и прочего мусора глубинную тлеющую, чуть больную и застенчивую, женственность, готовую вспыхнуть опаляющим пламенем, ту обжигающую женственность, которой так недостает обычно *порядочным* девицам. Кроме того, чтобы вернуть чувство уверенности в себе, Шурке, как лекарства больному, не хватало сейчас именно женской нежности, нежности, конечно, не того сорта, что могли дать ему мать или сестры. Наконец, как стало ясно позже, стареющая Нина и сама не на шутку привязалась к Шурке... Короче, задача, передо мною поставленная, казалась невыполнимой, когда б не упомянутая уже Манька Бородина.

План мы с Татьяной разработали такой: она приводит свою коллегу в дом после работы, а там уж мы раскручиваем целый сценарий, основывавшийся на Манькином с Ниной знакомстве.

Манька оказалась худенькой, на тоненьких ножках, совсем плоской, с веснушками по носику девицей лет двадцати трех, про каких говорят — *воробушек*, но веселой и отчаянной, из тех, кто все детство дрался с мальчишками и лазал по деревьям. Такие подчас, повзрослев, становятся прекрасными любовницами и всегда — отличными подружками, что называется *своими в доску*, и мы с ней мигом поладили. Даже Шурка, в мечтах уже копошащийся в кровати в другом крыле дома и отсчитывающий минуты до вечернего свидания, довольно быстро купился на Манькин легкий и жизнерадостный нрав, поддался неумолчному щебету, тем более что та без удержу рассказывала уморительные штуки, и все мы покатывались со смеху. И Шурка тоже.

В какой-то момент — так было договорено — Манька вдруг вскрикнула, выглянув в окно: ой, так у меня ж в этом доме подруга живет, Нинка, айда — завалимся к ней! И Манька высунулась в окно и закричала: «Нинок, идем к тебе!» Шурка был ошарашен, но ничего поделать не мог. Я подхватил заготовленную сумку с портвейновым вином, и мы отправились к Нине всей компанией.

22

Татьяна оказалась отменным психологом. Она загнала Нину меж двух огней: при Маньке та невольно держалась иначе, чем с Шуркой наедине, — Манька слишком много о ней знала и как бы принесла с собою Нинину изнанку, так тщательно от Шурки скрываемую. Манька фамильярно то и дело лезла к ней: а помнишь Димку — так его посадили, а Анька-Пулеметчица вышла все-таки за того мента, который с нее подписку брал, а Луна, помнишь Луну, мы были с ней у тебя в мае...

Нина обычно почти не пила; но теперь, видно, от невозможности выпутаться из опасной ситуации — что ей было делать, в самом деле, попытаться Маньку выставить, так ведь тоже не лучший путь, к тому ж и задача не из простых, от Маньки отделаться было непросто, — Нина крепко выпила; а выпив, вовсе отпустила вожжи. Она, всегда жеманясь и подлаживаясь к Шурке, сейчас вдруг заговорила на одном с Манькой языке; у нее изменилась интонация, даже звук голоса; в ней проглянула прожженная бабенка, цинично кичащаяся своим богатым дамским прошлым; она стала вульгарна; они с Манькой, тоже захмелевшей, пустились даже в воспоминания об общих, видимо, *мужиках*; лишь изредка, будто на секунду очнувшись и спохватившись, вспомнив вдруг о его присутствии, Нина тянулась к Шурке с подсознательно утешительной лаской, пьяно ухмыляясь; но даже если она и впрямь хотела приласкаться, это выходило у нее фальшиво и невпопад, и Шурка отдергивался чуть не с брезгливостью.

Наблюдал он всю эту сцену молча, лишь поначалу сказал было пару слов; пил мало; постепенно глаза у него задрожали, а сквозь смуглую кожу на лице проступила краснота — кажется, понемногу им овладевало тихое бешенство. Скорее всего он чувствовал себя обманутым — Нина до сих пор ни словечком с ним не обмолвилась об этой своей, другой, жизни, которую, к слову, ради Шурки резко оборвала, — и, конечно же, он ревновал. Но главное — Шурка мучительно осознавал, что — смешон. Он стыдился и меня, и Татьяны, и, полагаю, это была настоящая пытка для его самолюбия.

Мы ушли поздно, Шурка остался. Что между ними произошло в ту ночь — не знаю, но уже на следующий день Шурка порвал с Ниной. Это казалось невероятным, и трудно себе представить, каких это от него потребовало усилий, но — порвал. Почти всякий другой на его месте прощался бы долго и много раз: уходил бы, потом в пьяном виде возвращался, чтобы устроить очередную сцену и коснуться еще раз желанного тела, уходил бы опять, опять приходил, и отношения гасли бы постепенно, пока не потухло последнее желание... Шурка отрезал — одним махом. Значит, с возрастом он не растерял своих юношеских качеств: воспаленной гордости, острого чувства чести и цельности натуры.

Впрочем, почти любая женщина в его поведении усмотрит не подвиг удушения собственной песни и не апофеоз мужской гордости, но эгоизм и измену. И тоже будет отчасти права: в конце концов именно Нина встряхнула Шурку, поставила на ноги, фигурально выражаясь, при этом отказавшись ради него от привычного образа жизни, даже от основного источника дохода. Уходя, он унес с собой, по сути дела, все, что могла ему дать эта стареющая и усталая одинокая женщина. Он же лишь добавил горечи в чашу ее и без того горькой жизни, горечи, пусть и подслащенной каплями последней радости... И если не это называется конфликтом полов, то — что?

23

И мы с Шуркой при активном, как сказали бы нынче, *менеджменте* Маньки Бородиной пустились во все тяжкие, благо тетя Аня безвылазно жила на даче, а Кирилл лежал на диване в другом конце коридора. Проще говоря, Манька нагнала в обе комнаты из-под венеролога Каца многих своих товарок. Они не были проститутками в прямом смысле слова и не зарабатывали телом на жизнь. Это были просто гулящие развеселые девки, каждая из которых, проспавшись, тащилась на какую-нибудь необязательную и необременительную службу с тем, чтобы уже к семи вечера опять сидеть за столиком в «Ивушке», «Ангаре» или «Бирюсе» в привычной компании, в которой спали друг с другом по кругу. Были они все из простых семей; со служб их то и дело увольняли за нерадивость и нарушения дисциплины, месяцами они болтались вовсе без дела, пока мамаша — а жили они с родителями, чаще без отцов, но с матерями, братьями и сестрами в каких-нибудь Черемушках — не припирала к стенке; тогда они нехотя опять поступали на какую-нибудь непыльную работенку. Сегодня невозможно вести подобный образ жизни: не забываясь о пропитании, но будучи при том одетым, обутом, всегда сытым и пьяным, — на то и был у нас социализм...

Сначала у меня был «роман» с самой Манькой, потом с ее подружкой Клавкой, потом опять с Манькой, а Клавка отошла Шурке, у которого последовательно и параллельно были Танька, Регина, толстуха Тамара, пока он не остановился на худой и долгоносой фарцовщице Ольке родом из Днепропетровска, оказавшейся в Манькиной компании случайно: она сбывала девицам с Калининского вещички, что привозил ее муж, танцевавший в ансамбле «Березка» и не вылезавший из заграничных турне...

И все бы хорошо, существовали мы беззаботно и пьяно, но беда в том, что Шурка и Нина продолжали жить в одном доме — окно в окно, и наша развеселая первобытно-общинная групповая любовь была у Нины всякий день перед глазами; к тому же она коротко знала почти всех фигуранток.

Нина начала пить; в пьяном виде высывалась по пояс в окно — на ней бывал подчас только лифчик — и орала на весь Арбат дурным голосом. Шурка краснел, бледнел, бесился, порывался идти Нинку бить, мы задрапировывали окна, через минуту раздавался надрывный звонок во входную дверь, и, если соседи не дай бог открывали, Нинка пыталась прорваться к нам в комнаты; однажды она подкараулила толстуху Тамару в подворотне и с криком: *«Будешь знать, как спать с моим мужиком!»* — раскарябала той физиономию. Короче, надо было сматываться. Мы решили ехать в Крым, прямо-таки по Шуркиному плану, изложенному им в одном из армейских писем. Кстати, Шуркина пассия пригласила нас заехать по пути к ней в гости в Днепропетровск. Подходил сентябрь, бархатный сезон; я решил, что пару недель обойдусь без университетских лекций, и мы отправились вчетвером: Шурка с Олькой и я в паре с Манькой.

24

Это было беспечное путешествие, полное милых пустычных приключений и необязательной смешливой любви. Малые деньги, какими мы вчетве-

ром располагали, прогуляны были еще в вагоне-ресторане. По прибытии в гости к Ольгиной матушке в Днепропетровск мы с Шуркой, однако, довольно легко разбогатели: подрядились на товарной станции разгружать вагоны со *стеклотарой*, с трехлитровыми банками, точнее сказать, которые мы чуть не через одну откатывали в тень. И деньги, полученные за разгрузку, составили малую долю того, что мы выручили, торгуя этими самыми банками в днепропетровских дворах — по бросовой цене, и шли они у хозяек нарасхват: ведь было самое время заготовок. Мы валялись на днепровских песчаных пляжах, пили сухое вино, дурачились и хмелели от вольности и молодости. Помню, дежурной шуткой Ольки было подкрасться к Шурке, разомлевшему на солнце-пеке, и умелыми губами пощипать скоренько его плавки между ног. Плавки у Шурки тут же неприлично вздымались, и под хохот девиц он, чертыхаясь, подхватывался и мчался в реку — остужаться...

И в Крыму нам везло. Едва завидев море, мы тут же и вылезли из троллейбуса в Алуште — зачем было ехать еще куда-то? И не прогадали. Как уж мы сообразили податься на опытную ботаническую станцию — не вспомнить. Но только в одночасье мы стали хозяевами двух фанерных домиков и оказались временно зачислены лаборантами. Нам была выдана замусоленная общая тетрадь в коричневом коленкоре, чернильный карандаш, рейсшина и штангенциркуль. Рано утром за нами приходил игрушечный автобус с тем, чтобы забросить нас наверх, в опытные лесопосадки высоко над морем, — обратно по договоренности мы должны были спускаться сами. В наши обязанности входило за день обработать одну делянку, засаженную понумерованными опытными елками, измерив их высоту и толщину на уровне метра от земли. И данные проставить в тетрадь рядом с результатами предыдущих измерений. Хоть и был я нерадивым студентом-физиком, но мне хватило сообразительности тут же вычислить средние величины прироста высоты и толщины елок, и я, чем лазить по лесопосадкам, заполнял соответствующие страницы тетради за полчаса. Уверен, что благодаря этим «измерениям» чья-нибудь защита диссертации на соискание степени кандидата биологических наук прошла вполне гладко... По песчаным осыпям, покрытым кой-где сгоревшей за лето полынью, огибая редкие здесь скалы, мы с хохотом скатывались к морю, на дикий пляж, в нескольких километрах от города, плескались нагишом все вместе, а потом занимались любовью — одна пара по одну сторону какого-нибудь валуна, другая по другую. Именно в один из таких, полных солнца, безделья и неги дней Шурка как-то разом помрачнел и, когда я принялся его теревить, процедил сквозь зубы:

— Ох, и надоели же мне б...!

25

Наших ли бесхитростных подруг он имел в виду; или томок, клавов, танек и регин, что оставил в Москве; или пьяных *шкур*, что согревали в забайкальские холода солдат-стройбатовцев. Так или иначе тогда я не придал этой Шуркиной реплике значения, пропустил мимо ушей, списав на его дурное расположение духа. Тем более что так же легко, как проблему жилья, мы решили вопросы питья и закуски, ведь деньги, вырученные за трехлитровые банки, у нас давно кончились, а есть хотелось. Оказалось, что наши домики стоят поблизости от молокозавода, пекарни и маленькой кондитерской фабрики. Рано утром один из нас шел в пролом в заборе молокозавода и выпрашивал у тетки, стоявшей на конвейере, пару литровых бутылок свежайшего молока, другой тем временем нес из пекарни чудный ароматный хлеб, какие-нибудь некондиционные батоны и булки. Но этим наш рацион не ограничивался. Мы оставляли наших девиц исполнять роль лаборанток опытной станции, благо оформлены на работу были только два человека; и было уморительно видеть, как, злобенько зырякая на нас невыспавшимся глазом, центровая Манька Бо-

родина тащила рейсшину длинней ее роста, а следом деловито ковыляла длинноногая спекулянтка Ольга с тетрадкой под мышкой и штангенциркулем; в их задачу входило доехать до посадок, дожидаться, пока шофер автобуса уберется за девками приударить, пока Манька не покрыла как-то его таким матом, какого он, боюсь, в жизни не слышал из девичьих уст, — а там тащить рейсшину обратно, причем задами, чтоб никто из работников станции не дай бог их не увидел. Мы же с Шуркой тем временем трудились в качестве грузчиков на кондитерской фабрике. Здесь выпускали три вида продукции: повидло из гнилых яблок, шоколадный вафельный торт «Сюрприз» и лимонад. Ближе других мы сошлись с мужиками из бондарного цеха — в бочки на фабрике грузили повидло. Рабочий день здесь начинался так: один из бондарей брал пустой чайник и отправлялся за завтраком — на всех; сначала он шел в цех «сюрпризов», где беспрерывно конвейер тянул вафельную ленту метровой ширины, которую баба-работница, ловко орудуя здоровенной кистью, наподобие малярной, густо намазывала некоей массой, именуемой в здешнем обиходе шоколадом, отламывал об колено кусок метр на метра полтора и шел дальше, в цех лимонадный; здесь ему наливали в чайник эссенции, и все это он тащил товарищам. Эссенцию разливали по стаканам. Это была приторно-сладкая спиртовая гадость крепостью градусов семьдесят, которую миллилитрами добавляли в то, что здесь именовалось лимонадом, и после употребления которой стаканами от тебя дня три этим самым лимонадом разило за версту. Часам к десяти утра бондарный цех бывал мертвецки пьян. А в одиннадцать досрочно начинался обеденный перерыв, и, прихватив торта и эссенции, мы шли к нашим девицам, которые поджидали нас в условленном месте, меж скал над морем. Обрато на фабрику в этот день мы уже не возвращались, а к вечеру вчетвером, пьяненькие, шли на танцы... Бог мой, благословенны были времена недостроенного коммунизма! Да ведь так можно было жизнь прожить, *просвистав скворцом, заесть ореховым пирогом...*

26

Ну да это было лишь мое легкомысленное настроение по отношению к миру. Шурка же не желал больше безыскусно наслаждаться естественным течением легкого бытия, его природной сердцевинной, самой тягучей его длительностью, когда время от рассвета до заката, с вечера до утра напоено истомой, жаром и прохладой попеременно, запахами чабреца и загорелой девичьей кожи, ароматом соленых девичьих волос и гомоном цикад — всеми пряностями и приправами, что делают столь неповторимым вкус и самой простецкой южной молодой жизни. Шурку же влекла жизнь, выстроенная по литературному лекалу, скорее придуманная, нежели наличествующая, культурная в самом общем значении слова, — наверное, это была реакция на долгое армейское существование в прямом смысле на земле, в палатке на мерзлой глине, с лопатой в руках, издевательски грубо спародировавшее его юношеские туристические пристрастия. Любое проявление рукотворного комфорта он ценил теперь много выше всех рассветов и закатов: полюбил бриться в цирюльне, благо стоило это тогда сущие копейки; мечтал ежедневно завтракать в кафе с газетами — эдакая венская греза; даже в своей коммуналке садился есть пусть за простой, но лишь за сервированный стол — с крахмальной салфеткой, заправленной в кольцо серебряной подставки, бог ведаст как выжившей в семье Щикачевых, видно, в качестве иронического напоминания о баснословном прошлом; и даже стал носить, *выходя в город*, шелковый шейный платок, который сам же и гладил ежедневно и тщательно.

То же и с женщинами. Бесхитростные, веселые шлюхи не оставляли простора для фантазии, их нельзя было даже мысленно наделить необыденными

достоинствами и нарядить офелиями, они были просты, как шуршание при- боя и галька на пляже, но одной голой женской природы Шурке было недо- статочно. Забегая вперед, скажу, что отчасти и эта черта подтолкнет его к гибели.

Короче, Шурка исподволь влекся к нищему, несколько карикатурному своего рода дендизму, не к расхожему пижонству, которому и я в те годы отда- вал дань, а к образу жизни джентльменскому, вот только ренты у него не бы- ло. И не даром года через четыре после Шуркиного возвращения в Москву у него появился весьма странный товарищ. Звали его Яша, Яков Валентинович, как обращался к нему Шурка при посторонних, потому что тот был годами де- сятью старше. Этот самый Яша был всегда при деньгах, всегда располагал вре- менем и жил именно, как рантье, чем скорее всего Шурку и покори́л. Яша зав- тракал только в «Национале», где персонал знал его в лицо и где при его появ- лении ему тут же, еще до заказа, несли в кофейнике то, что называлось тогда «кофе по-варшавски» — ни в Варшаве, ни в Европе, к слову, такого напитка не знали, и иностранцы дивились русской манере пить кофе с лимоном. Но Шурка этого не знал, ему виделся во всем этом один сплошной шик. Одевался Яков Валентинович просто и неброско — летом ходил в белой рубашке с ко- ротким рукавом, зимой в хорошем шерстяном черном костюме и такой же ру- башке, всегда без галстука, в тяжелом, старомодном габардиновом пальто с подкладкой алого с темно-синим шелка, как бы от кабинетного джентльмен- ского халата, и придавал — что было вовсе не свойственно советским мужчи- нам — большое значение лишь качеству и состоянию башмаков. Он числился доцентом какого-то технического вуза, зарабатывал, по его словам, репети- торством, был отменным шахматистом и убежденным холостяком. Последнее, кстати, к двадцати пяти стало Шурке особенно близко — в отсутствие дамско- го идеала он постепенно делался если не женоненавистником, то — во всяком случае, в сфере половой — аскетом.

Этот самый Яша на какое-то время стал горячей Шуркиной любовью — как Марик когда-то. Шурка наделял его всевозможными достоинствами, впро- чем, Яков Валентинович и впрямь был сдержан, скуп на слова, что не мешало ему говорить тоном менторским. Его, так сказать, «учение», однако, было са- мым бесхитростным, сводилось к тому, что право на жизнь имеют лишь пред- приимчивые и смелые, не считающиеся с условностями, годящимися лишь для недалеких обывателей, все прочие — быдло, по отношению к которым глупо соблюдать моральные джентльменские нормы; это доморощенное нищест- во сегодня — общее место, в те же годы для Шурки оно звучало, как потрясение основ.

Я хорошо помню этого «сверхчеловека», он часто бывал у Шурки на Ар- бате, всегда к его приходу шахматы бывали уж расставлены, и, обыграв Шур- ку пару раз, причем всегда ладью уступая как фору, Яков Валентинович не единожды приглашал меня пообедать с ними, когда они собирались в «Прагу» или в «Берлин»; чаще всего я отказывался, но пару раз делил с ними трапезу. Яша был невысокого роста брюнет, наполовину еврей — по матери, с земли- стого цвета лицом, с темными кругами под глазами, с вкрадчивыми манерами карточного шулера и скупой иронической ухмылкой; не знаю, на чем строи- лась его дружба с Шуркой — то ли на латентном гомосексуализме, то ли на каком-то долговременном расчете Шурку при случае использовать; а может быть, Якову Валентиновичу льстило Шуркино обожание, и он числил Шурку по разряду учеников... Кончил Яша плохо, как и Марик: ему дали двенадцать лет лагерей по делу о взятках при поступлении в вузы — это был громкий процесс, по которому шло два десятка вузовских преподавателей и который освещали газеты. Шурку это больно ударило. Помню, он сокрушался, совсем как диссидент: сажают лучших. «Лучшими» он числил, по-видимому, авантю- ристов, при том, что сам не был склонен к авантюрам, хоть и воспринимал крушение Якова Валентиновича как удар по себе самому, а главное — по идее

жизни вольной, сдержанной, комфортной, джентльменской, по мечте о «долгих зимних вечерах у камина», но не с женой, а с умным старшим другой, за неспешной беседой, за рюмкой хорошего коньяка. В который раз мир вокруг Шурки оказался прозаичнее, чем должен был бы быть...

Но вернемся к крымской нашей гастролью — больше никогда никуда вместе с Шуркой мы так надолго не ездили. Самое удивительное, что за свою беззастенчивую халтуру мы получили-таки заработную плату на опытной станции. Этих денег хватило тогда на два билета до Москвы в плацкартном вагоне и на два в общем — до Днепропетровска. Решили так: мы с Шуркой отправляемся в Москву — надо же мне было навестить мой университет, — а девицы возвращаются в Днепропетровск. Когда мы добрались до Москвы, то узнали, что Ольга устроила Маньку пионервожатой в загородную школу-интернат. Той очень нравилось. Настолько, что вернулась она в Москву лишь под Новый год — в Ольгином пальто. Но до того я получил от нее весточку — в конверт была вложена фотография, на которой Манька в пионерском галстуке отдает салют на фоне знамени дружины. Не было даже записочки, но на обороте фото было начертано: «Коленька! Всегда готова!»... Милая, вздорная, бесшабашная моя подружка, где ты теперь, сохранила ли способность щебетать и смеяться, да и помнишь ли меня? А я, как видишь, всё помню куда как отчетливо...

27

В Москве мы попали сразу же с вокзала — на бал. Оказалось, что Наля была уже месяце на шестом беременности, а поскольку сессия была давно сдана, началась осень, то самое время было играть свадьбу. Мне плохо запомнился этот праздник. Помню лишь сидящих рядом за так знакомым мне овальным столом под оранжевым абажуром тетю Аню и новую шикачевскую родственницу-проводницу, мать жениха, и, кажется, я был удивлен, как благородно смотрится крестьянка тетя Аня рядом с пролетарского происхождения Налиной свекровью. Помню саму Налю в фате и узком светлом платье, обтягивавшем ее далеко выпирающий живот. Вот только мог ли я тогда предположить, что от этого момента следует отсчитывать оставшиеся Шурке семнадцать лет жизни, — он не доживет и до сорока. Да-да, именно с этого момента, когда счастливая Наля, скромно улыбающаяся и невольно то и дело прислушивающаяся к своей утробе, и сияющий ее молодой муж поднимутся, внимая крикам гостей: «Горько!», и поцелуются. И Шурка захлопает в ладоши — он чувствовал себя на этой свадьбе едва ли не главным, ведь он остался единственным мужчиной в семье и выдавал теперь замуж свою сестру. Знал бы он, чем обернутся для него эти аплодисменты...

Татьяна, пожалуй, не испытывала особого подъема — младшая сестра опередила ее, вышла замуж первой, но, к слову, эта свадьба подстегнула ее инженера, и уже в феврале Татьяна тоже пошла под венец. На сей раз свадьба игралась не в городе, а в родной деревне жениха — он был откуда-то из-под Шатуры. Шурка позвал меня, и я с жадным любопытством составил ему компанию — никогда не был на деревенской свадьбе, да еще в качестве родственника невесты, пусть и далекого.

Надо сказать, шли не самые сытые брежневские годы. Однако длинный стол в просторном деревенском пятитенке ломился от бесхитростных, но обильных яств. Пили, конечно, самогон. И, помню, больше всего меня поразила какая-то свирепая, от земли идущая бесстыдность всего обряда. Показавшиеся бы в городе весьма сальными застольные шутки были детским утренником по сравнению с тем торжеством низа, что пришлось на похмельное утро. В избу, где за печкой было устроено ложе молодых, спозаранок ввалилась толпа деревенских девок, половина из которых была переодета парнями — между ног у них болтались прицепленные на резинках здоровенные красные морковины. Главными темами этой части ритуала были две: услов-

ная девственность невесты и плодородные способности жениха. Девки подбрасывали и тискали свои морковки, изображали, как жених ночью влезал на невесту, распевались непристойные частушки, из которых помню лишь две строчки, свидетельствующие о том, что сложены они были уже в наши дни:

Доставай свою морковку,
Идем на стыковку...

Шурка ко всему происходящему отнесся вполне бесстрастно: пил, закусывал, благодушно смеялся, когда кто-то из девок норовил усесться к нему на колени. Не знаю, то ли крестьянская материнская кровь заговорила в нем, и он ощущал себя в угарном воздухе этой пьяной свадьбы в избе с *неутепленным* сортиром на улице вполне на месте; то ли он относился к происходящему, как философ-этнограф. Я, впрочем, заговорил с ним было о том, что, мол, ничего не изменилось даже в недалеких от Москвы деревнях с четырнадцатого века. Он улыбнулся и покачал головой:

— Коля, как не стыдно! Настоящий джентльмен никогда не должен быть снобом.— А ведь это было сказано еще до знакомства и ученичества у Якова Валентиновича.

Однако так или иначе, но дворянская арбатская семья Щикачевых продолжала неумолимо растворяться в массах народных: одна сестра вышла за пролетария, вторая — за крестьянина, даром что оба Шуркиных зятя заделались интеллигентами в первом поколении. И в известном смысле вся надежда была на Шурку, единственного продолжателя рода по мужской линии.

28

Но уже лет через шесть, после исчезновения в лагерях Якова Валентиновича, период джентльменства у Шурки кончился. И он заделался, так сказать, интеллигентом. Пошел служить лаборантом в какой-то гидрологический НИИ, поступил на вечернее отделение того же факультета, что закончила Наля, и через пару лет в исследовательском институте его повысили до должности инженера. Дверь из Татьяниной комнаты в коридор давно вскрыли, и Татьяна с мужем жили у Шурки за стеной. Его давней пассии Нине дали-таки отдельную квартиру где-то у черта на куличках, и она исчезла из дома на Арбатской площади; у Нали подрастал сын, и они втроем — Наля, муж Сережа и ребенок — давно жили в бывшей комнате Нели; а тетя Аня осталась на том самом диване, на котором умерла сначала ее свекровь, а потом ее муж, вышла на пенсию, стала прихварывать, и если что-то и осталось от большой и некогда такой дружной семьи, так это она и Шурка — они жили одним хозяйством, тетя Аня жарила Шурке оладьи и все те же *покупные* котлеты, а сестры существовали уже наособицу, каждая замкнулась на свою семью, при этом между собой они не очень ладили. Да и сама коммуналка опустела — остались в ней лишь расселившиеся по комнатам Щикачевы да тетя Эмма, давно уже не певшая, болевшая, и доцент к ней давно не ходил. От основного телефона в коридоре сделали отводы, и в каждой комнате теперь стоял телефонный аппарат...

Я в те годы жил в богеме, вел образ жизни самый разбросанный и редко бывал у Щикачевых в так давно знакомой мне квартире, из которой начисто испарился прежний дух нищего единства, а возобладала атмосфера полуинтеллигентского индивидуалистического обывательства. К тому же всё в семье как-то не ладилось: Налин муж принялся запивать — болезнь эта у него была наследственной; Татьяна каждый год лежала *на сохранении*, но выносить ребенка никак не могла, все заканчивалось выкидышами,— не последствия ли это были умеренного использования в ранней молодости шипучих противозачаточных свечей? — а ей было уже за тридцать; ее муж-инженер, внешности самой заурядной, оказался *ходоком*, и у Шурки за тонкой перегородкой что ни день полыхали семейные скандалы. На меня все это во время моих редких визитов нагоняло

смертельную скуку, к тому ж наши интересы с Шуркой полярно разошлись — он буквально заболел вычислительной техникой, причем пока на уровне популярных изданий, цитировал Винера и советского журналиста Щуплова, написавшего некогда первую в СССР книгу о кибернетике, причем даже мне, порвавшему с естественно-научным знанием, было ясно, что Шурку волнуют вопросы, обсуждавшиеся в научно-популярных изданиях лет пять назад, когда он после армии ударился в дендизм: об опасностях неограниченного развития искусственного интеллекта, о возможном засилье киберов и прочей ерунде... Помню, как-то я пересказал Шурке содержание самиздатовской брошюры Амальрика «Прощество ли СССР до 84-го года?». Шурку сама проблема волновала мало — впрочем, тогда эта постановка вопроса и многим политизированным интеллигентам казалась вполне риторической; Шурку же заинтересовало, отчего выбрана именно цифра 84. И когда я объяснил, что так называется знаменитая антиутопия Оруэлла, он и к этому потерял интерес — по-видимому, надеялся, что цифру эту дало не название неведомого ему английского романа, а какой-нибудь хитрый компьютерный расчет.

29

Как я уже говорил, Шурка все больше превращался в записного холостяка. О женщинах во время наших редких встреч мы не говорили вовсе, и я не знаю, были ли у него в те годы какие-нибудь связи, кажется, нет.

Обычно я забегал к Шурке, коли несся куда-нибудь по Арбату — без звонка и только по воскресеньям, когда он наверняка был дома. И каково же было мое удивление, когда я застал однажды в его комнате даму, с которой они чинно пили кофе с ликером. Это была худая, почти как спекулянтка Ольга, очень некрасивая прыщавая девица лет двадцати трех, неуклюжая, как подросток, довольно нелепо одетая, с откровенно не улыбочивым выражением неподвижного лица. Проведя с ними четверть часа, я с изумлением убедился, что Шурка в это чудело гороховое не на шутку влюблен. Замечу кстати, что меня девица невзлюбила с первой секунды, быть может, обостренным чутьем невостребованной дамы почувствовав, что я имею известное влияние на Шурку и могу невзначай помешать ее явно далеко простирающимся планам.

Едва она вышла из комнаты по своей надобности, Шурка с горящими глазами обратился ко мне:

— А знаешь, кто она?

Тон его был таков, будто бы сейчас он откроет мне страшную тайну, и окажется, что она, скажем, незаконная внучка Государя императора.

— Она дочь покойного Щуплова! — торжествующе, чуть не шепотом провозгласил Шурка.

Я не сразу сообразил, о ком идет речь.

— Щуплова! — воскликнул Шурка. — Того самого!

Я расхохотался бы, вспомнив, что речь идет о журналисте-популяризаторе, писавшем об искусственном разуме, но сдержался, боясь Шурку обидеть. Выяснилось, и откуда он ее взял: они учились в институте в параллельных группах. И, конечно же, было весьма комичным то, что для Шурки косвенная принадлежность его избранницы к кибернетике заменяла громкий титул. Хотя, если вдуматься, в этом был некий смысл: так или иначе, но дворянин Шурка выбирал себе подругу *по происхождению*...

— Она такая чистая! — успел еще просветить меня Шурка, как вошла и сама его героиня и тут же объявила, что желает кофе.

Пока Шурка варил кофе на кухне, мы сидели с ней молча, разделенные журнальным столиком. Она демонстративно листала какой-то альбом, давая понять, что и разговаривать со мной не желает. Вообще было ясно, что это особа стержовая, не блестящего воспитания, избалованная и притом явно склонная к домашнему деспотизму; такой набор качеств свойственен страшеньким девоч-

кам много чаще, чем красоткам, вопреки расхожему мнению, будто именно красота портит женский характер...

Прошло еще какое-то число дней, я по привычке заглянул к Шурке, он был один — и странно прохладен со мною. Мы молча сыграли партию в шахматы. Я спросил о щупловской дочке.

— Она моя невеста,— с нажимом, как будто приводя решающий аргумент, сказал Шурка.

Мои плохие предположения подтвердились: эта самая невеста наверняка что-то дурное обо мне сказала. Скажем, что, пока его не было в комнате, я хватал ее за коленки. Но не убеждать же мне было Шурку, так хорошо меня знавшего, что я ни при каких обстоятельствах так поступить не мог, будь даже его милая внешности более привлекательной. Оставалось лишь раскланяться...

Еще через пару месяцев я застал в Шуркиной комнате его невесту вместе с будущей тещей. Это была усталая, с потухшими глазами женщина лет сорока пяти — поразительной красоты, пусть и увядшей, поразительной тем более, что эта красота странно контрастировала с внешностью ее дочери. Со мной, впрочем, и она была до крайности суха... Стоит ли говорить, что на свадьбу я приглашен не был.

30

И тут я вступаю в полосу повествования уже вполне беллетристического: все, что происходило с Шуркой в последние его годы, известно мне урывками, а то и вовсе из вторых и даже третьих уст — после его свадьбы мы стали видеться еще реже и всегда как-то мельком. Помню, однажды я оказался-таки у Шурки, и мы — такого давно не случилось — провели вдвоем, с глазу на глаз, вечер за бутылкой вина. Исподволь ненадолго будто вернулась былая доверительность, и Шурка принес из большой комнаты, где он завел привычку уединяться, коли мать была на даче, а его жена в их комнате вязала перед телевизором, огромный лист ватмана. Это был филигранно выполненный чертеж, изображавший в деталях деревянное строение весьма своеобразной формы; дом этот состоял из одной большой комнаты-гостиной и трех флигелей в виде замковых башенок. «Так будет выглядеть дом в Чепелеве, который я построю», — объяснил мне Шурка. По его идее каждая из башенок будет принадлежать соответственно Шурке, Нале и Татьяне; так сказать — каждому из щикачевских колен. Объясняя мне тонкости и детали, Шурка впал в необыкновенное воодушевление; я слушал, испытывая крайнюю неловкость: свойственная Шурке мечтательность теперь оборачивалась чуть не безумием, так далек был этот прожект от реального положения дел в семействе. Но все-таки показательно, в какое русло были направлены Шуркины грезы и какова была тема его иллюзий — род, семья, домоустройство, и это после всяческого *туризма*, после стройбата, после Яшиной школы гордого индивидуализма и дендизма. И, конечно, я не мог предположить всю горькую иронию теперешней Шуркиной мечты о семейном ладе и родственной верности друг другу...

У меня была знакомая — занятная дама, красивая и весьма светская, очень хорошо одевавшаяся, жившая в квартире, заставленной дорогим антиквариатом, уже в те годы — тогда женщин за рулем вообще было мало — ездившая на каком-то «пежо», любительница поэзии и всегда имевшая под рукой дыхателя-иностранца, чаще — из дипломатического корпуса; при этом она была кандидатом геологических, что ли, наук, каждое лето отправлялась в экспедицию на Белое море и эту вторую свою жизнь очень ценила. Так вот, оказалось, Шурка работает в одном с ней институте, в соседнем отделе. Обнаружилось это случайно — мы встретились с ней в одном московском салоне, сели в уголке с бокалами, и она принялась мне рассказывать — в тонах самых юмористических —

о молодом своем чудачке-коллеге, устроившем в институте настоящую бучу; он не поленился и подсчитал, как можно сократить штат института вдвое, выполняя при этом объем работы в три раза больше; и не придумал ничего лучше, как представить этот свой проект начальству; замдиректора института — директором был какой-то академик, совершенно недостижимый ввиду его постоянного отсутствия, — пришел сначала в ужас, потом в бешенство; и ведь самое забавное, что это был не первый прожект — прежде парень предлагал наладить снабжение пресной водой африканских бедуинов, транспортируя айсберги из Антарктиды. «Наверное, ему придется уйти», — подвела итог моя приятельница, и я промолчал, не признался, что этот чудак — мой дядюшка и что мы с ним выросли вместе...

Прошло еще сколько-то лет, и я столкнулся с Шуркой на улице. Я был с приятелем-сочинителем Колей Куликовым, и мы спешили по своим богемным делам — кажется, выпивать в мастерскую нашего знакомца-живописца. Шла ранняя весна, Шурка был в каком-то нелепом пальто с воротником из каракуля — уж не отцовском ли? — в вязаной шапчонке, сношенных ботинках и выглядел именно как инженер — тут точно к месту советское словцо — из *бывших*; он бурно обрадовался мне, но я испытал совершенно новое к нему чувство, которого сам устыдился: мне было за него *неловко* перед моим приятелем, кстати, самым простецким, — так не похож был Шурка на людей *нашего круга*, то есть на разночинных полуподпольных сочинителей и художников... Нечего было и думать позвать Шурку с собой, и это было не чем иным, как предательством. Я не могу забыть, каким взглядом провожал меня Шурка, когда я торопливо побегом к нему как-нибудь забежать. Это был взгляд потерянного и очень одинокого человека.

Но я не мог знать, что эта случайная наша уличная встреча окажется последней.

31

Финал истории может показаться банальным, если не пошлым. Шурка обнаружил, что его жена *подживает* — словечко мерзкое, но иначе не скажешь — с семнадцатилетним племянником, сыном Нали, существовавшим и мужавшим за стенкой, в той самой комнате, где некогда обитала наша общая юношеская симпатия Нея. Как уж дело открылось — не знаю, но так или иначе Шурка ушел от жены и, поскольку податься ему было больше некуда, стал жить на даче в Чепелеве. Здесь самым пародийным образом сошлись концы с концами — ведь именно в Чепелеве он прекраснодушно мечтал разместить все щикачевские кланы, включая племянника.

Он, узнав, ушел сразу — как некогда, когда был совсем еще молодым, покинул Нину, которую любил. Часто ли мы так поступаем, потеряв после тридцати и малейшее представление о верности: в конце концов половая последовательность представляется нам прелестной химерой, и отчего в самом деле нашей жене не развлечься, коли мы сами только этим и занимаемся? Шурка, женившись, *этим* не занимался никогда.

Конечно, в его открытии был и дополнительный смысл — жена изменяла ему с его же родственником, как говорят в России: *не отходя от кассы*, в духе рассказов Зоценко о коммунальном быте. Кстати, сын запойного папаши и свихнувшейся к сорока Нали был в юности сущим красавцем. И то, что он залез на даму, которая всегда была под рукой, жила в соседней комнате, объяснимо удобством — у него ведь был период полового созревания, ночных поллюций и мечты. Однако то, что он разрушил семью своего дядюшки, всегда относившегося к нему с родственной нежностью, было *подлостью* в этимологическом смысле этого слова, подлостью, иллюстрирующей тот факт, что благородство не передается по женской линии. О том, что подвигло на этот сексуальный подвиг Шуркину избранницу, думаю, нет смысла распространяться, во всяком слу-

чае, не страсть, а неизбежное желание сделать какую-нибудь гадость, ведь даме ее склада, не сделав гадость, так скучно жить...

Удивительно, но до этого времени дожил некогда обиженный Шуркой сторож: постарел, но по-прежнему ходил по участкам с незаряженной берданкой, кланялся, ежили наливали, воровал по мелочи, когда хозяева уезжали в город. Разрослась еще пушке малина у летней кухни, с которой сползла рубероидная кожа. Росла клубника и давала щедрые «усы». Даже сено на чердаке не сгнило, и действовал печной дымоход. В ящике дивана таился «Декамерон» издания конца 50-х, в лесу были грибы, а свинушки и белянки росли уже на самом участке, у покосившегося забора. Вот только не стало юности. Не стало жены. И не было *дела*.

32

По-видимому, Шурка был плох, потому что всю зиму с ним в Чепелеве провела мать. Зябко даже думать о том, как они там жили — на заброшенной летней дачке, вовсе не приспособленной к зимовке. И у меня перед глазами стоит большое заснеженное поле, на самом краю которого виднеются черные избы ближайшей деревни с вечно пустым магазинчиком, в котором можно было купить только водки, спичек да несвежую буханку серого хлеба. В сущности, жизнь загнала Шурку в угол. Пусть он получил диплом, работал уже младшим научным сотрудником, зарабатывать гроши, но научная карьера ему явно не светила — для этого у него не было никаких организационных способностей: ведь надо было найти научного руководителя, тему диссертации, суметь пробить хоть полдюжины статей в специальных журналах, потом определить оппонентов, содрать с них благожелательные отзывы... Для всего этого требовалось своего рода бесстыдство, во всяком случае, отсутствие щепетильности и умение унижаться, что называлось жизненной хваткой и *напором*; не говоря уж о том, что на самом деле все эти кандидатские диссертации ничего не стоили, да и вся прикладная наука в СССР была по большей части *туфтой*, и надо было обладать Шуркиной наивностью, чтобы всерьез рассчитывать, будто начальство того же НИИ всерьез озабочено делом, а не втиранием очков. Помню, Шурка в свое время, обнаружив это, всерьез страдал от своего запоздалого открытия и говорил, что никак не ожидал, что и в академических институтах в Москве преимущественно занимаются халтурой точно так, как военные строители замешивали бетон, суя туда весь мусор, что находили под рукой, — для объема.

Но главное — он потерял семью. Правда, дом на Арбатской должны были продолжать расселять, и если бы он развелся, то мог бы рассчитывать получить вдвоем с матерью двухкомнатную квартиру где-нибудь в Бирюлеве или Чертанове; но в том-то и дело, что и развестись он не мог: ему было выше сил видеть свою жену, которую он некогда так превозносил, романтизировал и не в шутку пытался обожать.

Короче говоря, он из последних сил исполнял *труд жить*, как он сам выражался некогда в одном из армейских писем. Во всяком случае, он устал *жить с нами*, по расхожей морали, жить как бы спустя рукава, грязноватенько и подлово, с нами, душами душными и тесными. Я, собственно, и рассказываю историю человека, героически противостоявшего миру, который побороть он не сумел. Не сумел раствориться, приспособиться, замаскироваться под обычного жителя одной шестой части суши, давно вытолкнувшей и убившей лучших своих сыновей.

Шурка с течением времени все больше выглядел чудачком, не советским обывателем, но персонажем из прошлого, последним персонажем, доживающим свой век — как и его родной Арбат, уже примеривший к себе аляповатые, стилизованные невесть подо что фонари, уже сплошь в каких-то восточных едальнях, уже все больше смахивающий то ли на провинциальную ярмарку, то ли на заезжий балаган...

Шурка покончил с собой ранней весной — бросился под поезд. Под электричку, сверив расписание. Его хоронили в закрытом гробу, и меня позвали не на похороны — на поминки. Было всего несколько человек из родни, даже из его института никто не пришел. Не было Нали, не было его жены, не было, разумеется, и племянника — они сидели по своим комнатам, затаившись.

Нехитрая закуска и несколько бутылок водки стояли на столе, так же, как некогда, покрытом клеенкой; светился оранжевый абажур; так же, как ее свекровь когда-то, сидела на диване сгорбленная, с лицом, будто обмороженным, седая тетя Аня, ставшая совсем старой. Она была совершенно спокойна, говорила о Шурке так, будто он просто вышел из комнаты, и почему-то всё о нашем с Шуркой детстве; оказалось — она видела и запомнила очень многое из того, что мы по подростковой глупости пытались скрыть, полагая, что взрослые ничего не замечают. Ни одной слезинки она не позволила себе уронить — или слез у нее больше не было... С этого дня я никого из Щикачевых больше ни единожды не видел. Впрочем, никаких Щикачевых больше уж и не было.

Кто знает, что видится *оттуда* отлетевшей твоей душе. Мне, понятно, хочется, чтобы душа твоя была обращена к прошлому. Быть может, *оттуда* ты, Шурка, видишь, как встает из руин твой дом, покомнатно населяется коммуналка, тетя Эмма берет верхнее «ля», разминая голос, и это ее упражнение отлично слышно тебе, совсем еще молокососу, сидящему в это время в общем сортире; ослепительно юная Неля прикрывает трубку ладонью, уточняя координаты будущего свидания, сгибает кокетливо ножку в колене; а жена венеролога Каца, в китайском халате с драконами, надменной, как мнитесь соседям, походкой движется на кухню — ставить чайник; и, подслеповато мигая, зажигается над фасадом неон, предлагающий услуги Госстраха; оседают поставленные на попа бараки Нового Арбата, сползают с них, отряхиваясь, строительные леса, зарастает чахлой травой той породы, какая издавна водилась только в *московских двориках*, пустырь, что разбили здесь рьяные строители будущего, старуха выносит на весеннее солнышко прихрамывающий стул и устраивает его на краю арбатского тротуара; а там, как в детской книжке-раскладке, встают из-под земли старомосковские барские особнячки, звонят к обедне — быть может, от Храма Христа, того, настоящего, — румянятся сугробные бока, и гимназистки, возвращаясь домой после дневного бала с юнкерами, отряхивают снег с каблук. И нет ли среди них наших с тобой будущих бабушек?..

Полно, Шурка, было ли это когда-нибудь? Боюсь, душа твоя силится заглянуть вперед, на то, до чего не дожило тело; и видится ей — вздымается на фоне белой стены трехцветное знамя; звучит виолончель; кругом обустроивают местность, торгуют, обманывают и берут. Возрос спрос не на липовый мед и пенку, но на средства от поноса, недержания мочи, пота, перхоти, дурного запаха изо рта, запоя, микробов в унитазе, менструации, однако люди не стали чище. И если ты видишь все это — прошу, зажмурься и отвернись. Быть может, ты вовремя ушел. Прости меня, оставшегося.



Хосе, Кармен и Автор

РАССКАЗ

Мир, выстроенный Володиным, по-своему целен. Написанные в разное время пьесы, сценарии, стихи и рассказы образовали вселенную. Она замкнута, у нее своя логика, внутренние законы.

Вот начало истории: «Две стрелы», «Ящерица», «Мать Иисуса».

Средневековье: «Беженцы».

Другие времена: «Дульсинея Тобосская».

Двадцатый век: «Фабричная девчонка», «Фокусник», «Звонят, откройте дверь», «Пять вечеров», «Осенний марафон».

Все написанное пронизано личным опытом, автобиографично. Внимательный читатель найдет в «Записках нетрезвого человека» целые фрагменты, совпадающие, к примеру, с фрагментами из «Пяти вечеров».

Рукопись рассказа «Хосе, Кармен и Автор» случайно обнаружилась среди старых бумаг.

АВТОР. Находясь в Андалузии ранней осенью тысяча восемьсот тридцатого года, я завершал исследование, которое в скором времени обнародую. Надеюсь, что моя диссертация разъяснит географическую загадку, которая смущает ученую Европу.

ХОСЕ. Кто однажды убил человека, и все обошлось, тому трудно свернуть с этой дороги.

АВТОР. Это не имеет отношения к моему исследованию. Однако история эта произошла как раз в ту осень, когда я завершал исследование.

ХОСЕ. В первый раз я не хотел убивать. И во второй раз не хотел. Третьего же хотел убить. Знал, что убью.

АВТОР. Один наш поступок, пускай случайный, иной раз действительно приводит к последствиям роковым...

ХОСЕ. А в четвертый раз... Она говорила, что это суждено. Я не верил.

АВТОР. Кстати, если припомнить мои собственные глупые поступки...

ХОСЕ. Я слишком любил играть в мяч. Это меня и погубило.

АВТОР. Если бы люди предвидели последствия своих глупых поступков.

ХОСЕ. Как-то раз, когда я выигрывал, один юнец затеял со мной ссору. Мы взялись за макилы...

АВТОР (пояснил). Макилы — это баскские палки с железными наконечниками. Надо заметить...

ХОСЕ. ... и я, не желая того, сгоряча! Прикончил его. Не сразу даже сообразил. Потом смотрю — лицо мертвеет. Три раза я видел, как мертвеют лица.

АВТОР. Ошибки, и кляксы, и пятна на жизни, которых не смыть. И черные мысли, которые всех неврастеников мучат к рассвету...

ХОСЕ. Из-за этого юнца мне пришлось бежать из родных мест.

АВТОР. В этом и мне виделось спасение, и не раз. Бежать. Отсюда туда. От близких, родных — к чужим, незнакомым. Но от чужих, незнакомых — куда?

ХОСЕ. Поступаю в полк. Горцы быстро выучиваются военному делу. Здесь догнала меня беда.

Появилась Кармен.

Вот она, судьба моя... Она первая подошла ко мне! Когда я дежурил на табачной фабрике! Первая заговорила со мной! «Кум, подари мне цепочку!» И бросила мне цветок!

Кармен бросила цветок.

Мне показалось, что в меня ударила пуля!

АВТОР. А через два часа в кордегардию вбегает сторож. На табачной фабрике порезали женщину.

ХОСЕ. Отправляюсь на фабрику. Женщины вопят... А одна лежит в стороне, задрав копыта. Кто ее?

КАРМЕН. Я, господин офицер.

ХОСЕ. Идемте со мной, сестрица.

КАРМЕН. Разрешите взять мантилью, господин офицер.

ХОСЕ. Повысила меня в звании.

КАРМЕН. Куда вы меня ведете, господин офицер?

ХОСЕ. В тюрьму, дитя мое.

КАРМЕН. Увы, что со мною будет, господин офицер! Пожалейте меня, господин офицер! Такой молодой, такой милый!.. Дай мне убежать, приятель, подарю тебе за то кусочек барлачи, тебя будут любить все женщины.

АВТОР. Большинство цыганок торгуют талисманами и приворотными зельями. У них имеются жабы лапы для удержания непостоянных сердец и толченная руда для пробуждения любви в бесчувственных.

КАРМЕН. Товарищ моего сердца? Мы земляки?

ХОСЕ. Сказала это по-баскски! Я понял это по акценту! Когда мы слышим нашу речь вдали от дома, нас охватывает, черт побери, трепет! Отвечаю по-баскски! Я из Элисондо!

КАРМЕН. А я из Элитчара!

ХОСЕ. Это от нас в четырех часах пути!

КАРМЕН. Почти рядом.

ХОСЕ. Совсем рядом!

КАРМЕН. Меня цыгане увезли в Севилью, чтобы я могла скопить денег и вернуться к моей матушке.

ХОСЕ. Не знаю, сказала ли эта женщина хоть раз в жизни слово правды! Но, когда она говорила, я ей верил! Я тронулся умом! Я уже ничего не видел! Я был как пьяный, я был готов на все!

КАРМЕН. Если бы ты упал, то есть если бы я тебя толкнула и ты упал бы, земляк...

ХОСЕ. По-баскски, по-баскски!.. Ну, землячка, милая, попробуйся. И да поможет тебе наша горная Божья Мать!.. Тогда она — бац меня в грудь! А я — хлоп на землю! А она — прыг через меня! И убегла. А я — фьюить! — разжалован в солдаты.

КАРМЕН. Качу как-то в коляске с полковником — что вижу! Разжалованный мой на посту!

ХОСЕ. Можете представить, что это для человека с самолюбием! Лучшее расстрел!

КАРМЕН. Приходи на улицу Кондильехо в дом старой цыганки.

ХОСЕ. На этой улице, в доме старой цыганки...

Я сонных грудей коснулся,
Последний проулок минув.

И жарко они раскрылись
 Кистями ночных жасминов.
 Мужчине чужие тайны
 Рассказывать не пристало.
 И я повторять не стану
 Слова, что она шептала.

КАРМЕН. Видишь, я плачу свои долги! Сегодня ты мой ром, я твоя роми.

АВТОР (пояснил). В переводе ром — муж, роми — жена.

ХОСЕ. Этот день!..

КАРМЕН. Бедняга, настоящих женщин он, видно, еще не знал.

ХОСЕ. Не сочтите за нескромность — настоящих мужчин она, пожалуй, до этого не видела.

КАРМЕН. Но — что такое?.. Едва барабаны забили вечернюю зорю...

ХОСЕ. Бьют зорю!

КАРМЕН. Ну и что?

ХОСЕ. Зорю бьют!

КАРМЕН. Пускай бьют.

ХОСЕ. Опоздаю в казарму! Где ремень? Вот ремень. Где сапог?

КАРМЕН. Был сапог?

ХОСЕ. Вот сапог. Где другой?

КАРМЕН. Был другой?

ХОСЕ. Тебе смешно? Мне не смешно.

КАРМЕН. Побег, побег.

ХОСЕ. Чтобы видели меня. Туда и обратно.

КАРМЕН. Зачем же обратно?

ХОСЕ. Без меня никуда не отлучаться!

КАРМЕН. Я тоже в казарме? Все в казарме?

ХОСЕ. Почему ты так со мной говоришь?

КАРМЕН. Ты с чертом связался, дружок.

ХОСЕ. Не придал значения этим словам. А возвращаюсь — ее нет. Исчезла. И надо бы мне тогда же забыть о ней! Так нет же, не дает! Понадобился ей! Стою в проломе стены на часах...

КАРМЕН. Земляк, хочешь заработать дуρο? Тут пойдут люди с тюками, не мешай им.

ХОСЕ. Втягиваешь меня в свои воровские дела?

КАРМЕН. Два дура.

ХОСЕ. Прочь, прохода нет! Буду стрелять!

КАРМЕН. Не желаешь денег — пообедаем еще раз на улице Кондильехо?

ХОСЕ. Нет!

КАРМЕН. Отлично. Раз ты такой несговорчивый, предложу твоему ефрейтору. Прощай, канарейка.

ХОСЕ. Стой!

КАРМЕН. Меня люди ждут.

ХОСЕ. Я согласен!

КАРМЕН. Вот дела! Надо радоваться, что мужчина согласился.

ХОСЕ. И ведь пропустил ее мошенников! Прихожу на другой день, что же слышу?

КАРМЕН. Не люблю людей, которых надо упрашивать. В первый раз ты оказал мне услугу поважнее. Хоть и не знал, выиграешь на этом или проиграешь. А вчера ты со мной торговался.

ХОСЕ. Ты звала меня!

КАРМЕН. Вчера думала, что смогу полюбить снова. А сегодня просыпаюсь — нет.

ХОСЕ. Издеваешься? Лопнуло мое терпение!

КАРМЕН. Вот уже сейчас так. А что будет потом?

ХОСЕ. Сеньоры, следите! Я разжалован в солдаты, я мог быть поручиком, мог дослужиться до генерал-капитана! Из-за кого все!

КАРМЕН. И ведь уговорил меня, негодяй. На свою голову. Да и на мою.

ХОСЕ. И все было, как в прошлый раз! И еще лучше! И она обещала встретиться еще! Обещала?

КАРМЕН. Обещала.

ХОСЕ. Почему не пришла?

КАРМЕН. Надеялась обмануть судьбу.

ХОСЕ. А ведь я искал тебя! И — нашел, но с кем, сеньоры? С поручиком нашего полка!

КАРМЕН. Уйди отсюда!

ХОСЕ. А поручик хватает меня за шиворот! И она, главное, стоит, как будто ее не касается! Я что-то ему сказал...

КАРМЕН. Глупость сказал.

ХОСЕ. Мы обнажили сабли, но ты схватила меня за руку. Почему меня, а не его? И он меня в лоб, вот след! Тогда я ткнул его саблей, он свалился. Я не сразу сообразил, что он убит. Но вижу — лицо мертвеет.

КАРМЕН. А кто тебя спас? Спрятал, выходил, поднял на ноги? Кто дал тебе работу?

ХОСЕ. Это, ты считаешь, работа?

КАРМЕН. Нельзя наловить форелей, не замочив штанов.

ХОСЕ. Был честный человек, стал контрабандист и вор!

КАРМЕН. Ты был никто, а здесь тебя уважают.

ХОСЕ. Такие же воры, как и я!

АВТОР. Надо заметить, что Испания принадлежит к тем странам, где особенно часто встречаются эти рассеянные по всей Европе кочевники, цыгане. Мужчины обыкновенно промышляют коновальством, стрижкой мулов, но также контрабандой и другими незаконными промыслами. Что же касается женщин...

ХОСЕ. Гром среди ясного неба! Кармен высвободила своего рома из тюрьмы.

АВТОР. Какого рома! Она не замужем!

ХОСЕ. Оказывается, замужем, за таким же хитрым цыганом, как она. И ничего мне не говорила! Звать его Гарсия Кривой.

КАРМЕН. Я не решалась тебе сказать...

ХОСЕ. Явилась вместе с ним! Страшнее чудовища я не видал.

КАРМЕН. Я твоя возлюбленная, а все остальное не в счет.

ХОСЕ. При нем делает вид, что говорит мне что-то на ухо, а сама меня целует...

КАРМЕН. А он еще уклоняется, целую его насильно, единственный раз в жизни насильно целовала мужчину.

ХОСЕ. Ты дьявол!

КАРМЕН. Да!

ХОСЕ. Неспроста он твой ром!

КАРМЕН. Послушайте его! И ведь далеко не остолоп. Святым хочешь быть? А нам ленточки с тебя рвать на реликвии?

ХОСЕ. Есть же люди, которым везет! У меня была Мария — скромная красивая девушка.

КАРМЕН. Бледная немочь!

ХОСЕ. От нее грубого слова не услышишь.

КАРМЕН. Да и умного не дождешься. В голове — вакуум.

ХОСЕ. А есть, наоборот, такие женщины, которые сбивают человека с толку, из-за них попадаешь в шайку контрабандистов, и она, оказывается, наводчица, а ты уже бандит.

АВТОР. Но тут необходимо заметить, что в Испании профессия разбойника не расценивается как бесчестная. Грабеж на больших дорогах является актом оппозиции, протестом против тиранических законов. А потому человек, который бросает вызов правительству, является своего рода героем, которого уважают мужчины и обожают женщины.

КАРМЕН. Я поеду с богатеньким англичанином по дороге, которую тебе укажу. Вы на него нападаете. Грабите дочиста. Лучше всего укокошить. Но надо, чтобы Кривой выскочил первым. Ты держись позади. Понял.

ХОСЕ. Нет.

КАРМЕН. У англичанина отличные пистолеты.

ХОСЕ. Я ненавижу твоего Кривого, но сведу с ним счеты по-честному.

КАРМЕН. Не ты его, так он тебя. Сообрази! На это тебя уже не хватает?..

ХОСЕ. Это был третий на моем счету. Зачем она вызволила его? Чтобы я его убил?

КАРМЕН. Ты хотел, чтобы у меня был один. Вот, ты один. Чем недоволен?

ХОСЕ. Думаешь, просто убить человека?

КАРМЕН. Тебе не привыкать.

ХОСЕ. Вот как ты заговорила!

КАРМЕН. Ради тебя же все. Ради тебя!

ХОСЕ. Хочешь знать, как все это произошло?

КАРМЕН. К чему вспоминать!

ХОСЕ. Я попал ножом ему в горло. Нож вошел так глубоко, что моя рука уперлась ему в подбородок.

КАРМЕН. К черту подробности!

ХОСЕ. Я с такой силой повернул клинок, что он сломался.

КАРМЕН. Хвалю.

ХОСЕ. Его вышибло из раны струей крови в руку толщиной.

КАРМЕН (похлопала в ладоши). Bravo!

ХОСЕ. Если тебе понадобится, как ты избавишься от меня?

КАРМЕН. Скажи ты себе: «Мне хорошо. Я спокоен». Скажи вслух.

ХОСЕ. Мне хорошо, я спокоен.

КАРМЕН. Еще раз!

ХОСЕ. Мне хорошо, я спокоен.

КАРМЕН. И так надо много раз повторять, каждое утро, как только проснешься. И никакого Кривого Гарсии. Что ж, видно, пришел его час.

ХОСЕ. И никакого Кривого Гарсии, что ж...

КАРМЕН. Это не надо повторять, это я так сказала, что, видно, пришел его час. Придет и мой. А потом твой. Мы кончим почти что вместе.

АВТОР. По отношению к своим мужьям цыганки проявляют необычайное самоотвержение. Нет такой опасности и таких лишений, на которые они не пошли бы ради своего рома. Вообще главное их достоинство — это верность.

ХОСЕ. Кармен, уедем отсюда!

КАРМЕН. Куда?

ХОСЕ. К пастухам. Туда, где нас никто не знает.

КАРМЕН. Капусту сажать?

ХОСЕ. Как другие люди живут.

КАРМЕН. Бегают с куском пирога во рту и озираются, как бы кто не хватил.

ХОСЕ. Любой поступок когда-нибудь потом скажется. Думаешь, обойдется — нет, не обходится ничего.

КАРМЕН. Начинается!

ХОСЕ. Тяжелые мысли. По утрам. Я еще не проснулся, а они уже здесь... Мне хорошо, я спокоен... Не помогает.

КАРМЕН. Тебе всюду будет плохо, любишь мучиться.

ХОСЕ. Всегда найдет, что ответить, голова работает четко.

КАРМЕН. Ничего себе! Уедем. А люди? Нельзя подводить людей, они тебя всюду найдут. Есть уже недовольные.

ХОСЕ. Ничего, все будут довольны.

АВТОР. И действительно вскоре о нем заговорили. Он стал своеобразным героем проезжих дорог. Когда останавливал дилижанс, он помогал дамам выйти и заботился о том, чтобы им было удобно сидеть в тени. Снимая кольцо с руки женщины, он говорил: «Сеньора, такая прелестная ручка не нуждается в украшениях». Тут я несколько отвлекусь...

ХОСЕ. Когда в первый раз появилось это имя? Не обратил внимания. Знаю, что Кармен бегала на бой быков в Гранаде. Спустя некоторое время и появилось это имя: Лукас.

АВТОР. Шайка Хосе была невелика, но составлена из людей, верность и решительность которых были испытаны. Об искусстве его стрелять из ружья рассказывали чудеса. Сидя на лошади, пущенной галопом, он попадал в ствол оливкового дерева на расстоянии в пятьдесят шагов. Тому, кто его выдаст, было обещано двести дукатов... Но все же несколько отвлекаюсь...

КАРМЕН. На корриде я сидела близко, как знатная дама. Это торреро Лукас меня устроил. Можно было разглядеть все! Панталоны на нем табачного цвета. Куртка на нем сверкает, как раскаленные уголья! Галуны, золотое шитье, золотая парча, золотая бахрома, золотом обшиты карманы, золотом обшит плащ, галстук красный, пояс красный, шляпа черная...

АВТОР. Должен сознаться, когда я в первый раз попал в мадридский цирк...

ХОСЕ. Лукас. Это имя стало мелькать все чаще, но я и тогда не придал этому значения.

АВТОР. ...я думал, что не вынесу вида столь щедро проливаемой крови. Я боялся, что расчувствуюсь и покажусь смешным трактирным завсегдатаем...

КАРМЕН. В одной руке мулета, в другой шпага! И направляется прямо на рога! Бык балдеет от такой дерзости. А Лукас еще топнул ногой. Это чтобы зверь бросился на него...

АВТОР. За время моего пребывания в Испании я не пропустил ни одного боя. И со стыдом признаюсь...

КАРМЕН. И вот бык ринулся! Рога прямо скользнули по его одежде, я видела своими глазами! Но он только откинулся назад. Оле!.. Бык снова на него! А этот Лукас все проделывает свои штучки с мулетой!

АВТОР. ... со стыдом признаюсь, что бои со смертельным исходом я предпочитаю тем, где быков только раздражают.

ХОСЕ. Запрещаю тебе таскаться в цирк!

КАРМЕН. Смотри! Когда мне запрещают, я делаю назло!

ХОСЕ. Я предупредил!

АВТОР. Кстати, этот Лукас был из средних торреро. Не так давно мне повезло увидеть знаменитого Франсиско Севилью, так тот...

ХОСЕ. Мне сказали, что тебя с этим Лукасом видели в торговой лавке!

КАРМЕН. Больше слушай сплетни!

ХОСЕ. Откуда тебе известно, как зовут его лошадь и во что ему обошлась вышитая куртка?

КАРМЕН. Ревнивцы смотрят в подозрную трубу! Тогда карлики превращаются в гигантов!

Хосе ударил ее.

АВТОР. Кстати, бой быков имеет свои законы совершенно так же, как их имеет дуэль. Так, например, матадор обязан поразить быка точно в то место, где загривок сходится со спиной. Удар наносится сверху вниз и ни в коем случае не снизу. Лучше тысячу раз умереть, чем ударить быка снизу, сбоку или с тылу. Правая рука, вооруженная шпагой, согнута на высоте головы — и! — можно наносить смертельный удар!

КАРМЕН. В тот же день отправляюсь в Кордову. Сажу на скамье у барьера. Это Лукас устроил мне место. Когда вышел его бык, Лукас сорвал с него кокарду и на глазах у всех поднес ее мне. Я тут же приколола кокарду к волосам.

ХОСЕ. Я узнал, что в Кордове бой быков. Скачу как сумасшедший.

АВТОР. Должен сказать, что ремесло торреро — вещь довольно опасная. За год двое или трое погибают. Если они не умирают на арене, то последствия ран...

ХОСЕ. На скамье у барьера вижу Кармен. Отлично. Выходит первый бык. Лукас срывает у быка кокарду и подносит ее моей роми. Зрители довольны. Лукас доволен. Кармен довольна. Прикалывает кокарду к волосам.

КАРМЕН. И бросается со шпагой вперед! В ту самую минуту, когда бык бросился на него!..

АВТОР. Хладнокровие этих людей в минуты грозной опасности заключает в себе нечто сверхъестественное. Пепе Ильо, к примеру, выходил к быку, имея на ногах кандалы. Жажда рукоплесканий...

ХОСЕ. Спустился с гор, пришел в цирк, где меня может узнать любой и заработать на мне двести дукатов! И все только для того, чтобы увидеть, как моя роми...

АВТОР. К слову, цирки существуют почти во всех значительных городах Испании. Сами здания отличаются очень простой архитектурой. Обычно это...

КАРМЕН. Толчок был страшный! Бык поднял его на один рог, откинул от себя и хотел броситься еще раз!.. И вот Лукаса уже несут с арены.

ХОСЕ. Бык отомстил за меня! — думаю. Но ошибся!

АВТОР. Необходимо отметить, мадридский цирк вмещает около семи тысяч зрителей. Сидят здесь на деревянных или каменных...

ХОСЕ. Отправляюсь в дом, куда должна вернуться моя роми. Просидел полночи тихо. Потом заснул. Приснилось: она лежит рядом, голова на подушке. Попросила попить. Дал ей воды. Попила, засмеялась. У меня покатались слезы. Стал говорить ей: «Это могло бы быть! Это могло бы быть!» Проснулся, потрогал щеку — слез нет.

КАРМЕН. Видела тебя в цирке.

ХОСЕ. Мне надоело убивать твоих любовников. Я убью тебя.

КАРМЕН. Я всегда знала, что ты меня убьешь. В тот день, когда я тебя в первый раз увидела, я как раз, выходя из дому, повстречалась со священником.

ХОСЕ. Посадил ее на коня, позади себя. Ехали всю ночь. К утру остановились в пустынном ущелье.

КАРМЕН. Это здесь?

ХОСЕ. Я оставил ее одну, ушел далеко, лег на траву и лежал целый день. Я надеялся, что она убежит. Она могла взять моего коня и ускакать! Тогда бы ничего не произошло... К вечеру возвращаюсь — нет, не убежала. Осталась... Дай мне спасти тебя! И самому спастись!

КАРМЕН. Ты мой ром, ты вправе убить меня.

ХОСЕ. Мы могли бы быть вместе! Мы могли бы быть вместе! Это могло бы быть!

КАРМЕН. Нет!

ХОСЕ. Придет время и стареть...

КАРМЕН. Нет!

ХОСЕ. Старость — это не страшно, если вместе.

КАРМЕН. Нет!

ХОСЕ. Не зови смерть, не зови!

КАРМЕН.

Пустыня осталась,
Немолчное сердце,
Источник желаний,
Иссякло.
Пустыня осталась.

Закатное марево
И поцелуи
Пропали.
Пустыня осталась.
Умолкло, заглохло,
Остыло, иссякло,
Исчезло.
Пустыня осталась...

ХОСЕ. В последний раз!

КАРМЕН. Нет. Нет. Нет.

ХОСЕ. Тогда я ударил ее ножом. Два раза. После второго раза она упала.

АВТОР. Затем он вскочил на коня...

ХОСЕ. Нет. Два часа я еще просидел над нею. У нее не мертвело лицо! Она лежала, повернув голову, словно для того, чтобы видели: она была спокойна!

АВТОР. Она еще бежала, а я уже набегался. Осенний марафон. У нее был некомпенсированный порок сердца. Надорвалась...

Лежала наискосок, поперек кухни, повернув лицо к двери, словно для того, чтобы было видно: оно спокойное.



Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка...

СВОБОДНОЕ СОЧИНЕНИЕ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ *

Нам одновременно дано прошлое, настоящее и будущее...
К. Воннегут

Предисловие автора

Поначалу я хотел назвать этот труд «Цветной блюз», но потом подумал: не слишком ли это красиво? Хотя общему замыслу название отвечало: не столько написать, сколько спеть — свободное сочинение в неспешном темпе, иногда переходящее в ритм-блюз, в экстаз импровизации или жизнеутверждающий драйв... Красиво, правда? А «цветной», потому что оно должно быть похоже на лоскутное одеяло, сшитое из разных цветных и вроде случайно попавшихся под руку кусочков материи. И все, казалось, правильно. Но что-то не понравилось мне в слове «блюз», я счел его несколько пижонским, что ли... Роль автора названия взяла на себя интуиция, она, как известно, часто бывает права, и вскоре вы узнаете, почему все называется так, как называется.

Поскольку сочинение свободно, многого ожидал я от себя в этой истории или даже — в этих историях. Самому было любопытно, куда, в какие углы и переулки заведет меня свобода передвижения. Однако хоть какие-то границы надо было обозначить. Поэтому я намеревался следовать некому жесткому плану, который сложился у меня в голове. Я полагал написать лирическую документальную повесть о школьных годах с Михаилом Задорновым, о студенческих — с Леонидом Филатовым, о наших одноклассниках, однокурсниках и друзьях — словом, о том, «как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя» — и все! Что это будет — мемуары? Да не приведи Господь! У меня аллергия на это слово! Как-то Михаил Жванецкий сказал, что после того, как напишешь мемуары, приличнее всего — умереть. А пока не хочется.

Условимся заранее: все, что вы прочтете в данном произведении, не будет строго документально — это принципиально. Я оговариваю себе право на свободу фантазии, полет воображения, анархию мысли, а проще — напридумывать то, чего не было. Нет, нет, правда тоже будет, только вы не поймете, где она и где вымысел. Таким образом, черты документального будут размыты.

Какой же это жанр? А ну его к черту, этот жанр! Вам он нужен? Мне — нет!..

Единственное, что я твердо знал, вернее чувствовал, начиная: надо поймать тон, звук, настроение; уловить в сети прозы тающее облако поэзии, легкий

* Журнальный вариант.

дымок любви и творчества, витавший над нами, ощущение которого мы сохранили по сей день. Поэтому повествование надо постараться сделать поэтическим, решил я. И все равно, все равно мои установки и задачи забылись, когда все началось, листы расположились на столе, и перо побежало по бумаге.

Дело было ранним утром, часа в четыре, а спустя полчаса я с удивлением обнаружил, что перо бежит впереди меня и бег его не хочется, да и нельзя останавливать. Забытый кофе стыл в чашке, сигареты улетали одна за одной, собака тяжело вздохнула в соседней комнате; за окном было черно и тихо-тихо. Строчки, торопясь, обгоняя и расталкивая друг друга, ложились на бумагу, а бумага словно упрекала: стой, подожди, ты же хотел совсем другого — вот тут, сейчас, в этом месте.

— Замолчи! — говорил я себе и ей. — Пусть все идет, как идет, пусть жизнь течет, как тогда, пусть переносится в сегодня и опять возвращается в те годы. Сама! Не вмешивайся! Пусть летает из года в год, из зимы — в лето, без всякой логики, из портрета — в портрет, из любви — в любовь...

И понял я в ту ночь, что параллельный мир — это не что-то метафизическое, а это именно та ночь, то окно, те звуки и лица; далекий шепот далеким вечером, платок у глаз, светящийся павильон на берегу моря, бег по перрону за уходящим поездом, рука из окна вагона — всё, всё, из чего рождается то ли холст, то ли стих, то ли музыка, и становится вовсе не важным: 1999 год, 1830-й или, наконец, тот самый — 1965-й...

Общежитие

Его почтовый адрес: Москва, улица Трифоновская, дом 45-б. Боюсь, большинству читателей этот адрес ни о чем не говорит, но зато его знает вся московская богема. Хотя это просто общага с театральным уклоном, в которой проживают иногородние студенты театральных вузов Москвы, а также их нелегальные гости и гости. Впрочем, не знаю, так ли это сейчас, но речь идет о 1965 году, когда было именно так. Портрет того общежития таков: комнаты на четыре-пять человек, по две кухни на этаж, на каждом этаже — мужское крыло и женское, одна душевая (в ней — свое время для юношей, свое — для девушек). Ну что еще: гитары, знакомства, увлечения и нерушимая дружба до глубокой ночи. И когда выпивка кончалась, надо было кому-то бежать на «рельсы» — подпольное местечко за Рижским вокзалом, где торговали дешевым самопальным вином и коньяком. Ах да, чуть не забыл, ведь были же еще и занятия: конспекты, книги, авральная подготовка к экзаменам, когда все, что не успели прочесть, распределяли между собой, а потом друг другу пересказывали.

— Значит, так. Один старый обалдуй вообразил, что влюбился, и поехал на такой же старой кляче защищать честь дамы своего сердца где ни попадя. Никто на честь его дамы и не посягал, но он сам нарывался и получал отовсюду тумаки и шишки. Один раз даже сразился с мельницей. Мельница победила.

Это, стало быть, краткое содержание «Дон Кихота»! А вот и «Гамлет»:

— Один маньяк встретился с привидением, которое ему сообщило, что его отец не умер, а его отравили, причем не кто-нибудь, а его отчим, который женился на его матери и стал королем. Недолго помучившись вопросом: «Быть или не быть?», он решил, что все-таки — «быть» и что он всех за это дело уродет, что к концу пьесы и делает.

Вот так приходится... Потому что завтра в десять утра экзамен, а еще столько не прочитано.

И всю ночь напролет пятеро соискателей приличной отметки усердно читают и пересказывают друг другу комиксы из мировой классики. Изредка то там, то сям раздается глухой стук: это на раскрытую книгу падает чья-то голова, кто-то потерял сознание, в смысле — заснул минут на пятнадцать.

Однако даже экзамен менее важен, чем любовь — царица театральной империи и определяющий фактор поведения жителей общаги. Поэтому если сегодня у кого-то свидание, даже если просто амурное приключение, то он готовиться не будет и пойдет на экзамен обреченный, надеясь только на шальную удачу, но все равно радостный...

Сколько там, говорят, у Чехова в пьесе «Чайка» пудов любви? Пять? Ха! Смешная цифра по сравнению с Трифоновской, которая от любви буквально содрогалась. 45-б, вероятно, обозначает ее объем на душу населения, потребительскую корзину любви для каждого, любящего ее потреблять: 45 бидонов, баллонов, баррелей — не знаю, чего точно, но много. Все было от нее и ради нее, даже учеба. Тут логика проста: в театральной вузе, как известно, предмет номер один — актерское мастерство, а в нем, что также известно, главное — талант, а он, в свою очередь, — самая твердая валюта на любовных дорогах. Не внешность, не фактура, хотя и это имело значение, а именно талант, он был козырным тузом при заманчивой игре в любовного дурака. Девушек я не имею в виду, там внешность все-таки была важна больше, чем талант. Не для сцены, разумеется, а для возникновения симпатии и ее последующего роста. Совсем непривлекательная девушка испытывала дефицит в любви, с ней пытались, как правило, только дружить, и она страдала, становясь от этого еще более талантливой...

Одежда, само собой, тоже была для любви или по крайней мере для того, чтобы произвести впечатление и понравиться. Не у всех было достаточно возможностей в этом смысле, денег мало например, и тогда из того, что имелось, выдумывалось что-нибудь экстравагантное, не только в одежде, но и в поведении. Песней тоже можно было ударить по девичьему воображению, однако об этом позже...

Итак, комната № 39 на втором этаже. В ней живут: Леонид Пярн (Рига), Сергей Вараксин (Свердловск), Борис Галкин (Рига), Владимир Качан (Рига) и Леонид Филатов (Ашхабад). Двоих из них (Пярна и Вараксина) на этом свете уже нет; почтим их память вставанием, господа... И, чтобы они там знали, что о них помнят, опишем их хотя бы кратко и субъективно.

Леня Пярн в плане внешности был вне конкуренции. Когда еще при поступлении на первом туре на площадку вышел рослый красавец-шатен с яркими серыми глазами и глубоким баритоном, одна из дам экзаменационной комиссии, тяжело вздохнув о былом, прошептала соседке: «Он такой красивый, прямо срам какой-то». И когда он, небрежно оглядев комиссию, как низших существ, которым он, хотя и так все понятно, вынужден еще что-то доказывать, расставил ноги на ширину плеч и рявкнул «Левый марш» Маяковского, никто из присутствующих даже не усомнился в том, что этот уже учится. Без вариантов. А кое-кто из абитуриентов просто-напросто встал и покинул зал, поняв: рядом с этим очевидным фаворитом тура шансов нет. Леню сразу пропустили на третий тур и даже там прервали после первой же строфы — не потому, что плохо, а потому, что все ясно. Но... как это часто бывает, вплоть до окончания института Леня уже ничего лучше того «Левого марша» так и не показал... У него будет сложная судьба: в Москве его не возьмет ни один театр, он вернется в Ригу, но и там не задержится, будет скитаться по разным театрам страны и в конце концов эмигрирует в Швецию. Там на русском радио придется его красивый баритон.

Пришлет фотографию: он на фоне своего дома на берегу озера, возле своей яхты (наши эмигранты второй и третьей волны первым делом посылали в Россию фотографии, показывающие всем оставшимся, как они там классно устроились). На фото Леня улыбается, на обороте — зовет в гости. На их радио песни попеть. Я соберусь, но не поеду. А через полгода после этого мы узнаем, что Леня очень быстро сгорел от рака легких. Однако остался сын, он сейчас почти точная копия Лени в шестьдесят пятом году. Будто клонированный Пярн. Когда его видишь, даже пугаешься слегка. Жаль только, Леня его не видит... Впрочем, может, и видит...

А Сережа Вараксин — мальчик с деревенской наружностью: вьющиеся волосы, смешной, маленький, задранный вверх носик и большой рот, которым он, когда смеялся, этак застенчиво гукал; юродивый, который любую чужую бессовестность воспринимал как личную боль, а несправедливость была для него просто физической пыткой; святой мальчик, любящий Бога и никогда не снимавший креста в то время, когда это было, так скажем, не принято...

Он на экзаменах Есенина читал. И столько в нем было искренности, далекой, недосыгаемой, изумительной наивности и ни-на-кого-не-похожести — словом, того, что в актерском мире называется индивидуальностью, что было очевидно: этот тоже поступит. Но, как ни странно, учился он тоже, как и Пярн, средне. Закончил, стал работать в Московском ТЮЗе, затем... У него эпилепсия была. И при каких-то таинственных обстоятельствах, в какой-то битком набитой пивной, во время припадка он то ли сам головой ударился, то ли его ударили... В общем, ушел Сережа, будто его любимый Есенин, не вписавшись в наш яроственный мир...

Но не будем о грустном. Ведь мы сейчас все в шестьдесят пятом году, все счастливые оттого, что поступили, все подружившиеся и слегка пьяные. Нет, стоп, не слегка... Сегодня воскресенье. Вот светлый наш, открытый всем ветрам Боря Галкин проснулся, точнее сказать, очнулся, потому что накануне выпивали серьезно и ночь превратилась в день, а день — в ночь. Вот он встал с постели, пошел к окну и видит: на подоконнике за шторой стоит почти полная бутылка водки и тарелка с черным хлебом. Боря издает короткий удивленный и вместе с тем радостный звук, состоящий из одной гласной «о» или «е». Тут есть чему удивиться, ибо это редчайший случай: либо заначенную бутылку не нашли, либо уже не было сил ее выпить — всех сморило. Боря длит момент, он смотрит в открытое окно, оттуда — свежий ветер, ветка с желтеющими листьями чуть покачивается, розовое солнце висит прямо перед глазами. Он ощущает почти полную радость жизни, молодости и здорового организма. Почти, потому что еще чего-то не хватает, и Боря знает — чего. Он наливает полстакана, опрокидывает его в себя одним глотком, затем глубоко вдыхает аромат черного хлеба и не спеша закусывает. И вот только теперь радость бытия и единения с природой становится полной. Боря восторженно кричит: «Ребята, что вы спите, вы все прозеваете, смотрите, какой рассвет! Вставайте!» — и тут с кровати Филатова раздается суховатый тенорок: «Боря, успокойся. Это не рассвет, это — закат». Филатов реплику не комментирует, но и так понятно, что в ней есть и прямой, и переносный смысл: во-первых, вечер был перепутан с утром, а во-вторых, «закат», ну, вы догадываетесь...

Леня привез с собой из Ашхабада целую кипу опубликованных и неопубликованных стихов, и по крайней мере каждый третий из них обещал юноше блестящую литературную карьеру. А профессия литератора была (представьте себе!) не менее престижна, чем профессия адвоката или, скажем, экономиста. Поэтому, вероятно, уважение окружающих не определялось ответом на вопрос: сколько получаешь? И творческие вечера поэтов собирали битком набитые дворцы спорта и другие огромные залы.

Обойдемся, однако, без ностальгической тоски по большой поэзии и ее месту в нашей жизни. Ничего страшного, все нормально. Как говорил Булат Окуджава, в поэзии бывают приливы и отливы. Ну, допустим, сейчас — отлив. Ну, отступило море, обнажился берег, и стал виден мусор; ну да, несется над морем бесконечный призыв жевать что-то о неповторимым устойчивым вкусом; ну, конечно, решается вопрос: откуда и куда пойдет нефтепровод, и все никак не решится, поэтому на берегу еще и стреляют. Так что до поэзии ли теперь?..

Но ведь будет когда-то и прилив. Это неизбежно, как смена времен года, и тогда (помечтаем чуть-чуть) сомкнутся изумрудные волны над мусорной свалкой нашей легендарной перестройки и все (вдруг!) вспомнят о поэзии, поймут: что все-таки вечно, а что тленно...

Ах! Мечты, мечты... Все, разумеется, не поймут. А уж особенно те, кто смотрит на вас с телеэкранов. Вы их выбирали, помните? Они и сегодня уверены, что вся эта культурная шушера подождет. Не до нее, пусть как-нибудь сама, если выживет. И пусть ее убогий лоток торчит где-нибудь на окраине нашего рынка, лишь бы только не мешал. Культу-у-ура, блин! Она Золушка, нелюбимая падчерица деловых людей, у которых любимые дочери, как всегда, — экономика и политика. Только вот если этими любимыми будут заниматься люди невежественные и бессовестные, у которых от культуры остался только футбол, то мы всегда будем иметь то, что имеем сейчас, то есть невежественную политику и бессовестную экономику (эпитеты можно поменять местами)...

Нет, остановимся, пока не поздно. Суровый гражданский гнев вторгся не прошенным гостем в мое повествование, а ведь я о Филатове рассказываю, ведь он-то, уж точно, поэт, а не какой-нибудь там «раз словечко, два словечко — будет песенка». Ну ничего, сейчас еще расскажу. И о нем, и кое о ком еще...

Тогда, в том самом шестьдесят пятом, Леня со своими стихами, если бы продолжал, не скажу — потеснил бы на поэтическом Олимпе Евтушенко, Вознесенского и других, но, уж во всяком случае, заставил бы с собой считаться. Правда, сам он свои стихи иначе, как «стишки» не называет, но мы закроем глаза на эти конвульсии скромности у мастера слова. Если красавица время от времени говорит окружающим, что она уродина, ей это не вредит; в ответ ей только улыбаются (умные) или же начинают возмущенно опровергать (дураки). Ну пусть будут «стишки», если ему так хочется! Итак, он их тогда усердно «пописывает» и, более того, читает на вступительных экзаменах. «Стишки» тем не менее комиссией воспринимаются как стихи, а кроме того, он их хорошо читает. И обнаруживает себя студентом театрального вуза, хотя думает преимущественно о кино и знает о нем все. Когда я говорю «все», я не преувеличиваю. Леня вообще-то сюда попал случайно. Он ехал из Ашхабада в ВГИК, но когда приехал, экзамены там уже были в полном разгаре, он опоздал, и ему пришлось пойти в кино другим путем. Кино было его хроническим заболеванием, он действительно знал про него все, что можно было в нашей стране знать. Он мог, например, совершенно не морща лоб в мучительном припоминании, назвать исполнителя второй роли в любом мало-мальски заметном фильме мирового кинематографа; назвать фамилии оператора и композитора и еще добавить, в каком году фильм вышел и какой приз на каком кинофестивале получил. Большинство этих фильмов Леня и в глаза не видел, негде было, возможностей не было, но все равно знал про них все и был среди нас прямо-таки ходячей фильмографией; если мы и знали что-то о мировом кино, то только от него.

Вот точно так же один знаменитый артист театра и кино изумлял меня (это было в период «развитого социализма», который теперь переименован в «застой») знанием фамилий, имен и отчеств всех вторых секретарей ЦК и горкома партии, а также имен и отчеств их референтов, помощников референтов и даже,

наверное, их жен и детей. Я же, в свою очередь, изумлял его незнанием этих полезных фамилий и имен.

— Как? — происходил однажды между нами диалог. — Ты не знаешь?.. (допустим, Пупкина Владлена Сергеевича).

— Не знаю, — стесняясь своего невежества, отвечал я.

— Ты сошел с ума!

— Почему?

— Да потому, что он третий помощник второго референта самого... — Тут он переходил на значительный шепот: — Гришкина. — И интимно-почтительно: — Евгения Матвеевича... — Он говорил так, будто вчера с ним Самим обедал, будто приближен к высшим — в его понимании — сферам, и даже не догадывался, что высшая сфера — это как раз его сфера, в которой он обитает вместе со своим по-настоящему большим талантом, ну а пупкины и гришкины приходят и уходят, и о них потом никто не помнит.

— Кого? — переспрашивал я.

— Гришкина, — оглянувшись по сторонам, словно выдавая арабскому террористу секрет атомного оружия, продолжал он меня просвещать. Пока терпеливо...

— Какого Гришкина? — переспрашивал я, и тут он уже прозревал, что имеет дело с законченным идиотом, с которым не то что разговаривать о важных вещах, но даже в одном поле... — нельзя.

Один раз он все же попытался мне объяснить, что Гришкин может и квартиру и даже орден, но, заметив скуку в моих глазах, стал уже относиться ко мне как к безнадежному недоумку.

Гришкин ли помог или само так получилось, однако он таки получил орден. Получить орден Трудового Красного Знамени в Советском Союзе за исполнение роли фашистского палача — это изумительно! Он и впрямь сыграл роль гестаповца так, что, полагаю, был даже интереснее оригинала, но ведь не железный же крест он получил, а совсем другое... Льюису Кэрроллу надо было родиться в России — вот где настоящее Зазеркалье, вот где страна чудес! Главное — ничего не надо выдумывать, никаких сказок — пиши с природы, и все!

Шлейф этой творческой победы еще долго тянулся за ним и по сей день еще тянется, и — кого бы он потом ни играл, какой костюм ни носил — он все равно постоянно ощущал себя в ладно сидящем мундире высшего офицера Третьего рейха.

Как-то раз он играл в секретаря крайкома. (Это не опечатка, сограждане, это мое открытие. Про актеров все время уважительно говорят: он играл, к примеру, Хлестакова, а на самом-то деле это просто детская игра типа «дочки-матери» или «казаки-разбойники», игра, ставшая профессией, игра — в Хлестакова. Если в детстве играл в Чапаева, то почему бы попозже не поиграть и в кого-нибудь еще? Вот артисты и играют, счастливым образом оставаясь детьми до глубокой старости.) Так вот, он играл в тот раз — не важно, в какой пьесе, — в первого секретаря крайкома партии. Он всегда к этой роли подходил ответственно, поэтому приезжал в театр задолго до начала, с удовольствием надевал костюм, не спеша завязывал галстук, а гримерша делала ему неотразимый макияж и прилаживала аккуратный паричок. После чего он долго вертелся перед большим трюмо в коридоре. Хотя слово «вертелся» тут совершенно не подходит и не обеспечивает должного уважения к процессу. Он осанисто прихорашивался — вот это будет точнее. А за полчаса до спектакля милиционер привозил ему **настоящий** значок депутата Верховного Совета. Он хотел именно так, вероятно, для того, чтобы хоть на два часа почувствовать себя облеченным **настоящей** властью. Милиционер ждал до конца спектакля, потом забирал значок и уезжал.

— А почему с милиционером значок? — спросил я его как-то раз.

— Да ты что! — был ответ. — Представь себе, что может быть, если я скроюсь с этим значком и окажусь где-нибудь, допустим, в Баку... Что я там могу на творить за одни сутки!

Сознание даже одного этого обстоятельства делало его осанку важной и наполняло душу артиста парящим восторгом власти. На два часа...

И вот после всей этой тщательной подготовки — третий звонок, и помощник режиссера вызывает на сцену его и меня. Я изображаю в спектакле его референта с мерзкой фамилией Синилкин, и все начинается с нашего почти одновременного появления на сцене, на которой в это время стоит кабинет первого секретаря — его, стало быть, кабинет. И вот идем мы к сцене: он — впереди, не видя меня, я — шагах в пяти сзади следую за ним. На этот раз спектакль идет в филиале МХАТа, причем впервые, и обстановка совершенно незнакома. Он подходит к двери, за которой уже, собственно, сцена, и останавливается в некотором недоумении. Он не знает, как ее открыть: там нет ручки. Вместо нее — какой-то штурвал, который, видимо, надо поворачивать. Он и начинает поворачивать, а затем тянуть эту дверь на себя. Это дается ему с трудом, так как дверь тяжела, массивна и вообще вместе со штурвалом выглядит как вход в суперсекретный бункер. И в какой-то момент артист, абсолютно забывая, где находится и кто он сейчас, говорит в адрес двери тихонько и не без уважения: «Смотрика ты... Совсем, как у нас в гестапо». И, услышав за спиной даже не смех, а тонкий стон своего референта, поворачивается и мгновенно делает вид, что это он так пошутил.

Ну возможно ли себе представить, что «у них в гестапо» самой пленительной из человеческих слабостей является знание имен и отчеств секретарей ЦК нашей компартии?! Да что гестапо! Это всего лишь роль, но ведь за ней стоит человек, беспредельно лояльный и поэтому любящий партию власти самозабвенно — до экстаза, до восторга, почти до оргазма. А получая какую-нибудь награду, непременно нужно было благодарить лично Генерального секретаря, затем саму родную партию и уж только потом — всех остальных, по выбору, например народ. То есть благодарность шла от частного к общему: от Генсека к народу, вот как на вручении премии «Оскар» — сначала лауреат благодарит конкретных лиц, а потом уже всех собравшихся.

Как-то Лия Ахеджакова рассказывала трогательную историю о том, как один ее знакомый ученый, профессор и академик, получал Звезду Героя Социалистического Труда, которую в народе звали «Гертрудой». Этот интеллигентнейший человек вынужден был соблюдать правила приема награды, однако решил свою ответную речь хоть как-то очеловечить, окрасить казенную форму благодарности теплотой импровизации. Удалось ему это следующим образом. Сказав само собой разумеющееся «спасибо» дорогому Леониду Ильичу, он затем припомнил то небольшое, чем мог бы обласкавать партию, и рассыпался ей в похвалах, скупых по содержанию, но цветистых по форме. Но тут его гиперинтеллигентность высунула свой озорной нос из недр словоблудия, и он растроганно произнес: «Она, партия, мне столько дала... Она нам всем так... дала... что у меня не хватает слов, чтобы выразить то, что я чувствую. И я от всего сердца благодарю нашу родную коммунистическую партию и ее... — тут он поискал слова, усиливающие эмоцию, и таки нашел! Самые-самые! — совершенно изумительное ЦК».

У всех, знаете ли, есть свои слабости: у кого-то — «совершенно изумительное ЦК», ну а у Филатова — кино и, конечно же, стихи, некоторые из которых превращаются в...

...Песни

У студента первого курса Володи тоже есть слабость, вернее, даже не слабость, а «одна, но пламенная страсть» — это французские шансонье. Он у них учится петь, потому что они — воздух, свет, окно в другой песенный мир, альтернативный нашей кондовой эстраде с комсомольским уклоном; красивые звуки, высокие чувства — словом, лямур, который тужур, на веки вечные. Поэтому он бесконечно крутит пластинки или магнитофонные записи выдающихся французов и старается петь вместе с ними, синхронно повторять то, что они делают. Если какой-то пассаж не получается, он крутит это место раз двадцать, пока не добьется хотя бы приблизительной похожести. Поэтому не удивительно, что их интонации намертво въедаются в его манеру пения, и, когда его потом будут спрашивать, отчего он свои песни поет с таким французским прононсом, наш русский шансонье будет лживо отвечать, что у него-де хронический насморк и гайморит. И, конечно же, именно путь шансонье наметил себе, живя в России шестьдесят пятого года, этот глупый молодой человек. В области песни, разумеется, потому что театральное искусство, которому сейчас обучается, он и не думает оставлять. Ради эстрады? Да что вы! К нашей эстраде мы все относимся почти брезгливо, как к искусству второго сорта, и когда ее патриарх Леонид Осипович Утесов через девять лет будет подбивать молодого человека бросить театр и перейти с трудовой книжкой к нему в оркестр окончательно, Володя решится только на совместительство, да и то в основном из-за денег. Ну глупый молодой человек! Утесов и тогда для всей страны значил больше, чем все ТЮЗы, вместе взятые, но Володин ТЮЗ, а тем более только что появившийся спектакль «Три мушкетера», значил для него в то время гораздо больше, чем вся эстрада мира — оптом и в розницу. Тем более что он считал совместительство театра и эстрады для себя идеальным. А уж в шестьдесят пятом году, наполненном доверху мечтами о будущем, он полагал, что убойное сочетание в себе автора музыки, певца и драматического артиста, подкрепленное к тому же хорошими стихами, гарантирует ему светлый и радостный путь на эстраде. А театр будет идти параллельным, спокойным курсом, и одно будет дополнять другое. Он мечтал о том, чтобы все было, как у французов: большой оркестр, тонкая аранжировка, слева — скрипки, справа — саксофоны, трубы и тромбоны, сзади на возвышении — барабанщик, а впереди — он, артист, поющий свои песни на стихи Леонида Филатова. Ну почти так и вышло в оркестре Утесова: и театр остался, и под оркестр спел, да вот только номером — три-четыре песни, и все. А сольные концерты, если и случались, то под гитару. Неплохо, конечно, но мечталось-то о другом: о некоем песенном театре, где можно сыграть свои песни, без гитары, с руками, свободными для жеста и передвижения по сцене с микрофоном.

Короче, так и окажется наш бард, тяготеющий к эстраде, сидящим между двумя стульями, как раз посередине между традиционными бардами и традиционной эстрадой. Эстрадники будут считать его бардом, а барды, соответственно, — эстрадником. Но это потом...

А теперь он пробует сочинять песни, тем более что рядом живет поэт, который чуть ли не каждую ночь, поджав под себя левую ногу (и не просто поджав, а практически сидя на ней) и закуривая через каждые пять минут новую сигарету, пишет стихи. То есть в максимально неудобной для человека позе, в экологическом кошмаре, который сам же себе и создает, пишет этот ненормальный. Хотя, впрочем, где вы видели нормальных поэтов? Нет, конечно, поэт с виду — человек нормальный, но в нем обязательно есть что-то еще, невидимое миру, что-то такое, что наделяет его нужной дозой шизофрении — безусловно необходимой для творческого угара. Нормальный поэт — это ненормально, непра-

вильно, так же, как, скажем, сентиментальный бизнесмен. Забегая вперед, скажу: как вы думаете, что-нибудь изменилось? Что вы! Каждую ночь, сидя на своей бедной левой ноге и непрерывно куря, Филатов пишет очередную пьесу или сказку в стихах. Сигареты — это вообще разговор особый. Уговаривать Филатова бросить курить — бесполезно, бессмысленно; глупо ведь стоять, предположим, перед заводской трубой и уговаривать ее не дымить так много. Когда он пришел в сознание после операции, первое, что он сказал, было знаете что?.. Вы правильно догадались: он попросил именно это. И кто-то из врачей без звука, без намека даже на возражение протянул ему сигарету, а другой врач, улыбаясь, — зажигалку.

Так вот, сидит он в комнате № 39, а чаще — на кухне, где ночью нет никого, посреди мусора, картофельной шелухи и окурков, своих и чужих, и иллюстрирует собой знаменитую ахматовскую строчку: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи...» и так далее. Причем стихи пишутся удивительно красивым почерком. Казалось бы, в таких условиях и почерк должен быть неровным, небрежным, неразборчивым, но нет! Каллиграфические букочки вырисовывает его рука, будто старинный писарь составляет прошение на высочайшее имя. А может, это и есть прошение на **самое** высочайшее имя, чтобы его, как он считает, «стишки» превратились в **стихи** — в диковинный язык, на котором изъясняется душа, в одно из средств доставки чувства и ума от человека к человеку, а также хрупкий мост между небом и землей. И он пишет, выводит такие красивые букочки, что их даже жалко зачеркивать, но он зачеркивает, еще и еще, думает, опять пишет и снова зачеркивает, опять закуривает и снова пишет... Я нетерпеливо жду, но знаю, что торопить или заглядывать через плечо, что он там уже написал, нельзя, это — табу. Тоже курю и жду: сейчас, уже скоро, он закончит и наступит моя очередь сочинять музыку к тому, что он мне прочтет. И если получится, то будет сегодня новая песня, точнее, не сего-дня, а сей ночью. И той же ночью будет ее премьера, вполголоса, на кухне, для одного-единственного слушателя и соавтора — Леонида Филатова. Гитара лежит на кровати и тоже ждет, когда он допишет, тоже вибрирует девушка, трепещет вся...

Первая наша песня была, конечно же, про любовь. А про что же еще, странные вы какие... Все, все про нее, про любовь: про типичное поражение разума — от слепого темперамента. Разум почти всегда слабоват и беспомощен перед острыми атаками сердечных мук. Вообще драматизм, тотальное несчастье, неразделенность или же невозможность соединения — все это множество «не» — главное оружие любви в ее непрекращающейся и успешной борьбе против логики и спокойствия. Так и здесь: любовь поэта (во всяком случае, на данном этапе) была неудачной, неразделенной, а значит — несчастной. Ну не счастливой же ей быть в самом деле, когда тебе восемнадцать! К тому же короткое и слишком простое счастье разделенной любви и даже безобидно-банальное благополучие — неважный двигатель для творчества. Так рождается песня «Ночи зимние», и студеный надрыв ее куплетов несется по ночным коридорам обещания:

Вас вместе с другом как-то видели,
Мне друг, наверное, солжет,
А ото лжи, как и от гибели,
Меня мой Бог не бережет.
Живу, дышу и что-то делаю
И каждый день схожу с ума,
А за окном такая белая,
Такая черная — зима!

Во как! И щеки пылают, руки холодеют, сердце колотится — все как надо! Но главное: поймет ли она, и проймет ли ее — адресата этого, рвущего душу в

ключья романса?! Проймет всех... кроме нее... Когда в сигаретном и творческом чаду проявляются контуры произведения под названием «Ночи зимние», авторы еще не знают, что оно будет иметь сумасшедший успех на Трифоновской, 45-б. Успех неадекватный, потому что, прямо скажем, и мотивчик так себе, незамысловатый, да и стихами тоже Филатов не гордится, но вместе они производят большой лирический эффект; берет, понимаете ли, эта песня за душу, даже, я бы сказал, цепляет за нее. Только петь надо грустно, отстраненно, глядя не на слушателей, а куда-то вверх их голов. Ну а как же, конечно! — с небом ведь разговор, вы-то тут при чем?

С ума сойти, сколько водки льется под эту песню, сколько слез! Сколько молодых людей с бутылками приходят, чтобы ее послушать, пострадать! Успех смущает, потом искушает, потом становится привычным. Позже мы догадаемся, что успех был обусловлен не качеством произведения, а тем, что у всех буквально были романы, трагические любовные истории, и «Ночи зимние» попадали в резонанс с настроением большинства. Но сейчас, окрыленные этим первым успехом, мы продолжаем сочинять дальше. Автор музыки владеет гитарой, мягко говоря, не виртуозно. Азам игры на семиструнке его обучил недавно старшеступенчатый Виталий Шаповалов (среди своих — Шапен). Он окончил музыкальное училище по классу трубы. Труба, однако, не тот инструмент, которым можно широко пользоваться в общезжитии, особенно по ночам: тебя просто не поймут. К тому же труба — солирующий инструмент, а надо аккомпанировать песням, и тут интимно-воркующая гитара подходит больше. Виталий и на гитаре играет мастерски, и поет очень здорово. Через пару лет это сыграет решающую роль при показе группы выпускников в...

...Театр на Таганке

Это не просто модный театр, в который нельзя попасть, на премьеры которого даже сами артисты проводят друзей и знакомых какими-то немислимыми путями: через окна, через котельную и прочее; он — средоточие свободы, таланта, свежей фантазии, юмора; он — культурное противостояние загнивающему тоталитарному режиму; тут режиму почти в лицо **такое** говорят!.. Артист Театра на Таганке, даже ничего, кроме массовок, не играющий, ходит по Москве гордо: ну как же! не во МХАТе каком-то заплесневелом он работает, на «Таганке»! Поэтому, когда, например, артист Володя Фоменко переходит работать в МТЮЗ из Театра драмы и комедии на Таганке, для него это не переход, а падение. И хотя он и говорит, что ушел оттуда потому, что не выносил античеловеческого диктата Любимова, мы все равно видим, что «Таганка» — незаживающий рубец на сердце ее экс-артиста. К тому же первая роль, которую он тут получает, — это роль Старого Зайца в бессмертной драме Сергея Михалкова «Зайка-зазнайка». Роль Зайца, да к тому же старого, почти оскорбительна для артиста, уже вкусившего яд таганской славы. Ну представьте: из центра театрального внимания — в ТЮЗ, на задворки детства; из самого эпицентра тайфуна — на мирную лесную опушку. А там, на опушке, разыгрывается история нравственного падения Зайки, который украл у охотника ружье, обрел таким образом силу и стал зазнайкой, начал унижать близких и в том числе Старого Зайца, короче, стал бессовестным и в результате едва не погиб, и неминуемо погиб бы, если бы не крепкая заячья дружба и взаимовыручка. Поучительная история о том, что обычно делает власть с зайцами, как она их развращает, своего рода «Макбет», только на опушке, но олицетворением совести, нравственного закона внутри всякой Божьей твари, в этом действе является как раз Старый Заяц, роль которого Володя и исполнял.

И чем он не доволен, когда сидит утром перед спектаклем у своего гримировального столика и смотрит на себя в зеркало со звериной, незаячьей тоской? О чем думает он, отбившийся от таганской стаи одинокий волк, которого судьба не без юмора превратила сегодня в мелкое травоядное?..

Володя с отвращением рисует на своем мрачном лице усы. Черной тушью. Медленно ведет линию от носа по щеке наискосок. Тоска растет в его глазах. Он откладывает кисточку и смотрит на себя в упор. По всему — происходит тяжелый мысленный разговор с самим собой. Его результат — хриплый выдох в лицо своему отражению в зеркале: «...твою мать...» Без восклицательного знака, потому что это — полусшепот, полустон. Он рисует второй ус и опять повторяет то же самое: кисть, взгляд, мат...

Я сижу сзади, спиной к нему, и вижу все, что с ним творится, отраженным в своем зеркале. Он не замечает, не подозревает даже, что я за ним наблюдаю. Меня корчит от смеха, но если вдуматься — все это вовсе не смешно: на моих глазах разыгрывается подлинная драма, основная идея которой — «до чего же я докатился!» Еще вчера — рядом с Высоцким, Губенко, Демидовой, пусть небольшие роли, но там, в авангарде жизни, а сегодня — ...твою мать!.. — страсти на опушке!..

Нарисовав усы, Володя встает и берет в руки штаны Старого Зайца, серые, естественно, штаны с маленьким, беленьким, пушистым хвостиком, пришитым в центре задницы. Перед тем как их надеть, он долго смотрит на хвостик, и я вижу все, что он думает сейчас о своем пути в искусстве. Обложив ни в чем не повинный хвостик все тем же матом, Володя надевает штаны, подходит к двери и кричит в коридор: «Клавдия Сергеевна! (Это наш театральный гример.) Клавдия Сергеевна! Уши для артиста Фоменко!!!» Кричит, издеваясь над собой, доводя свое внутреннее унижение до трагикомического пафоса: «уши для Фоменко» звучит как «карету его высочества принца Вильгельма Оранского — к подъезду!»

По коридору семенит Клавдия Сергеевна, держа в руках большие и красивые заячьи уши, которые она должна сейчас приделать к Володиной голове. Он опять садится перед зеркалом, и Клавдия Сергеевна многочисленными заколками старательно и прочно прикрепляет уши. Уходит. Володя снова смотрит на себя, как на уже окончательную редакцию Старого Зайца. Смотрит с презрением и ненавистью. Потом, не отрывая от себя взгляда, резко дергает головой вперед. Уши покачиваются, замирают... И еще раз дергает, смотрит с неизбывной мукой на эти уши, качающиеся над гордой головой артиста, и опять шепчет — ушам, себе, стране и судьбе: «...вашу мать... вашу мать...» Тихо колышутся уши над могилой надежд — надежд на счастливую актерскую жизнь, на славу, на удачу... Володе, однако, судя по всему, осточертели эти похороны, надо же иметь мужество жить, даже когда жизнь совсем нехороша, и он встает, взбивает до должной пушистости примятый стулом хвостик и ядовито говорит мне: «Ну что! Поскакали на нашу лесную полянку!»

Да и нам с вами тоже пора. Поскачем теперь с полянки — вновь на «Таганку»... Там уже нас заждался Шапен, покинутый ради рассказа о Володе Фоменко. У Любимова, как известно, слабость к пению под гитару, и Шапен при показе в театр не играет никаких отрывков: зачем? Когда у него есть неотразимое и типично таганковское оружие — гитара и нестандартный (и вместе с тем вполне профессиональный) вокал. Вот он и применит это оружие, спев на показе сумасшедший шлягер итальянской эстрады под названием «Селена», что в переводе означает «луна». Шапен знает, собственно, только одно это слово по-итальянски, ибо к итальянскому языку имеет такое же отношение, как, предположим, Челентано — к ямало-чукотскому диалекту, и его крепко стесанное крестьян-

ское лицо вписывается в итальянскую эстраду, как бы это помягче сказать, не сразу. Ну вот как если бы посреди хора имени Пятницкого появился вдруг Майкл Джексон в лаптях и кокошнике и запел «Рябину кудрявую»... Хотя, подождите, в этом что-то есть... Все газеты мира дорого бы дали за такую фотографию...

Эклектика все же бывает иногда очень обаятельной. Вот и у Шапена — удаляя попытку сбросить лапоть и примерить на себя Апеннинский сапог, эта дерзкая вылазка в тыл итальянской эстрады приносит свои плоды. Хорошая творческая наглость ценится на «Таганке», и Шапен на известном только ему тарабарско-итальянском языке укладывает там всех своей «Селеной». Любимову «Селены» достаточно, и он безоговорочно принимает Шапена в театр, о чем, кстати, потом вовсе не жалеет.

Уже не так много времени остается до перемен — в стране, в театрах и людях. Скоро Театр драмы и комедии на Таганке будет уже по жизни оправдывать свое название: в нем разыграются такие драма — до смеха и комедия — до слез, такой жизненный спектакль, что черти будут аплодировать стоя. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь монолитный кулак «Таганки» сначала разожмется, а затем и вовсе распадется на ампутированные злым роком пальцы? Кто пишет биографии театров и людей, да так, что не приснится и самому безумному драматургу?

Бог ведь... Да-да, вот именно, ЕМУ ведомо, какую пьеску сочиняет Люцифер для Театра на Таганке, более того, ОН позволяет разыграть ее и вселиться бесу в главных героев. Почему позволяет, почему не вмешивается? Или Театр не выдержал испытания «медными трубами» и получил свое? Или был слишком политизирован и шел не туда, куда ЕМУ было угодно? Или нам всем решили еще раз напомнить, что либо власть и борьба за нее, либо Божий дар? И если ты вяжываешься в кровавую драку за свое место, то потом не жалуйся, что у тебя этот дар отнимают и ты уже — не творец, а функционер. Много «почему», и не мне, и не здесь, на этих страницах, с этим разобраться.

Можно только еще и еще раз пожать уныло плечами и тоскливо удивиться, как «средоточие свободы» могло превратиться в средоточие самого громкого в театральном мире скандала. Кто бы мог вообразить, что наступит такое время, когда билеты на «Таганку» не надо будет доставать — они станут продаваться свободно; что в зале будут свободные места, а иногда очень много свободных мест; что ломиться туда уже никто не будет. Да и вообще кто мог себе представить, что их будет две! Две «Таганки»! Что главный режиссер и его первый ученик превратятся в почти фарсовую пару, что их дружеская многолетняя привязанность внезапно отомрет, будто ее и не было, а еще точнее — будет только мешать, связывать руки, сковывать движения в драке, поэтому ее, как ненужные пути, придется разорвать и выбросить. Главный режиссер покинет осиротевшую труппу и постылую Родину, уедет за границу и научится там жить (позвольте воспользоваться газетной терминологией той поры) — по «волчьим законам капитализма», а затем, вернувшись, покажет его «звериный оскал» тем артистам, которые ждали его, как отца родного, но оказались ему не нужны. Он решит отфильтровать нужных артистов от ненужных, а ненужных выкинуть на улицу, несмотря на то, что все они любили его безоглядно и верно — верили ему, и верили в него, и дружно боролись за его возвращение. Собачья преданность часто вознаграждается пинком, а в мире бизнеса друзей нет, есть только партнеры — вот такой первый урок получили наивные русские артисты от вернувшегося из капиталистических джунглей своего вожака. Однако вскоре выяснится уж совсем грустное: что новоявленная «акула мирового империализма» может творить только в условиях борьбы и охоты, что она могла только талантливо и

с выдумкой кусать за задницу советскую власть, а когда советской власти не стало, она начала терять зубы. И творческих потрясений уже не будет, останется лишь легенда о нем и его команде, да еще о тех красивых штормах, которые они устраивали в обычном море театральных иллюзий.

Ну а другой — его первый и любимый ученик — станет (подумать только!) министром культуры, а затем одним из первых коммунистов в Государственной Думе. А коммунисты всегда против капиталистов, и, поскольку мировой капитал и его, как уже сказано, «волчьи законы» будет олицетворять в театре его учитель, они просто обязаны будут встать по разные стороны баррикад. Баррикады тоже будут, почти в прямом смысле, министр отвоюет второе здание, и в нем разместится другая часть трупы, другая «Таганка». А еще вчера — все друзья и единомышленники... Таганская метаморфоза и дальше будет развиваться по принципу «театра абсурда»: однажды, накануне Пасхи (что характерно!), во втором здании произойдет торжественное заседание коммунистов, посвященное дню рождения Ленина, и аккурат на том же самом месте, где когда-то — то скрытно, то явно — издевались над советской властью, она вдруг возьмет и воцарится. Пусть на несколько часов, но перед Пасхой как раз «воистину» воскреснет. И огромный бюст Ильича будет возвышаться на сцене; и будет там трибуна, и докладчик, и красные знамена — все как полагается! И будут ораторы, и вчерашние коммунистические лозунги вдруг снова прокаркают, и не где-нибудь, а именно над залом легендарного театра, над бывшим гнездом оппозиции тому режиму, над разоренным гнездом свободы и честности. Разоренным сначала амбициями, затем враждой и в конце концов ненавистью...

Вот такие, понимаете ли, уважаемые господа (или товарищи — на выбор), озорные повороты делает иногда фортуна. Вероятно, она, фортуна, слегка актриса: ей непременно надо нас или рассмешить, или поразить, или ужаснуть (в случае с «Таганкой» — тоже на выбор).

А мой друг Филатов будет горестно стоять между этими политическими жерновами и соображать: какое из двух зол принять, и какое зло следует считать меньшим? И выберет. А Шапен выберет противоположную сторону, но ни славы, ни успеха даже, ни обыкновенного благополучия ему это не принесет.

Так вот, именно Шапен показал автору в общезитии первые три аккорда на семиструнке, и этого оказалось достаточно, чтобы душа у автора запела и выяснилось, что он может сам сочинять мелодии. Ему иногда было достаточно даже балалайки. В реквизите Шукинского училища имелась одна. Однажды, перестроив три балалаечные струны, как первые три струны на гитаре, и воображая себе, что держит в руках банджо, он сочинит в сопровождении этого треугольного банджо мелодию к новым стихам Филатова «Акробат». «Жизнь у акробата трудновата», — с большим энтузиазмом поется и с не меньшим — слушается, а уж припев: «Соленый пот не для господ, моя галерка в ладоши бьет», — подхватывается обычно всеми сидящими и стоящими рядом, и, значит, песня обещает стать популярной хотя бы в театрально-цирковой среде.

Ну а «Оранжевый кот», или по-другому — «Цветная Москва», принесет авторам не вполне оправданный успех уже в масштабах города. Произведение, на сочинение которого авторы затратили аж минут пятнадцать, поется потом во всех вузах Москвы, и это — один из непостижимых для меня секретов успеха. Почему те песни, которые мы с Леней считали серьезными и заслуживающими внимания, не знает никто, а простенькую песенку «Оранжевый кот» знают?.. Кажется, мы с Филатовым даже стеснялись слегка того успеха, который пришелся на ее долю. Она ведь стала в каком-то смысле народной, чем-то вроде городского студенческого фольклора.

Стали «народными» и некоторые другие наши песни. Отделившись от авторов, они отправились в свободный полет и стали жить своей жизнью. Свобод-

ны — значит, ничьи. Персонально — ничьи. Песни всех и для всех. Общие. А значит — народные! Ну и слава Богу! Потому что если разобраться, если очистить восприятие от мелкого мусора тщеславия, поймешь одну простую вещь: если ты лично дал жизнь хоть одной «народной» песне, то уже не зря топтал землю и коптил небо, и пусть она там летает себе без фамилий. А ты будешь знать — но спокойно, скромно, дома! — что ничего «народного» не бывает, что народ персонифицирован и за каждой частушкой стоят конкретный Иванов, который ее придумал, и Сидоров, который дополнил.

Противно только, когда твою песню кто-то специально присваивает, полагая, что если она «народная», то этот абстрактный народ с него никогда не спросит. Хотя и это тоже скорее забавно, чем неприятно. Один очень известный певец пел нашего с Леней «Полиция»; пел в ряду своих песен, слова и музыку к которым сам написал; авторов «Полиция» он и не упоминал, потому что: а зачем? Поэтому песня эта, как бы автоматически, сама собой воспринималась как его новое произведение. Это было тем более удивительно, что к этому времени я ее уже всю исполнял в оркестре Утесова. Но на вопрос, зачем, мол, он это делает (ведь мог бы в конце концов объявлять хотя бы автора стихов), он посмотрел этак наивно, чуть наивнее, чем следовало для правды, и так стереотипно и ответил: «А я думал, эта песня народная».

Некоторые наши песни мало того, что стали жить своей жизнью без родителей, но даже обросли своими легендами, что, конечно, для родителей и почетно, и приятно, и... опять-таки смешно. «Смешно», впрочем,— слово неточное (по крайней мере для одной из легенд), и полного представления о сути легенды не передает. А суть ее настолько трагикомична, что просится на бумагу, и даже не просится, а прямо-таки требует, чтобы ее изложили. Быть может, она и не покажется вам такой уж особенной трагикомедией, но автор, питающий к этому жанру безграничное уважение, до сих пор убежден, что самое смешное происходит иногда на похоронах, а самое трагичное — на свадьбах. Автор вообще (иногда вовсе не к месту) бывал неприлично смешлив. На одних похоронах ему пришлось даже поскорее отойти от гроба, чтобы люди не заметили, что наворачившиеся слезы — отнюдь не попытка оплакать покойника, а совсем наоборот. У директора театра тогда умер отец, и директор попросил секретаря комсомольской организации помочь ему в ритуальных мероприятиях. Парень помогал так, что его старания были заметны не только директору, но и всем прочим, хотя покойного никогда не знал и увидел его только на кладбище. Однако он очень старался, потому что был не только комсоргом, но и артистом, а в театре как раз в то время не было главного режиссера и все вопросы — вплоть до распределения ролей — решал директор. Ну и парень подумал, что в этом деле лучше перестараться, чем недостараться. И только в самом конце чувство меры изменило ему настолько, что он свел на нет все свои предыдущие усилия. Стоя у гроба рядом с директором, он вдруг зарыдал так, что любая профессиональная плакальщица с предгорий Кавказа на его фоне почувствовала бы жуткую неловкость от того, что даром ест свой хлеб. Директор долго косился на горящего изо всех сил комсорга, но чего-чего, а чувства юмора у него всегда было предостаточно, и в конце концов он не выдержал и сказал тому вполголоса, будто утешая: «Ну-у, ну-у, перестаньте так убиваться, ведь это все-таки мой папа умер, а не **ваш**», — и встретился глазами с автором. И автор, тихо скуля от подступающего смеха, удалился от гроба подальше.

Филатов тоже рассказывал историю, как один деятельный тип провожал в последний путь своего товарища. Он бросил в могилу традиционную горсть, пошлепал ладонями, стряхивая с них землю, затем обвел всех присутствующих тяжелым взглядом и сказал: «Та-а-ак!» И что означало это «та-а-ак»? То ли он об-

винил кого, то ли хотел намекнуть, что, мол, с этим мужиком уже разобрались и кто теперь будет следующим?.. Или же: «Та-а-ак! Это дело я сделал, что там у меня еще на сегодня?..» Словом, этот тип внес в традиционное течение обряда нотку комичной глупости, какой-то нелепый диссонанс. Так что я настаиваю на трагикомедии как на самой острой, экстремальной форме искусства и постараюсь наделить именно ее чертами нижеследующую новеллу, легенду номер один, которая будет называться...

Плаггиатор

Жил-был один молодой человек. Он слонялся по жизни, не очень четко понимая, где будет его настоящее призвание, есть ли оно и вообще — стоит ли об этом думать. Но... чего-то хотелось... Очень хотелось **чего-то**... Хотелось как-то самовыразиться. Как поется в одной эстрадной песне: «Иду я куда-то, о чем-то мечтаю». Ах, это дивное время, это смутное брожение души, когда чего-то хочешь, но не знаешь толком — чего; что-то любишь, но его пока нет; о ком-то вздыхаешь, но вы еще не знакомы; о чем-то мечтаешь, но оно где-то вдалеке, и что это такое — совсем неясно. Есть только одно — томление. Томление есть, и оно гонит тебя на улицу, тебе непременно надо где-то шляться, идти в незнакомую сторону, искать место — например, вот это пустое кафе, уютное, как детектив Агаты Кристи. Обязательно пустое, чтобы никто не помешал твоему медленному наслаждению тоской и одиночеством; чтобы ты сел за дальний столик, в самый угол, заказал первую дозу и после ее приема пришла бы привычно она — вот эта самая загадочно-сладкая тоска; чтобы она разлилась в груди и растопила бы в себе сердце. Такое, знаете, типично русское занятие — грустить...

И пусть бармен посмотрит понимающе и спросит: «Еще?» И ты с улыбкой кивнешь, и тебе еще нальют и даже принесут, и сок апельсиновый будет рядом стоять, и еды пока — никакой; и уборщица пройдет мимо, елозя тряпкой и тихо ворча: «Ходят тут, шляются, вздыхают, счастья ищут, дураки...»

Словом, кто выпивал в одиночестве, тот понимает... И догадывается, что продуктом такого брожения может оказаться... да что там «может»! — должно оказаться вино творчества (пардон за пафос).

Так вот, все это у нашего героя было. И искало выхода. И случайно нашло...

Однажды в группу фильма «Молодые» постучался молодой человек — такой с виду неспортивный, застенчивый, даже смурной молодой человек в очках и с гитарой. Уж и не знаю, нужна ли им была в фильме песня, но он ее предложил. Какая-то тайна стояла за ним, и на мрачном, сосредоточенном лице должно было угадываться трагическое тавро гения. А кто не угадает, тот просто слеп и глуп. И недостоин общения.

Все поначалу посмотрели на вошедшего с видом: а этому-то что здесь надо?

Тут надо отметить, что вот чего не было у работников «Мосфильма», так это скромности или робости, скованности в общении или того хуже — стеснительности. Они были простые ребята, и все эти глупости только мешали работе.

А помогало как раз прямо противоположное, то есть раскованность, беззастенчивость, обаятельная детская фамильярность и так далее и так далее, ряд можно продолжить...

Деликатности вот еще у них не было. Поэтому на вошедшего посмотрели с тенью любопытства, означавшей, что ему дается секунд десять, чтобы заинтересовать. Не заинтересует — пошел вон...

Но ему, однако, удалось. Без вежливых формальностей, не здороваясь и не представившись, он прошел сразу в угол с таким видом, будто не они ему, а, наоборот, он им позарез нужен. Мол, они его уже давно достали, оборвали ему телефон, и все время только мешают тому «волшебному», что творится у него внутри. Словом, с видом «ну так уж и быть, только отстаньте» молодой человек молча сел на свободный стул, не спеша расчехлил гитару и великодушно пробормотал заинтригованной группе, что он для них тут кое-что набросал. Щедрые брызги таланта на недостойной ниве кинематографа! Группа такого подарка не ждала, но, повторяю, была заинтригована: странный, необычный тип, нетипично себя ведет...

И тут он им выдал! Он исполнил песню под названием «Пушкин» («Гает желтый воск свечи...»), опус номер — уж и не помню какой — Леонида Филатова и Владимира Качана. Выдал, разумеется, как собственное озарение (ведь для того и пришел) и в манере, скажу без ложной скромности, автора читаемых вами строк. Магнитофонные записи автора тогда уже всюду крутились по Москве, и склишировать его манеру пения было просто. Так или иначе паренек и на группу, и на режиссера впечатление произвел. И вот как спел — так оно в конечном итоге на экран и попало. Автор увидел это кино по случаю, лишь через несколько лет, но не сильно опечалился тем, что еще одну «народную» песню кто-то присвоил. Да и Филатов тоже, когда узнал об этом, лишь небрежно отмахнулся: «А! Ну и черт с ним, сочиним чего-нибудь еще». И, правда, сочинили...

Но если и была какая-то бледная тень досады, то только оттого, что в исполнение песни «Пушкин» он решил добавить слезливости, и это ее не улучшило.

К слову, этим грешили многие авторы и исполнители песен, будто имея в виду определенную цель — выбить слезу. Хоть оголтелым сантиментом с дрожью в голосе, хоть доской — неважно, но — выколотить. Как спела одна эстрадная девушка: «Скатилась в шляпу мелкая монета, а следом по щеке — огромная слеза!» Прямо водянка какая-то! Огромная слеза — и тоже в шляпу...

Однако чаще всего плакать было не от чего и незачем. Один знакомый сказал по этому поводу фразу исчерпывающую: «Творчество многих наших бардов — это ностальгия по неосознанному».

Но это так, апарт, отошел на полминуты с тропы в кусты рядом... продолжим. Последний эпизод. Через несколько лет я приехал на гастроли в какой-то город, кажется, в Казахстане. Индивидуальные были гастроли, так сказать — соло. По линии Бюро пропаганды киноискусства (представьте, было такое бюро). И это «бюро» давало возможность артистам зарабатывать деньги, рассылая их поодиночке со своими программами по большим и маленьким городам всего СССР, снабжая при этом роликами из кинофильмов, в которых они снимались. Вот и я сделал в один прекрасный день такую программу и стал ездить.

Эта поездка в Казахстан была тяжелой: много концертов и много переездов, и, кроме того, я иногда попадал в такие места, где меня мало кто знал, мало кто понимал, и добиваться сочувствия аудитории приходилось с боем. И вот эта гастроль подошла к концу. Мне взяли билет на проходящий поезд в Москву и оставили на вокзале. По расписанию поезд должен был прибыть через час. Я отправился ждать и заодно ужинать в вокзальный ресторан. Ресторан был почти пуст, только за одним столиком сидела компания молодых людей с водкой и гитарами. Они тихонько, не нагло пели песню за песней. Очередную песню я узнал (я вообще ее хорошо знал) — «Пушкин» называлась... После того как ребята ее с чувством исполнили, я подошел к их столику и нормально, без агрессии, а просто из чисто академического любопытства поинтересовался: что за песню они только что спели? Мне ответили...

— А кто это сочинил? — спросил я, желая поскорее узнать фамилию этого незаурядного человека.

И мне рассказали — взахлеб, перебивая друг друга — печальную историю (а на самом-то деле — легенду, миф!) о некоем самородке, который спел эту песню в фильме «Молодые», но, сочинив ее, видимо, так в нее вложил, так себя истратил, что больше, к сожалению, так ничего и не смог написать. И спился...

Я сочувственно покивал, сказал: «Спасибо, извините, что побеспокоил», — и отошел...

«Вот драма-то где! — думал я, сидя опять за своим столиком. — Это же надо! Несколько лет внушать всем окружающим и самому себе, что это ты сочинил, уже приучить всех к этой мысли и самому постепенно привыкнуть. Уже привыкнуть к маске смурного, непредсказуемого самородка, который спит-спит и вдруг как даст! — нечто такое... такое даст!.. Может быть... чего все знакомые от него уже давно ждут, но он почему-то все медлит... Но уже вот-вот, скоро он всем покажет такое, что все ахнут в изумлении и восхищении!.. Каково это! Носить такую маску и годами так ничего и не выдавать по причине того, что-де природа выброса у настоящего гения — таинственна и внезапна, как извержение вулкана, поэтому пока — только молчать, грозно молчать, якобы накапливая в себе огненную лаву слов и мелодий...

Ну и пить, конечно, вот как Есенин или Высоцкий... И при этом знать — там, в самой глубине, что песню, ту единственную, за которую тебя уважают, ты украл, что ты не тот, за кого себя выдаешь, что ты все время только делаешь вид, что можешь, а сам не можешь ничего, и что Есенин и Высоцкий хоть и пили, но писали хорошо и много, а ты... И носить, носить эту занозу в себе, и она будет ныть и мучить, а вынуть нельзя, потому что тогда надо будет признаваться: я не тот, простите!.. А тогда уж — совсем катастрофа! Отваги на это нет, и заноза постепенно превращается в нарыв, надрыв, разрушение себя изнутри. Выхода не видишь, и остается только местный наркоз — водка и общий наркоз — много водки. И смешно, и страшно, и жалко...»

Подошел поезд. Я уехал...

Легенда № 2. Несчастный белый офицер

Еще одна компания молодых людей. Несколько юношей и столько же девушек. Всем уже более-менее понятно, кто с кем будет, взаимные интересы определились, танцы и любовь — не за горами, уже скоро... Однако есть еще общепризнанное оружие массового поражения женщин — это лирические песни под гитару. Когда уже любовный зной сгущается над комнатой, за окном темнеет, но свет не зажигается; когда все начинают разговаривать вполголоса; когда случайно встречаются руки — и взгляд уходит от ее лица не так поспешно, а потом и вовсе нагло застревает в ее глазах, смущая, предлагая, обещая... то есть когда поле уже вспахано и даже засеяно, тогда остается только пролиться дождю — и все взойдет и зазеленеет.

Этот дождик (практически из слез) вызывается тем самым оружием массового поражения, песнями под гитару, отчаянным сантиментом исполнителя, невидного в общем-то мужчины, юноши, молчавшего до поры в углу. Он может петь даже плохо, но содержание подкупает. Все затихают. Всем начинает хотеться любви не простой, а возвышенной и поэтической; неизбежный предстоящий «разврат» облагораживается романсом; все будет для девушек не так досадно: одно дело, знаете ли, — не уважать себя за то, что отдалась первому встречному, и совсем другое — знать, что уступила романтическому порыву. Пусть все и не закончится настоящей, большой любовью — неважно: надо же ее

искать, продолжать попытки, а сидя дома — разве что найдешь? Как поется в одной песне одной девушкой одному юноше: «Я другими тебя заменить не сумела. Видит Бог, я старалась, я этого даже хотела». То есть как она «старалась» и через скольких в это время прошла, можно только вообразить, однако не будем тревожить собственную фантазию, а просто почувствуем уважение к этим стараниям, к этому колоссальному объему работы и пойдем наконец, что все это было не банальное б...во, а поиски счастья...

Этим оружием массового поражения автор тоже когда-то пользовался широко и беззащитно, но быстро перестал, решив, что это унижает его чувство собственного достоинства, что при этом любят вовсе не его, а его песни. А поскольку автор был горд и самолюбив, он не смог позволить себе попирать вот таким образом свою честь, перестал ездить в гости с гитарой и, наоборот, только злился, если его просили в какой-нибудь компании спеть. Вот тут, как правило, уже злилась компания, полагая со своей стороны, что он только капризничает и кокетничает. Автор к тому времени считал себя в этой области профессионалом, а какой профессионал любит работать в гостях? Врачи или адвокаты тоже ведь терпеть не могут, когда после пары рюмок к ним подсаживается кто-то и, начиная как бы издалека, с погоды, плавно переходит к тому, что, мол, странно, в последнее время у него вот тут что-то побаливает. «Что бы это могло быть?» — задает он вроде риторический вопрос куда-то в воздух и вроде бы и не ждет никакого ответа. И врач, тяжело вздохнув и отложив вилку, начинает консультацию. Так и тут, совершенно случайно в каждой компании где-то лежала гитара и наступал момент, когда все хотели послушать. Говорят, один раз, когда Высоцкому в гостях вот так же вынесли гитару и один пожилой дядечка сказал: «Может, вы нам все-таки споете?», Высоцкий спросил: «А вы по профессии кто будете?» «Я генерал». Тогда Высоцкий вполне логично предложил: «А может, тогда вы нам тут немного постреляете?»

Я же придумал свой ответ. Я говорил: «А где вы видели сталевара, который ходит отдыхать к родному мартену?» Но все равно обижались...

Однако многие мои знакомые не стеснялись почти до старости использовать гитару и песни только для того, чтобы овладеть девушками. Не без гордости отмечу — в том числе и наши с Филатовым песни. Когда я в студии записывал, например, песню «Провинциалка», ко мне подошел один из сотрудников и, нимало не смущаясь, поведал о том, со сколькими девушками ему удалось сблизиться благодаря этой песне. То сам, говорит, исполнял, то на магнитофоне оригинал заводил — меня, стало быть... Эффект был безошибочным, девушки млели, таяли и были готовы на все. Ни разу, говорит, отказа не было. Надо полагать, это был комплимент такой, это он песню так похвалил, что, мол, не надо крутить никакого порно, не надо поить крепкими напитками — спел, и все! Она (песня), мол, сама по себе — такой возбудитель, что-то вроде виагры, специально для женщин с развитым воображением. Ну как тут было не испытать законную гордость от того, что мы с Филатовым ухитрились сочинить такую сексуальную штучку, сами об этом не подозревая!..

А уж «народная» песня «Дневник прапорщика Смирнова», которую называли: кто — «Танька», кто — «Мы шатались на Пасху», — это вообще отдельный разговор.

Прапорщик Смирнов — кстати, персонаж, специально выдуманный для песни. Тот самый прапорщик, из белых...

Но если учесть, что мама автора музыки носит девичью фамилию Смирнова, что ее отец, а стало быть, мой дедушка, — тоже Смирнов и тоже из белых; что он перешел в свое время на сторону красных не по политическим соображе-

ниям, а по причине горячей любви к бабушке, которая была в противоположном лагере и служила в отряде Котовского; и при этом иметь в виду, что Филатов, когда пишет стихи про Смирнова, обо всем этом и понятия не имеет, то вся история с этой песней начинает приобретать уже личную и почти мистическую окраску. Кроме того, она сочинена с очевидным сочувствием к несчастному белому офицеру, который в бегах по всему миру не может никак забыть свою Таньку и свою поруганную отчизну, а это уже почти криминально в столице социалистического лагеря.

Кстати, о лагере: пишется, а затем поется этот монолог с лагерным надрывом, еще чуть-чуть — и пьяная истерика. И чего там только нет: и Танькино фото, которое он таскает с собой по всему свету, всхлипывая над ним в тяжелые минуты, и вскрытие себе вен холодной ночью, и мадьярская цыганка, и чахотка, и татарин Ахметка, проститутки и воры, шулера и князя — словом, весь джентльменский набор, использованный для того, чтобы песню слишком серьезно не воспринимали, чтобы она выглядела почти пародией. Все, кажется, было сделано для этого и пелось соответственно, но... нет! Конечный результат оказался обратно пропорционален задуманному: все ее стали принимать всерьез. Меня даже как-то вызвали в райком комсомола и деликатно посоветовали не петь ее публично, чтобы не портить себе биографию из-за такого пустяка. И я с тайной и трусливой гордостью несостоявшегося диссидента пообещал не петь. А-а! Чего там! У нас их еще полно! Тем более что от ее полублатного надрыва и самому как-то неловко. Однако ей, песне этой, мое мнение, авторство и даже предательство — были уже до фени; она прозвучала на нескольких концертах, была записана на магнитофоны и самостоятельно отправилась в дальний поход по Советскому Союзу, растлевая и развращая комсомольцев и других советских людей. Стала, короче, опять-таки «народной».

Время от времени она подавала о себе весточки. Уже лет десять, как я ее не пел и успел позабыть об ее существовании, когда меня разыскал один певец с просьбой: дать слова и ноты этой песни, чтобы ею попользоваться в ресторане, в котором он в то время выступал. Ни того, ни другого я дать не мог, потому что слова помнил лишь фрагментами, ну а ноты... Автор в принципе знал, что они существуют, знал даже, как их зовут — до, ре, ми и так далее, но в нужном порядке они располагались только у него в голове, а чтобы на бумаге — об этом и речи не было. Это вроде как — грамоте не обучен, но говорить умею... Но тот самый ресторанный певец авторов знал, поэтому сначала обратился к Филатову за текстом. Филатов стихи свои тоже помнил довольно смутно и отправил певца к другому первоисточнику, полагаю — чтобы только отделаться. Выяснилось, что напрасно гонял, второй автор тоже ему ничем не смог помочь.

А хотелось, потому что певец сулил за исполнение песни хорошие авторские отчисления.

Отчисления, читатель, — это просто деньги, которые соответствующее агентство переводит авторам за исполнение их произведений. А если произведение пелось в ресторане, это было особенно выгодно, так как процент отчислений шел от общей ежевечерней выручки ресторана. Сам процент обозначался цифрой ничтожной, но если прикинуть, от какого количества водки и бифштексов, получается много. То есть мы с Филатовым просто купались бы в деньгах!.. Если бы, разумеется, певец свое обещание выполнил и заносил бы наши фамилии в стандартный документ, именуемый «авторской рапортчиком». (Этот чудный термин, видимо, происходит от слова «рапорт».) Но он бы не выполнил...

Это выяснилось позже. Выяснилось, что он был высокоталантливым мистификатором и вдохновенным аферистом. Он всю свою жизнь соткал из мифов,

которые сам про себя придумал, а потом в них поверил. Комплексов у него и в помине не было, он был феноменально, очаровательно бессовестен, что и помогло ему стать, если так можно выразиться, лидером белого движения в социалистической и постсоциалистической России. Он собрал коллекцию «белогвардейских» песен, дал им свое имя, и, конечно, «Дневник прапорщика» был бы ему весьма кстати.

Он пустил слух, что принадлежит к старинному русскому дворянскому роду, а его дед (князь или граф), будучи поручиком царской армии, яростно боролся против большевиков и орошал своей кровью поля гражданской войны. Поэтому, имея скромную еврейскую фамилию, он сменил ее на — как ему казалось — красивую и дворянскую, которая сама по себе звучала, как титул.

Туда прибавился еще и миф о том, что он сидел в тюрьме, потому что был правозащитником, узником, так сказать, совести, в то время как «узник совести» сел всего-навсего за попытку изнасилования. Короче, человек гениально переписал свою биографию, которая сама выглядела теперь как печальный и честный белогвардейский романс. Один миф нанизывался на другой с несокрушимой логикой, и все создавало совершенную картину, вернее — совершенный образ дворянина, пострадавшего за правду и честь от мерзкого социализма, но все-таки нашедшего в себе силу петь. И этот образ во время начавшейся «перестройки» оказался более чем уместен. Он, что называется, попал в струну...

Но тогда, не получив искомого, ушел певец последнего русского дворянства ни с чем, потопив, очевидно, досаду в своей «голубой» крови. Случай уберег тогда нашу с Ленею песню, а то бы она теперь, уж точно, была даже не «народной», а именно его, ему принадлежащей.

Во второй раз эхо «Прапорщика Смирнова» докатилось до меня, когда я случайно увидел телепередачу «Нью-Йорк, Нью-Йорк», будто специально включив телевизор на реплике ведущего, что он, мол, получает упреки от телезрителей в том, что мало говорит о музыке, и сейчас тоже говорить о ней не станет, а лучше споет одну песню, которую знает со студенческих лет (это немудрено: он учился в том же Щукинском училище). И он спел... Угадайте с трех раз, что?.. Правильно, садитесь, пятерка вам...

Спето было под простой фортепьянный аккомпанемент и с элегической грустью. Из всего следовало, что он тоже авторов не знает и что, видимо, песня возвращается к нам из русской истории, а точнее — из братоубийственной войны 1918—1922 гг. Все бы было ничего, где-то он немного врал мелодию, где-то много; кое-где так, по мелочи, — слова, но вот одна его «вольность» вызвала во мне оригинальную смесь возмущения и смеха. Там в конце есть такие слова: «Мы же русские, Танька, мы приходим обратно, мы встаем на колени, нам иначе нельзя». «Обратно» — это в Россию, без которой, стало быть, не можем — вот что имелось в виду. Так вот, он спел совершенно другое: «Мы приходим в охранку». Вероятно, версия о том, что русские, оставшиеся на родине, обычно приходят в охранку, греет сердце русского эмигранта. Он еще раз убеждается в том, что правильно сделал, покинув такую Родину. А вялые приступы ностальгии можно залить помоями «охранки» (или КГБ), ее ужасами и предательствами. Однако, согласитесь, между русским эмигрантом первой волны и нынешним обитателем Брайтон-Бич есть некоторая разница, примерно такая же, как между графом Шереметевым и Семой с Дерibasовской. Но Семе тоже нравится, когда русские приходят в охранку. Тому Семе, который теперь на Брайтон-Бич и который тоже зовется там русским эмигрантом. Семе, который остался, такое и в голову не придет, что русские приходят в охранку, а вот Сема с Брайтона порадует, что вовремя свинтил из России. Таким образом, горестный вокал ведущего по поводу того, какие же мы, в сущности, падлы, выглядел большим подар-

ком для Брайтона и оскорбительно-забавной ошибкой для автора, в особенности — стихов.

Ну и наконец третий привет от этой песни, пустившейся в свое время в автономное плавание, мне передал мой приятель и тоже выпускник Щукинского училища — Гена Матвеев. Он рассказал о том, что сидел как-то раз в компании девушек и представителя одной знаменитой актерско-режиссерской династии (да что так застенчиво, в конце-то концов! Свои ведь люди, чего там!) — Рубена Симонова. А Рубен был внуком того самого Рубена, который принял театр после Вахтангова, а после него театр возглавил его сын — Евгений Рубенович, от которого и произошел тот самый Рубен, о котором речь; и если у Рубена будет или есть сын, он опять будет зваться Евгением, а внук — опять Рубеном... Понятно, да?.. Мне тоже не все понятно, но это не имеет значения...

Для рассказа имеет значение лишь то, что Рубен поет девушкам пресловутый «Дневник прапорщика»; поет, по словам Гены, с глубоким чувством, переходящим, как водится, в надрыв. Он использует песню как оружие массового поражения противоположного пола (об этом уже сказано выше, но пусть будет еще конкретный пример с конкретным человеком). Он поет, имея в виду стратегическую цель, «блицкриг», быструю победу над девушками, полный разгром их хрупкого душевного мира и последующее стремительное овладение, так сказать, материальной частью. «Надрыв» тут очень помогает. Он заставляет предположить в исполнителе «силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе», а также настоящий мужской темперамент, которого, быть может, девушкам в тот момент недостает. Теперь «овладение материальной частью» уже не составит труда, оно произойдет легко и как бы само собой. Но тут Гена Матвеев портит погоду...

В наступившей после щемящего исполнения песни драматической тишине, в которой барышни, продолжая жалеть несчастного Смирнова и покинутую Таньку, уже готовы к любым вариантам, только не знают — как начать, нужен лишь повод, Гена совершенно некстати произносит: «Да-а! Все-таки молодцы Филатов с Качаном! Сочинили такую песню, а сами даже забыли про нее...»

Какой облом! Ну разве можно еще гаже и бестактнее! Разрушить с таким трудом установленную телепатическую связь между певцом-гипнотизером Рубеном и медиумами-девушками! Ведь если медиум висит между двумя стульями, достаточно лишь неосторожного слова, чтобы он рухнул на пол и очнулся. Вот и девушки уже с вполне трезвым недоумением смотрят на Рубена и Гену, ждут объяснения. Ну надо же! Плюнуть в колодец, из которого сейчас надо было водицы напиться! Уже, можно сказать, дело пошло... а он!.. Взял и вдруг хрюкнул. Испортил все! Мне не известно, спас ли Рубен положение, но попытку сделал (хотя, зная Рубена, думаю, что все-таки спас).

Став белым от (не только родового) негодования, Рубен сказал: «А при чем тут Филатов с Качаном? Эту песню спел когда-то моему деду один белый офицер, дед передал ее моему отцу, а отец — мне». То есть они по наследству не только имена передавали или театр, но и песни тоже, причем в контексте исторической мелодрамы. А если вдруг окажется, что авторы — вполне современные молодые люди, то это уж никуда не годится, это будет некрасивое разрушение красивой легенды. Поэтому допустить такое фамильная честь Рубена просто не могла. Интересно, пришлось ли ему потом отвечать на вопросы: мол, если это правда, если был у деда тот самый знакомый белый офицер, то что с ним потом стало, куда он делся, нашел ли свою Таньку? И если пришлось, то что он придумал, какими подробностями оснастил эту самую легенду № 2 про несчаст-

ного белогвардейского прапорщика?.. Если встречу как-нибудь, спрошу непременно...

И еще — здорово было бы нарядить его в костюм татарина Ахметки, меня — в форму прапорщика (можно и наоборот, это неважно), подыскать женщину лет тридцати на роль Таньки и сфотографироваться втроем. Потом поджелтить эту фотографию (будто бы от времени) и подписать на обороте выцветшими чернилами: «Таня Смирнова, Володя Смирнов, Ахмет. Париж, 1937 год». Был бы еще один виток легенды. Выкрал Смирнов Таньку из Советской России и увез в Париж, а перед этим нашел фамильные драгоценности, зарытые в подвале их старого дома, и стали они жить долго и счастливо. И улыбались бы они (вернее, мы) на фотографии. Не потому, что птичка, а потому, что счастье все-таки есть, и вот оно — на наших лицах!..

* * *

Теперь вы вправе спросить: и чего это он так много говорит о песнях, ставших «народными», несмотря на то, что сам не раз подчеркивал свое легкое и несерьезное к ним отношение? Похоже, у автора на сей счет проблемы... Мается небось от обиды и зависти, разъедают эти нехорошие чувства его слишком раннимую душу, успокоиться никак не может...

И хоть он и старается изо всех сил выглядеть на этих страницах честным и благородным, хоть и старается прикрыть срам собственного тщеславия рваным фиговым листком этакого автосарказма, мы все равно видим, что эти попытки тщетны. Да к тому же прискорбно типичны почти для всех авторов всех мемуаров: все в них хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле.

Пришло время раз и навсегда разобраться автору с самим собой, причем здесь и сейчас.

Для чего мы вообще пишем, сочиняем, поем, рисуем? Чтобы любили, ценили, узнавали на улице? Было бы неправдой сказать, что это нас вовсе не интересует и к славе мы безразличны. Но это ли главное? Определять целью жизни то, чтобы тебя узнавали на улицах, — не слишком ли это мелко? Во всяком случае, для человека, которому уже больше двадцати пяти лет...

Понимаю, в юности хочется как можно громче прокричать, что ты все-таки есть на белом свете. Ну а дальше-то, дальше?.. Посвятить всю жизнь тому, чтобы тебя любили миллионы людей, купаться в славе? Ездить на длинных лимузинах? И **любой** ценой этого добиваться? Если любят миллионы, то в этом есть что-то подозрительное, неправильное, потому хотя бы — что массовое. А массы так доверчивы, так часто становятся фанатами чего-то ложного и ничемного, так часто поклоняются кумирам, которых тут же быстро забывают; их так легко можно увлечь массовым опять-таки гипнозом, что они, массы, мыслят и чувствуют не индивидуально, а толпой, и потому почти всегда неправы.

Я тут не агитирую за элитарность, она для меня сомнительна. Я ее не чтю, поскольку она обычно выглядит как невралгические спазмы забытых и непризнанных интеллигентов. Я о том, что каждый должен идти своей дорогой — нравится это массам или нет. И в этом вопросе авторитетных единомышленников у меня — навалом! Даже тысячи лет тому назад! Вот совсем древнегреческий философ Сенека: «Я никогда не стремился угождать массам, ибо то, что понимаю я, — не нравится массам, а то, что нравится массам, — непонятно мне».

А вот 150 лет тому назад великий русский композитор Чайковский писал, что имел недавно беседу с писателем Львом Толстым, который «совершенно убедил меня в том, что тот художник, который творит, стремясь угодить публике, — не вполне художник. Его творения непрочны, их успех — эфемерен».

Когда я наталкиваюсь вдруг на такие высказывания, то гордо думаю: «Ага-а! Значит, я прав, значит, я не один такой. Вон какие люди рядом!»

А потом думаю: «Ну конечно, им-то легко говорить такое, уже будучи суперпопулярными». И затем меня осеняет: ведь они стали такими **именно** потому, что шли **своим** путем, несмотря на то, что поначалу было, наверное, трудно не поддаться искушению нравиться даже тем, чей вкус в глубине души презираешь. Они не следовали за модой, они ее сами создавали, они носили не то, что все, а только то, что им, как они сами считали, идет, то, что им — к лицу!

Однако тут надо помнить, что гордая слава слишком гордого художника нередко догоняет его уже за финишной чертой. И если его бесит даже намек на холуйство, если его независимый ум и талант возмущает любое панельное ерзание перед (под) клиентом, он рискует при жизни остаться непризнанным.

Но и у слишком гордого художника есть шанс прижизненно быть услышанным и понятым.

И если выпадет ему счастливая карта, то на него обрушится такая слава, его так пылко возлюбят вдруг народные массы, что ему самому станет неудобно. Вот такая популярность, наверное, стоит того, чтобы о ней позаботиться. Хотя он скорее всего и заботиться-то не будет, будет делать честно то же и так же. А славу он **как бы** и не заметит, будет относиться к ней легко и шутливо, с оттенком недоумения: со мной ли это происходит?.. При условии, конечно, что художник не только гордый, но и умный.

Вот Пушкин, например... Пишет письмо жене: «Знаешь ли ты, что обо мне говорят в соседних губерниях? Вот как описывают мои занятия. Как Пушкин стихи пишет. Перед ним стоит штоф славнейшей настойки. Он — хлоп стакан, другой, третий — и уж начнет писать! Это слава!»

Наоборот: переоценивать славу или просто популярность — совсем не полезно, особенно теперь, когда она напрямую зависит от изменчивой конъюнктуры рынка.

Знаете, кстати, почему Задорнов, о котором речь еще впереди, так долго популярен? Он конъюнктуру рынка математически точно вычисляет, он ее знает, как мало кто. А если чего и не вычисляет, то интуитивно чувствует; он сегодня знает то, над чем будут смеяться завтра. И его чутье в этом смысле, по-моему, иногда удивляет его самого.

И еще раз о цене славы и о том, чтобы правильно к ней относиться, чтобы уж совсем нормально...

Крутили одно время по ТВ со страшной частотой один и тот же клип известной русской певицы из Америки. В нем снимался артист Борис Щербаков. И вот как-то раз звонит он мне и жалуется: «Ну ты смотри, что делается! Я народный артист, работаю во МХАТе, играю там главные роли, у меня полно больших ролей в кино, и что ты думаешь? — меня встречают сейчас на улице, узнают, улыбаются и спрашивают: «Простите, это не вы случайно снимались в клипе Любы Успенской “Карусель”?» Ну?! Скажи, стоило всю жизнь работать ради этого?..»

Потом «Карусель» исчезает с телеэкрана, и некоторое время народные массы в упор не видят Борю Щербакова... до тех пор, во всяком случае, пока опять же на ТВ не появится повтор фильма, в котором он играет, «Воры в законе» там или еще что-нибудь...

Ну да Бог с ней, с этой темой, оставим ее...

Помните, сколько-то страниц назад, в связи опять-таки с песней «Дневник прапорщика Смирнова», я упомянул о маме, имевшей ту же девичью фамилию, и о бабушке, воевавшей в отряде Котовского. Так вот, о бабушке, Полине Ивановне Смирновой, мы сейчас и поговорим. Фамилию бабушка получила, соче-

тавшись браком с офицером белой армии Смирновым, инженером по образованию, который потом сгинул без вести где-то в песках Средней Азии в далеком от нас 1926 году.

Мое упоминание о ней — лишь повод для рассказа. Причина же — в другом. Дело в том, что я обещал бабушке, что когда-нибудь напишу про нее. Обещание было дано сгоряча, мне было тогда восемнадцать лет, и я хотел быть только артистом и никем более. Но, видимо, глубоко в подсознании таилось некое предчувствие, что когда-нибудь я сяду за письменный стол и задумаюсь над чистым листом бумаги. Поэтому, еще живя в Риге, я записал кое-что с бабушкиных слов. И вот что странно — эта ученическая тетрадка сохранилась, не потерялась при многочисленных переездах. Когда я вдруг случайно ее нашел, то в который раз понял, что ничего «случайного» не бывает. Бабушка, чью могилу уже и не найдешь на одном из рижских кладбищ, должна обрести вторую жизнь, ожить вновь хотя бы на этих страницах, написанных ее внуком, в его литературных опытах по оживлению фотографий. Если теперь ясновидящие по фотографии лечат, я пойду дальше, я попробую оживить.

Вот передо мной та старая тетрадка и бабушкино фото на листе плотной, толстой бумаги, почти картона. Она там в какой-то шубке, круглой шапочке и на лбу — диадема. На бижутерию не похоже, видимо, бабушкин облик — результат выхода замуж за дворянина; диадема носит черты чего-то фамильного и дорогого. Смирнова можно понять, на фотографии — красавица, звезда немого кино, фрейлина из свиты последней императрицы — кто угодно, только не простолюдника, которой она и была на самом деле.

Взял Смирнов за себя красавицу из народа, нарядил, придел, и получилось то, что на фотографии. Вглядываюсь я в ее совсем еще молодое лицо и шепчу ей туда, в ее «далеко»: «Бабушка, я делаю то, что задумал; слушай теперь балладу про себя — то, что ты рассказала и что потом из этого вышло...»

Бабушка

Начну я с конца. Это были первые похороны в моей жизни.

Мне уже было лет двадцать семь, я сыграл в ТЮЗе несколько главных ролей, пел свои песни в оркестре Утесова, женился и жил в почтенной обеспеченной семье — словом, в полном порядке я был. Однажды в комнату вошла моя наивная теща, держа в руках телеграмму, и несколько растерянно сказала: «Володя, тут тебе **не очень хорошее известие**». Я взял телеграмму и прочел, что бабушка умерла и похороны послезавтра. Ни фиги себе — «не очень хорошее»! Какое же тогда «очень хорошее»? Что тяжело заболела, что ли? А в следующий момент я удивился, что спокоен, странно спокоен, не плачу. А потом подумал, что не плачу, наверное, по причине простой: мозг отказывается принять это известие сразу, только тело вдруг стало слабым и вялым — видно, до него дошло быстрее, чем до головы...

А потом совершенно не к месту: что надо бы запомнить мое состояние, как я чувствую и как себя при этом веду, чтобы потом, если придется, суметь показать это на сцене или в кино. Ведь там надо уметь правдиво показать, как ты воспринимаешь страшное известие, и многие при этом таращат глаза и наигрывают.

«Ага,— подумал я,— надо, оказывается, спокойно, без вскриков и рыданий...»

А потом подумал, что я, наверное, подлец, если думаю об этих профессиональных мелочах в такую минуту. Но не было сознания несчастья, не было ощущения горя — и все тут! Оно пришло позже, когда я оказался в Риге, уже после

бабушкиных похорон... А жизнь ее совпала с моей только в Риге. Большую часть своей жизни она провела совсем в других местах.

Бледные звезды Прибалтики светили над бабушкой все ее последние годы. Неяркое латвийское солнце не грело и уж тем более не жгло. Его было мало для женщины, выросшей на Украине, где звезды крупнее, солнце — жарче и, понятное дело, чувства — горячее. Бабушка была максималисткой. Она заставила свою дочь выйти замуж не за того человека, которого дочь любила, — какого-то малахольного гуманитария, у которого, с точки зрения бабушки, материальные и прочие перспективы были слабыми, а наоборот — за военного. А быть за военным по тем временам значило — быть за «каменной стеной». «Каменная стена», «сильная рука» и «твердое плечо» — это, знаете ли, мечта не только женщин той поры. Если «вьешь гнездо», оно должно быть надежным, лучше из камня, нежели соломы — ветреного материала какого-нибудь поэта или, того хуже, артиста. И можно даже не очень-то и любить, не обязательно вовсе выходить замуж по любви; вполне достаточно любви этого самого военного, чтобы жить хорошо, спокойно, надежно и обеспеченно. Так считала моя бабушка и продолжают считать многие другие представительницы пола, который почему-то принято называть слабым.

Отец во имя своей любви пошел на все, даже на то, чтобы называться Аркадием, в то время как он был Андрей. Так заново окрестила его бабушка, это было ее условие: ну как же, Аркадий — это звучало так благородно, кинематографично, в имени Аркадий, согласитесь, есть какой-то сочинский ампи́р, галифе, ресторан, пальмы, папиросы «Казбек» и офицерский шарм. Слегка отступив, скажу, что советское офицерство — это была особенная каста: переезды туда-сюда, временные места жительства, гарнизонные вечеринки, своя светская жизнь, фильмы, песни, вкусы — все одно. Мама за роялем, отец с папиросой, облокотившись на инструмент, глядит молодцевато на мать, и — «Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука», стол, заставленный водкой, икрой, шампанским, и только офицеры, офицеры, офицеры и офицерские жены, и все хохочут, все уверены в себе и в будущем. Так вот, отец согласился называться Аркадием, и это длилось так долго, что он и сам привык и отзывался уже только на это имя. Однако уже в Риге, спустя десятилетия, он восстал, и бабушка за тот акт перекрещения жестоко поплатилась. Она стала старой, потеряла силу и лидерство в семье...

Годами он ее давил, унижал, требовал ее пенсию до копейки, а она все равно посылала мне в Москву свои десять рублей каждый месяц, и я, когда приезжал, за нее заступался. Словом, отец брал реванш, кровавый реванш... Он ведь был военный и прошел всю войну, сначала позорно отступая со всей нашей армией, а потом — получи, фашист проклятый, за наши сожженные села, за нашу попанную гордость! Вот такую микросхему международных отношений я и наблюдал в семье. Не было в ней ладу. Основного смысла в ней не было, который состоит, вероятно, в том, чтобы все друг другу время от времени не забывали говорить: «Ничего... все пройдет... ничего», — жалели бы друг друга, помогали жить...

В общем, расплатилась бабушка за своего «Аркадия». Кстати, это глупое желание переименовать отца в Аркадия было скорее всего продиктовано ее подсознательной тягой ко всему дворянскому: помните ее замужество, офицера Смирнова и проч.? Надо рассказать об этом, но сначала детство, юность и только потом Смирнов.

Родилась в 1896 году. Девичья фамилия Аксененко. Крестьянская семья. Росла, как мальчишка. Ходила в ночное с отцом. У них были четыре лошади. Ветряные мельницы. Возле мельниц — покос. Заковывали в пута (это я сохраняю бабушкину лексику) лошадей, чтобы в хлеб не убежали, и десять

мальчишек и одна она свертывают кукурузные пленочки с лошадиным пометом. «Кури,— говорят ей,— а то бить будем». Потом, через годы, окончила досрочно женскую гимназию и фельдшерскую школу. Потом на фронт, в конце 1916 года — фельдшером. Брюшной тиф. В больнице — фельдшерица Анна Израилевна Воскобойникова, которая ее выходила и потом тоже помогала. Опять фронт. Походные госпитали. Румынские офицеры с накрашенными губами (согласитесь, мы всякое видели и читали про гражданскую войну, но такое — вряд ли). Ранение осколком снаряда в коленный сустав. Санитар Семен привез в больницу. Врач-хирург Борис Григорьевич Кранцфельд. Нога в гипсе. Сняли — в коленной чашечке нагноение. Хотели отнимать ногу. Предложили — согласилась (а куда деваться!). После операции проснулась, смотрит: нога опять в гипсе, значит, не отняли. «Вот,— говорит,— опять будете мучить, обещали — отрежете ногу и не отрезали»,— и плачет. А ей отвечают: «Нет, тебе ее соперировали и оставили. Только стала короче». Прошло три месяца, стала ходить без костыля. 1917 год. Работает в больнице в городе Николаеве.

Вера Мершавцева, дворянка, соученица по гимназии, у которой снимала комнату, говорит: «Поедем в гости к Пелагее Гавриловне». А у нее квартировали два офицера, один из них (вот!) — подпоручик Смирнов. Встречались. Как-то поехали на полковой бал, перед воротами встала и не пошла, говорит: «Неприлично». А он: «Я бы, Полина Ивановна, на вашем месте тоже так поступил». Были в театре, но он привел ее в тот раз не в гражданском платье, а в форме Красного Креста. А это было запрещено, потому что проституция среди медсестер. И полковник, бывший в театре соседом, на следующий день отправил его на фронт маршевой ротой. Уехал. Три месяца — ни строчки.

Фельдшер Ян Мокряк просит руки. Через отца, а не прямо у нее. Не хочет. Но отец настаивает на замужестве, поскольку богатство у Яниного дяди — помещика. В конце концов соглашается. В один прекрасный день младшая сестра Люба говорит: «Поля, пойдем, Коля приехал. Иди, поздоровайся». Коля — жених Любы, тоже поручик. Думали, что он убит, а он вернулся. «Не пойду,— говорит,— на что мне чужой жених?»

Уговаривает. Идет. Цокают каблучки по коридору в госпитале. Тот сидит на подоконнике, не оборачивается, хотя должен, заслышав шаги, встать и пойти навстречу девушке. А он сидит, в окно уставился. «Извините, Николай Иванович, что задержалась!» А он встает, оборачивается. Ах! А это Володя. (Наш, стало быть, Смирнов. Вот я сейчас пишу это и догадываюсь, что скорее всего меня так назвали в его честь, раньше я об этом просто не думал.) Он, уже поручик, оказывается, выбран на фронте солдатским командиром и депутатом. А сейчас заболел цингой и приехал.

И тогда договорились они со священником по секрету от отца, и их повенчали. А договариваться пришлось еще и потому, что церковь была закрыта. (Ну просто Пушкин — «Метель».) Полковник (тот, что отправил на фронт) должен был держать венцы, но напился. Однако он должен был держать венцы. Значит, все-таки был близким, может, даже другом Смирнову. Но, видимо, дружба — дружбой, а дисциплина — дисциплиной, нельзя было с медсестрами, да еще в форме Красного Креста в театр — и все!

В эти дни позвонил Ян. Сказала ему: не приходи, приехал Володя. Тот повесил трубку. А назавтра уехал. Писал письма: «Если он (Володя) к тебе плохо относится, уходи, я готов...» и т. д. Она писала ему ответные письма, но рвала. Вот таким образом, значит, хранила верность Смирнову. Но от судьбы не скроешься, и они встречаются потом случайно в г. Кисловодске. Идет она с товарищем на почту письма получать и рассказывает ему о Яне, о Володе, о своем клас-

сическом треугольнике. А сама чувствует: Ян близко, вот чувствует, он где-то здесь. Подходят к почте, а он выходит оттуда.

Особых эмоциональных подробностей нет в бабушкином рассказе, однако надо предположить, что у нее, уже жены поручика Смирнова, возник роман с Яном Мокряком, завязка которого произошла намного раньше, но развился он в местечке, декорированном для романов и для романов типичном — в Кисловодске. Двоих, стало быть, бабушка любила. Ходила в невестах у обоих, вышла замуж за одного, но не могла расстаться и со вторым. Да и этот товарищ, с которым она шла на почту и зачем-то рассказывала ему о Яне и Володе, вызывает у меня подозрение. Представьте, молодая женщина с удивительно красивым лицом, что компенсирует ее хромоту после ранения, рассказывает вам, что никак не может выбрать между двумя — гражданским и военным — и что обоих по-своему любит. Тогда вы элементарно становитесь третьим, и проблема отпадает сама собой. К тому же Кисловодск, как уже сказано, располагает, он — заповедное любовное местечко (бывают, знаете, «места для отдыха и курения», а бывают и «места для коротких романов» — Сочи там или Кисловодск...).

Но... навстречу вышел Ян, и большое, вместительное бабушкино сердце с сожалением простило с товарищем, проводившим ее на почту. Впрочем, через двадцать пять лет бабушка и Ян поженились, и эта страница ее биографии мне неизвестна. Про Смирнова известно больше, но это и понятно — все-таки он стал маминым отцом. Она рассказывала об этом легко, нимало не смущаясь моральной стороной вопроса. А что? Треугольник так треугольник, и квадрат мог получиться. Ничего такого... Она вообще серьезных недостатков в себе не видела, не замечала. На вопрос, есть ли у нее какой-нибудь большой, главный недостаток, бабушка произвольно начинала себя хвалить. Якобы ругая. Например, она говорила: «Я слишком добрая». Или: «Открытая, искренняя слишком. Это часто мне в жизни мешало». Интервью с известными артистами иногда проходит в том же ключе. Они точно так же, как моя бабушка, себя очень хвалят, ругая. «Эх, слишком большое, доброе сердце у меня. Отказать никому не могу. Помогаю всем». Или: «Я слишком отходчивый, быстро забываю обиды». Или, например: «Да, я красивая и знаю это. Но моя красота мне мешает. Я вижу, что мужчины хотят от меня одного. Им наплевать на мой ум, на мою душу».

В общем, бабушка хвалила себя, ругая. Оттого, что была максималисткой, конечно, и в большинстве случаев считала себя правой во всем, даже в переименовании отца. Ну, дальше... Началась война на Украине. Немцы на ее территории. С ними дерутся даже рабочие, потому что немцы стреляют во всех, без разбора — и в гражданских, и в военных, и в медсестер. Ну и бабушка опять была ранена. Во время перевязки. На этот раз в плечо. Попала в лазарет, основанный социал-демократами, то есть эсерами, если не ошибаюсь. И через десять дней ее там нашел Володя Смирнов. Она узнает, что Володя был арестован немцами, а практика расстреливать каждого десятого была, оказывается, и в Древнем Риме, и в первую мировую войну, и во вторую, — словом, ничего новенького в этой области не было. Володе повезло, как, впрочем, и мне, иначе я бы и не родился: он оказался девятым. Не пятым, не восьмым, а девятым, до десятого было рукой подать. Но девятый остался жить и выжил в тюрьме, хотя немцы есть совсем не давали.

Ну выздоровела бабушка в социал-демократическом лазарете, попрощалась с Володей, поскольку ее звал революционный долг, и поехала по направлению ревкома к Котовскому, медсестрой опять же. И там, в отряде, даже не знала, где Володя, по каким дорогам гражданской войны шатается ее муж, ее самая большая любовь. Да и какое же место в сердце может занять личное чувство, если все отдано революции! Во вшах, в дерьме, с негнущейся ногой — но до по-

следнего вздоха. И с отрядом Котовского она проходит Каховку, Молдавию, потом отряд вливается в регулярную армию, становится 14-й дивизией Котовского. И уже дивизией гонят, как выразилась бабушка, Деникина.

Комиссаром у них был (очаровательные зигзаги истории!) человек по фамилии Гейне. Если бы командиром был не Котовский, а Гете, было бы совсем хорошо. Март 1919 года. Попали в окружение. Село Граденицы в Молдавии. Их было четыре человека. Заехали во двор к какому-то кулаку и отдали ему своих лошадей в качестве платы за то, чтобы он их спрятал куда-нибудь. А тот лошадей взял, людей спрятал, но предал. Выдал их деникинцам. Ну, повели их в сарай. А кулак экономный был, потому, наверное, и богатый. У него ничего не должно было пропадать. Он догадывался, что их расстреляют, поэтому двум пленным мужикам говорит: «Что ж вы штанов-то, дураки, не жалеете, спать в них ложитесь? Сымайте, а утром я вам верну». Сарай был с каменным полом. Март, холодно, лежат на каменном полу, не кормят, хотя это-то как раз понятно: чего кулаку переводить продукты на тех, кто завтра в землю ляжет. А один из пленных еще и тифом болен. Лежит у бабушки на ноге. Она боится его потревожить, лежит, не двигаясь. Но все же нога затекла, решила повернуться, ногу пошевелила, а у того голова — стук о каменный пол. Посмотрела — умер. Наутро повели их уже втроем к кладбищу. Велели рыть себе могилы. Она не боялась и ни о ком не думала — ни о муже, ни о Яне, ни о ком. И вся жизнь перед внутренним взором, как об этом говорят, не пролетала. Ничего не было, пустота, только рыла себе могилу — и все. Мужчины выкопали быстрее, стали ей помогать. Рыть медленнее им и в голову не приходило.

И вдруг наш конный отряд во главе с комиссаром Гейне влетел (бабушка сказала — «вскочил», это, наверное, точнее, потому что скакали на конях), вскочил, значит, на кладбище, охранников порубал, а бабушку и еще двоих себе-могильщиков освободил. И получается, что мне во второй раз повезло родиться. Я был несколько раз просто на волосок от нерождения.

Пошли воевать дальше за революцию. Настала очередь их дивизии окружить эскадрон деникинцев. Окружали они все время друг друга и убивали. Так вот, окружили они эскадрон деникинцев, а их офицеры, не давая себя расстреливать, стали бросаться в колодец. Не все погибли, стонали там, тогда их сверху добивали из винтовок. Взяли очень много пленных. И поехали — пошли к Одессе. Кто поехал, кто пошел. Наши, говорит бабушка, ехали в повозках, белые шли пешком, хотя, по сути, и те и другие — наши: говорят на одном языке, матерятся одинаково...

«Не наши» идут пешком, среди них много тифозных, кто-то падает прямо на дороге, у остальных нет сил их нести, оставляют, где упал. Вдоль дороги — кукуруза, беляки ее рвут и едят на ходу. Пришли в Одессу. Поселилась она у актрисы, жены комиссара дивизии (у Гейне, стало быть).

Прежде чем поселиться, бабушке пришлось у порога расстаться со своим вшивым платьем, от которого актрисе чуть плохо не стало. И она подарила бабушке (не в благотворительных, а в гигиенических целях) свою кружевную рубашку и юбку. Весь гардероб бабушки в то время составляли эти два предмета. Комиссар направил ее на работу в госпиталь, размещавшийся в помещении института благородных девиц.

Страшный голод начался в это время. Суточная норма еды для всех — и больных, и персонала — была такая: сто граммов ячменного хлеба, сто граммов ячменной каши и одна вобла. Еще у кого-то из медсестер оказалась бутылка коньяка, и, пока не кончилась, им выдавали в день по полрюмки. Ну холод, — это само собой, вши опять же, а куда они денутся! Часто ночевала в госпитале, актрисе не очень нравилась вшивая квартирантка, да и кому она может понравиться

ся... Комиссар Гейне, революционные идеалы — все так, однако всему есть предел: идеалы — отдельно, а вши, знаете ли, тоже отдельно.

В госпитале укрывалась красным рваным одеялом, которое почему-то на всю жизнь запомнила. Его, говорит, струсил, и под ногами трещат вши. В ее рассказе это одеяло для меня — этаким саркастический символ нашей революции: рваное, все набитое вшами, но все-таки — принципиально красное.

И на подаренной кружевной рубашке — все те же вши. Как бусы, говорит бабушка. Ну понятно: если рубашка кружевная, красивая, то и вши на ней обязаны располагаться красиво и со вкусом.

Здесь, в Одессе, опять встретились с Володей. Он долго искал ее и наконец нашел. Ему, видно, искать было полегче, чем другим: он знал, что она, если жива, будет непременно работать в каком-нибудь госпитале. Революция разъединяла семьи, бросала мужей, жен и детей в разные стороны, они тосковали друг по другу и не знали никогда точно, встретятся ли когда-нибудь вообще. Все, кто не уехал, не убежал, — от нее зависели. «Весь мир насилия» был разрушен, и на его руинах бродили одинокие несчастные люди в поисках своих близких. Но свято верили, что будет лучше, что семьи воссоединятся, что вшей не будет, смерти не будет и заживем хорошо. Вот еще чуть-чуть — и заживем хорошо. Вот еще немного потеряем — и тогда как заживем!.. Сколько лет с той поры — а все верим и верим...

Однако, помимо этой веры (что заживем хорошо), были в бабушкино время и две основные: в Бога (у белых) и в революцию (у красных). Белые верили в то, что Бог не допустит больше этого безобразия и все пойдет по-прежнему. Они думали, что не может обыкновенная шпана руководить государством; они были убеждены, и не без оснований, что любую революцию делает шпана или ее делают руками шпаны.

Великая французская революция в этом смысле очень напоминает нашу, думали беляки. Шибко образованные они были, больно умные... Кстати, слова «больно умный» (что, по сути, должно быть как раз хорошо) стали для России потом на долгие годы одним из самых тяжелых оскорблений.

Ну а для красных Богом была как раз революция, они на нее только и молились. Поэтому она распоряжалась людьми как хотела и швыряла их по полям и окопам исторического материализма, заставляя забывать о себе, о родных и служить только ей, любимой и ненаглядной...

А для Смирнова первоначальные ценности пока сохранялись, поэтому не монархия для него была любимой и ненаглядной и уж тем более не революция, а всего-навсего жена его Полина, моя бабушка, которую он почему-то любил больше монархии и даже всего белого движения и, следовательно, отчаянно и упрямо искал ее. И нашел в этом одесском госпитале. И остался при ней, прикинувшись фельдшером. Только для того, чтобы больше не расставаться. Однако чуть было не пришлось.

Попался он как-то на глаза начальнику госпиталя. «Ты кто?» — спрашивает начальник. «Фельдшер», — отвечает Смирнов, но, поскольку врать не умеет, врет плохо, бездарно, отводит глаза и смущается. «Что-то я таких фельдшеров не знаю», — с растущим подозрением молвит начальник и решает беглого беляка проэкзаменовать. На первые же вопросы по медицинской части Смирнов ответить затруднился. Но произошло чудо: начальник его пожалел и оставил, может, из-за бабушки, в знак признания ее заслуг перед восставшим народом. И стали они вместе работать в этом госпитале.

«С лечением людей мало что получалось, мерли они штабелями», — вспоминает бабушка, не замечая, что «люди штабелями» превратились со временем у нас в один из самых расхожих разговорных и литературных штампов. Корни

наших отечественных «штабелей» произошли из нашей «великой» революции, потом лагерей, потом другой войны; и это наша специфическая национальная черта (или беда) — «людей штабелями» нет нигде в мире, везде стараются найти и определить поименно каждого погибшего, каждого пленного, везде каждый один (всего лишь один!) человек имеет несомненную ценность. Но это везде, а мы всегда особенные. У нас вместо этой альтруистской чепухи зато есть другое: коллектив, человеческий материал, или электорат, или «люди штабелями».

Поэтому и бабушка, впитавшая с юности в себя соки революционной «морали», рассказывает обо всем этом спокойно — ну, может быть, с легким налетом формального ужаса. «Мерли, — говорит, — штабелями, клали их, голых, на телеги и везли за город закапывать. Какие фамилии, что ты? Никто никого не знал. Телега едет, трясется, ноги у мертвых голые свешиваются, тоже трясутся».

Через несколько месяцев бабушка, как говорится, понесла, и разрешили ей пойти в декрет. Поехали они с Володей в деревню, стали там работать, картошку сажать. Много в деревне работали — декрет декретом, но был же еще Декрет о земле, и революция нуждалась в продовольствии. И так самозабвенно бабушка хотела помочь революции, что за работой ошиблась в родах на два месяца. Думала, что у нее еще два месяца есть, а тут на тебе — роды. Вот так в 1920 году и родилась моя мать, Галина Владимировна Смирнова. Ну скажите: что может заставить нормальную женщину любого континента прозевать хотя бы примерные сроки родов своего ребенка?! Ничто и никогда! Только нашу женщину, и только революция! Только она может заставить женщину забыть о своей основной функции, чтобы та вспомнила о ней посреди картофельного поля внезапно, когда уже природа возмутилась! «Раба революции» — ну чем вам не сценарий фильма?! «Раба любви» — был фильм, но этим никого не удивишь, рабой любви может оказаться каждая женщина, а вот рабой революции, то есть абсолютно ложных идеалов, — далеко не каждая.

«Трагифарс», — сказали бы просвещенные люди тогда; «Комедийный триллер», — сказали бы непросвещенные люди сегодня. Впрочем, кому нужен такой сценарий? «Тихий Дон» уже был, «Хождение по мукам» — тоже. К чему сыпать соль на раны нашей истории, верно?.. И парадоксальность бабушкиной революционной биографии замыкается на том, что ее внук в далеком будущем сочинит песню «Дневник прапорщика Смирнова» с явным сочувствием к белогвардейской сволочи, борьбе с которой бабушка посвятила свои лучшие годы, а автор слов Л. Филатов возьмет фамилию Смирнов буквально с потолка, ничего не зная ни о бабушке, ни о ее «белом» муже.

Пуза

С шести лет от роду жил в Риге толстенький пухлогубый мальчик Вова. Родители считали, что главное в доме — это регулярное трех-четырёхразовое питание. Особенно бабушка, которая пережила голодные годы и в гражданскую, и в Великую Отечественную войну, поэтому уважение к пище стало чем-то вроде условного рефлекса. На витамины всякие там, на развлечения, на одежду тратилось мало, основным было питание, а в самом питании главным было не то, что полезно, а чтобы сытно и много. Поэтому мальчик Вова и был толстым, анемичным и часто болел.

Родился Вова совсем не здесь, а на Дальнем Востоке, в Уссурийске, который во время его рождения назывался Ворошилов. Из своего раннего, ворошиловского детства он не помнил почти ничего. Только один эпизод и то, наверное, потому, что это было его первым в жизни кошмаром. Он только-только выучился ездить на маленьком двухколесном велосипеде и страшно разбился, упав

с него и пропахав лицом метр гравия на детской площадке. Другой мальчик поднял его из лужи крови и довел до дома, почти донес. Этого мальчика потом Вова, когда смог опять разговаривать, назвал своим другом навеки и всем рассказывал, что тот спас ему жизнь. Разговаривать он не мог долго, впрочем, как и есть, потому что губы, подбородок и нос покрылись коркой, раны стали заживать, и все будто слиплось. Поэтому кормили его некоторое время через трубочку.

Дружбы навеки с тем мальчиком не получилось: отца перевели служить сначала в Москву, всего на полгода, затем — в Ригу. Отца, подполковника юстиции, часто переводили с места на место, но в Риге он и вся семья осели и стали жить в большой коммунальной квартире почти в центре, на улице Свердлова. В этой квартире жили еще шесть семей, к нам было три звонка. Но зато у нас было целых три комнаты — две маленьких и одна большая.

Мальчик Вова постоянно не высыпался, когда пошел в школу. Потому что начал жадно читать — сначала все, что ни попадалось, а потом приключения и про великих спортсменов. Отец читать вечером не разрешал; когда появился телевизор, тоже не разрешал смотреть, потому что в семье была военная дисциплина и отбой был ровно в 22 часа. А значит, мальчик Вова украдкой, под одеялом, при свете карманного фонарика читал Дюма и Майн Рида, чем вскорости и нажил себе близорукость. Читал он допоздна, и когда утром объявлялся подъем, он не мог сразу встать, засыпал еще несколько раз, пока отец не прибежал к жестким мерам: брызгал водой или стаскивал одеяло. Тогда Вова шел в пижаме по длинному коридору коммуналки к ванной и туалету. Там уже была небольшая очередь. Вова прислонился к стене и опять засыпал, стоя. А когда подошла его очередь в ванную, он запирался там на крючок, включал воду, чтобы слышно было, как она льется, садился на краешек ванны и опять засыпал.

В первом классе он был отличником, во втором — тоже, но дальше дела пошли хуже, потому что, прямо скажем, внеклассное чтение отнимало у него много времени.

Эта литература вне школьной программы, поглощаемая многими учениками без всякого разбора, но все-таки — по интересам, придавала школьной жизни подчас окраску комическую.

Как-то раз к школьнику Вове домой прибежал его одноклассник Женя Биньковский. Женя был одним из самых отпетых хулиганов района, но об этой странице его жизни — несколько позже, а сейчас о другом. О том, что он прибежал бледный и предельно взволнованный. Что же так взволновало школьника, который к тому времени уже и выпивал, и покуривал, а его неумный темперамент находил себе выход только в двух вещах: в драке и в исполнении песен на английском языке под аккомпанемент школьного ансамбля? (Женькиным идиолом в то время был певец Трини Лопез, он пел в основном его песни, страшно при этом заводясь и дергаясь всем организмом. Позже он станет петь рок-н-ролл в одном из рижских ресторанов.) Завести его, повторяю, могли только драка и музыка в бешеном ритме. Но тут аж весь трясся.

— Что с тобой? — спросил Вова, начиная опасаться, что взорвали школу или Женька пять минут назад кого-то убил.

— Подожди... Сейчас. Закрой дверь, — свистящим шепотом произнес Женька и, оглянувшись, — не подслушивает ли кто, мама там или бабушка, не подсматривают ли? — полез за пазуху. Вова ждал по меньшей мере появления пистолета, но Женька осторожно достал... книгу.

— Вот смотри, — сказал он, еще раз оглянувшись на дверь. Вова посмотрел на обложку и прочел: «М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени».

Эту книгу, как и творчество М. Ю. Лермонтова, мы должны были изучать на следующий год, в девятом классе.

— Ну и что? — спросил Вова, неприлично зевнув и показав тем самым полное равнодушие к предмету и неуважение к Женькиному волнению.

— Как что?! — мгновенно вскипел Женька. — Ты это читал?

— Нет, а что тут такого?

— Да подожди! Ты хоть что-нибудь слышал о ней, о книге этой?

— Ну, что мы будем в следующем году ее читать...

— Дурак! Ее надо читать немедленно! Тут все написано, как надо с девчонками обращаться, понял?.. Чтобы они все сохли по тебе, а ты на них плевал, понял?..

То есть Женька принес мне книгу, которая разом решала актуальнейшую проблему нашего переходного возраста: как себя вести с девушками, чтобы ты на них плевал, а не они на тебя, как обычно.

Как бы запрещенную пока для нас книгу. Однако проникать в кинотеатр на фильм, который детям до шестнадцати лет смотреть не разрешалось, было верхом удовольствия и внутренней гордости. Нам хотелось быстрее взрослеть и становиться мужчинами; мы и не подозревали, что когда-нибудь наступит такое время, когда нам будет иногда хотеться, чтобы нас считали детьми...

Поэтому представьте себе сладкий озноб дерзости у пареньков, которые держали в руках «Героя нашего времени», как запрещенную литературу, как какую-нибудь «Лолиту» Набокова: ведь если увидят — отнимут и накажут! И книгу эту Женька уже прочел! А Вова еще нет! Острый вкус запретного плода со страшной силой разжег и без того неумный читательский аппетит Вовы, и он проглотил книгу в момент — не столько как образец высокой литературы, сколько как руководство к правильному поведению с девочками, своего рода «Кама Сутру», только не в физическом плане, а в поэтическом. Воздействовать на душу девочки, на ее высокие чувства казалось куда важнее, чем искать и находить, скажем, ее эрогенные зоны. Это каждый обученный дурак сможет, а вот чтобы тебя любили, чтобы по тебе страдали... — гораздо выше и интереснее. Другими словами — сердцею хотелось быть, а не каким-нибудь там телоедом (фу! канныализм прямо какой-то!). Вообще хотелось быть любимым, и как можно большим числом людей; заявить, что я в этот мир уже пришел, обратите на меня внимание, полюбите меня, я этого достоин. Не это ли (думаю я сегодня) подвигает молодых людей идти в артисты?.. Ведь это скорейший путь к массовому обожанию, если есть талант и еще чуточку повезет...

Но речь не об артистах, а о том, что мечты, грезы, фантазии с девяти до пятнадцати лет занимали наиважнейшее место в жизни подростка Вовы. Даже в области литературы в тот период все вытеснила научная и всякая другая фантастика. Дюма и Вальтера Скотта постепенно сменили сначала Жюль Верн, затем Кларк, Брэдбери и братья Стругацкие.

Романтическая мечтательность, свив один раз гнездо в его неокрепшем организме, осталась в нем на долгие годы. Она мешала реальной жизни, особенно тогда: несоответствие своего микромира с суровым макромиром было даже травматично. Ну близорукость уже есть, а еще — неспортивное (это еще мягко сказано) телосложение... Все это удручало... А еще... В школе и во дворе его все время дразнили фамилией Качан, сопрягая ее, как правило, с капустными изделиями. «Кочерыжка» или еще чаще «Качан капусты» сопровождали Вову все его детство. То, что «кочан капусты» пишется через «о», а фамилия — через «а», не могло остановить никого. К тому же его часто били, видимо, зная, что никакого серьезного отпора не получают. Слабый был мальчик, не мускулистый. Зато много читал, запас слов у него рос, и он мог зло и точно над кем-нибудь пошутить. За это его били еще больше. В довершение всего у него обнаружили начинающийся туберкулез, какие-то очажки в легких. Много было выпито рыбьего жира, хлористого кальция и чего-то другого, но не помогало.

И тогда терпение школьника Вовы лопнуло. Ему надоело быть толстым, слабым и битым, да к тому же и большие легкие решил он вылечить способом радикальным. И пошел он на стадион «Динамо» неподалеку от школы записываться в секцию легкой атлетики. Когда его увидели там спортсмены, они начали смеяться, а когда услышали фамилию, им, естественно, стало еще смешнее, но Вове уже было не привыкать, он был к этому готов и заранее решил вытерпеть все.

Единственным, кто поддержал, был тренер Абрам Львович Авсицер. Он сжалился над пареньком, который и так едва сдерживал слезы, и принял его в секцию легкой атлетики без всякой, впрочем, надежды на результат. Это я потом узнал, что он Абрам Львович Авсицер, это он потом признался мне, решив, наверное, что я заслуживаю доверия. А так всюду его звали Александр Львович Овсищев — и в паспорте, и в протоколах соревнований, и при общении; ровесники его звали Сашей, а мы — Александром Львовичем.

Видимо, Абрам да к тому же Авсицер сильно резало слух руководителям такой серьезной организации, как «Динамо». Отчество решили оставить, пускай, в конце-то концов Толстой тоже был Лев... Убрать его вообще, чтобы глаза не мозолил, было нельзя: он был ведущим спринтером республики, единственным, кто бегал стометровку за 10,4 — норматив мастера спорта СССР. Маленький, черный, весь заросший курчавыми волосами тренер был живой иллюстрацией своей подлинной национальности, но это уже никого не волновало, «приличия» были соблюдены. Как мог такой маленький человек так быстро бегать, было загадкой. Хотя не такой уж и загадкой, если представить себе, с какой частотой он перебирал ногами на дорожке; когда длинноногий спринтер делал один шаг, Александр Львович делал два. К тому же у него была взрывная реакция и со старта он уходил раньше всех.

Итак, принял он Вову в секцию, и паренек, возненавидевший к тому времени свою внешность и свою слабость, стал страстно тренироваться.

Над ним поначалу смеялись, от этого он еще больше озлоблялся на свое тело и истязал его беспощадно. А родители, когда узнали, пришли в ужас: «Как? Ты болен. Немедленно прекрати это! Хлористый кальций, рыбий жир!» Куда там! Вова проявил абсолютно несгибаемое упрямство (волей это называть как-то не хочется) и продолжал. И его усилия потихоньку стали окупаться: он начал сбавлять вес, появились мышцы, в секции постепенно перестали смеяться, Александр Львович удивился и стал обращать на ученика уже особое внимание и проявлять к нему профессиональный тренерский интерес. Уже через полгода на уроках физкультуры в школе Вова бегал быстрее всех в классе, а еще через полгода стал чемпионом школы в беге на шестьдесят метров и в прыжках в длину.

Обидчики во дворе стали получать отпор, преимущественно окрепшими в тренировках ногами, а это было больно. О карате тогда никто и понятия не имел, но ногами Вове было удобнее; если бы он занимался боксом — другое дело, тогда руками, а здесь — что имеем, тем и даем сдачи.

А намечавшийся туберкулез вообще исчез, будто и не маячил никогда на горизонте.

Школьный «джаз» и Юра Зюзюкин

В школе был джаз-оркестр — это так гордо мы себя называли, хотя на самом деле это был никакой не джаз и, уж конечно, не оркестр, скорее — плохонький эстрадный ансамбль, позднее такое стали называть группой. И правильно, потому что это было по большей части групповое изнасилование слушателей дилетантским пением.

Наш ансамбль, как водится, состоял из нескольких акустических гитар, одного фортепьяно и барабана. Барабан тоже был один — пионерский и тарелка одна. Репертуар был немудрящий: несколько песен Муслима Магомаева, а еще Чатануга-Чуча и «When the Saints go marsching in» — «Когда святые маршируют» — шлягеры планетарного масштаба. Солистами были тот самый Женя Биньковский (с настольной книгой Лермонтова о любви) и Вова. По барабану бил флегматичный розовощекий юноша Костя Дмитриев, а за фортепьяно сидел Юра Зюзюкин — будущий врач и гражданин США.

Теперь он изредка звонит из самой глубины штата Техас и говорит одно и то же: «Знаешь, что я сейчас делаю? Я принял сегодня кучу тупоголовых американских пациентов, приехал домой (ну дом — это большая вилла с бассейном, это само собой, да и приехал тоже не на велосипеде: Юра там весьма состоятельный человек), поставил твой компакт-диск, пью мартини, сижу и плачу. Знаешь, на какой песне я больше всего плачу?.. «Прогулка с другом» на стихи Дидурова. «Мой друг, я сам не знаю, что со мной, я вдруг тоской настигнут, как войной, виной, предощущением разлук — с тобой, мой старый друг». Ты слышишь себя сейчас, как ты поешь мне тут, в Америке?!» — рыдая, кричит Юра в трубку, и я понимаю, что в нем навсегда поселился русский микроб, от которого он изо всех сил старался избавиться, но так и не сумел.

Он сделал все для того, чтобы абсолютно порвать с Россией и натурализоваться в Америке: женился на американке, поселился не на Брайтон-Бич, а в самой глубине страны, где никто ни звука не знает по-русски, достиг «американской мечты» — стал богатым человеком — и все равно не смог. Сидит, пьет мартини, слушает песни школьного друга и плачет.

Когда мы с театром оказались на гастролях в Америке, одним из городов, где предстояло сыграть спектакль «А чой-то ты во фраке?», был Сан-Франциско, и Юра с женой прилетел туда со мной повидаться. Жена оказалась похожей на повзрослевшую и располневшую куклу Барби; мелкие светлые кудряшки спадали на тонкую стрелку выщипанных бровей и радостно распахнутые круглые голубые глазки. Она все время щебетала тонким и нежным голоском, что-то я улавливал сам, что-то Юра переводил. Он просил ее немного помолчать — времени у нас было в обрез, а поговорить хотелось о многом, но она все щебетала, щебетала...

Юра потом рассказал мне, что именно она помогла ему подняться и встать на ноги в Америке, что она очень добра и очень его любит. Мы пили легкое калифорнийское вино, беседа же наша шла, напротив, тяжеловато; мы не знали на чем, самом важном, остановиться. И пришло время прощаться. Юра встал из-за стола, и я увидел на его техасских джинсах техасский же ремень с неправдоподобно огромной серебряной пряжкой. Юра поймал мой взгляд и стал гордиться — поправил ремень и прошел вперед, чтобы я еще увидел его фантастические сапожки на высоком каблуке, с острыми носами и металлической отделкой. Я из вежливости поцокал языком и показал ему большой палец, Юра довольно улыбнулся.

— А что у тебя, кстати, с волосами? — спросил я. — На фотографиях, которые ты мне прислал, ты был почти лысым. А сейчас — ну точно как в школе было.

— Вот так, — отвечает, — тут это можно сделать, пересадка, — с гордостью за высокие технологии своей новой родины говорит Юра. — Хочешь, и тебе сделаем. Приезжай ко мне в Техас недели на две.

— А сколько стоит? — спрашиваю.

Юра с усмешкой называет сумму, которую я не потяну до конца своих дней.

— Да не бойся, — смеется он, — я оплачу!

— Нет, не нужно,— отказываюсь я,— вон Задорнов мне недавно комплимент сделал, что я красиво лысею.

Мы втроем в школе дружили, Юра, я и Миша Задорнов.

— Ну как хочешь,— говорит Юра.— Да, я ведь тебе подарков привез, они там, в апартаментах,— добавляет небрежно, но я ведь и так понимаю, что не в одноместном номере он живет.— Пойдем возьмем.

Мы поднимаемся в лифте, заходим в Юрины апартаменты, но ожидаемой оторопи бомжа, попавшего случайно во дворец арабского шейха, Юра не замечает и слегка разочарован. Он достает из шкафа огромный полиэтиленовый мешок, в котором содержится несметное количество джинсовой одежды.

— Это рефлекс, наверное,— замечает Юра не без юмора,— мы ведь в школе с ума сходили по этим джинсам. А сейчас у вас, наверное, есть?

— Есть,— говорю,— да я и сам тут купить могу.

— А зачем цокупать? — радуется он.— Я ведь тебе все привез.

Спускаемся. Ко входу в гостиницу подкатывает длинный лимузин — это Юра заказал, чтобы ехать в аэропорт. Он озабоченно оборачивается.

— Что ты? — спрашиваю я.

— Да я тут нашел одну коллекцию фарфора, мы с женой собираем.

Из дверей выкатывают на тележке несколько больших коробок, Юра, оставив меня стоять, бросается с распоряжениями, как их уложить в лимузин. Потом возвращается.

— Слушай, а у тебя там, в Москве, есть чего кушать-то? — спрашивает он полушутя, но все-таки *полушутя*.

— А если нет, ты что, будешь присылать? — тоже полушутя говорю я.

— А что, буду! — уже без юмора отвечает Юра.

— Да есть, конечно. Ты что же думаешь, что мы там совсем?..

— Ну ладно,— смущается он.

Из дамской комнаты возвращается Барби, кудряшки уложены еще лучше, и круглые глазки сейчас еще приветливее: сейчас они улетят обратно в Техас, русский синдром пройдет, и все пойдет по-прежнему хорошо, спокойно и размеренно.

— Пора,— говорю я.

— Пора,— отзывается Юра и смотрит куда-то в сторону.

Держится прямо и напряженно. Глаза его начинают поблескивать.

— Да ладно,— говорю я,— это тогда, пятнадцать лет назад, при социализме, мы с тобой прощались навсегда, а теперь ведь всегда можно приехать, и это не так сложно.

Мы обнимаемся. И стоим так секунд десять, изо всех сил стискивая друг друга и пытаясь вложить в это судорожное объятие все то, что не успели сказать, но что и так между нами ясно. Потом он быстро идет к лимузину, вытирает глаза платком, оборачивается, поднимает руку в прощальном приветствии; я целую Барби в матовую щечку. «Гудбай,— говорю,— увидимся позже». Но когда говорю — еще в этом не уверен. И тут вижу — Юра бежит обратно. Уже не вытирая слез, он вдруг хватает меня за плечи и яростно шепчет:

— Ты знаешь, какие они тупые, эти американцы? Они такие идиоты! Вот здесь, в гостинице, они меня знаешь за кого приняли? За китайца!.. А я похож?! Скажи, похож я хоть капельку? Они тут мою фамилию пишут через черточку: «Зю-зю-кйн». Я им говорю: «Джордж Зюзюкин», а они: «Yes, I know, china», — и пишут: «Зю-зю-кйн!»

Юра от всего сердца, с наслаждением выговаривая все матерные русские слова, которые сейчас вспомнил, кроет американцев оптом и персонально — портье, и, отведав таким образом свою русскую душу, опять обнимает меня и бе-

жит обратно к лимузину. Лимузин плавно трогается. Я гляжу ему вслед и машу рукой, долго машу, хотя и не вижу Юру — стекла в лимузине темные, — но уверен, что он смотрит сейчас назад, смотрит и тоже машет рукой, машет, пока не перестает меня видеть...

Еще о школьном пении, а заодно и драмкружке

Пел Володя тогда что попало. То, что в нем спит непробудным сном умение сочинять мелодии, он пока не знает, узнает позже, на первом курсе Щукинского училища. А пока стремление выразить себя в песне, в красивой лирической тоске ищет выхода и находит временами в абсолютно несурзном, например, в простейших блатных и полублатных сочинениях неизвестных авторов. Нет, правда, и чего мы так упоенно орали, собираясь у кого-нибудь в гости — Зюсюкин за клавишами, а мы с Задорновым рядом, — что-нибудь вроде: «Где-то там под небом Еревана вас ласкает кто-нибудь другой. Не пишите писем мне, не надо. Я хочу, чтоб ты была со мной».

Решительно не имело значения качество произведения, главным было, конечно, то, что где-то там вас ласкает кто-нибудь другой, а хотелось бы, чтобы я. «Меня надо любить, меня!» — вопило тогда юношеское естество. Мы уже знали к тому времени вкус хорошей поэзии, но даже у Блока наизусть училось и читалось девушкам на скамейках в рижских парках: «И в этот час, под ласками **чужими**, припомнишь ты и призовешь **меня**. Как иступленно ты протянешь руки в глухую ночь, о, бедная моя!»

Вот сейчас пишу и думаю: «Да-а, недалеко в этих стихах Блок ушел от песенки «Где-то там, под небом Еревана». Вертинский тоже был в нашем репертуаре, и к далеким, загадочным местам тянулись наши фантазии: «В бананово-лимонном Сингапуре, в далеком электрическом раю сажу, ломая руки от ярости и скуки, и людям что-то дерзкое пою». Все ложилось на сердце: и бананы, которых никто толком не пробовал, и налет многоопытной скуки, и дерзкое пение — все было в масть. Ереван, Сингапур, Зурбаган — везде было хорошо, где нас не было.

Однако Вертинский, Блок — это все же профессионалы, но почему в нас вызывала не меньший, если не больший экстаз, такая, к примеру, вещичка, как «Залезли воры к одним жильцам»? Почему три мальчика из интеллигентных семей, начитавшиеся хороших книг, в первобытном восторге поют: «Ребенок в люльке, в тревожном сне, а мать кружится у изголовья. Ребенку снится, что он моряк. Спокойной ночи». То есть полную белиберду, в которой нет ни рифм, ни тем более смысла. Вероятнее всего, потому, что накопившейся энергии нужен был выход. Любой! Аккумуляторы любовного томления все-таки чуть-чуть разряжались на Блоке и Вертинском, а остальной пар можно было на время выпустить, выкрикивая глупые слова глупых песен. Однако почему «блатняк» имеет такую невероятную популярность в стране (и не только в нашей), почему ресторанная лирика поется на всех углах и во всех квартирах, почему первый успех талантливого исполнителя часто опирается на дворово-блатной флер? Может, потому, что Чаадаев еще написал: «Россия — темная степь, а в ней — лихой человек...»

Упомянутые песни пелись только дома, в своем кругу, и, конечно же, никак не могли звучать со школьной сцены. «Чатануга-чуча» еще прощалась: все-таки это была уже классика, фильм «Серенада Солнечной долины» все смотрели. А на русском языке надо было самовыражаться репертуаром Муслима Магомаева. Это была, как сейчас бы выразились, — культовая фигура, а песня «Бухенвальдский набат» потрясла тогда всех.

Вова знал, что, к примеру, «Бухенвальдский набат» не потянет, но что-нибудь из магомаевской лирики можно было попробовать. И он попробовал, спев на одном школьном вечере песню о Москве. Когда Вова спел: «Песня с Ленинских гор плывет, в серебре дома. В этот час по Москве идет к нам любовь сама», — начался фортепьянный проигрыш, красиво исполняемый Юрой Зююкиным.

Вова часто наблюдал за Муслимом Магомаевым в «Голубых огоньках», он видел, как тот ведет себя во время музыкальных проигрышей. Это вообще было проблемой: певец, освободившись секунд на тридцать от вокала, часто не знает, куда себя деть, что делать. Тут каждый выходит из положения по-своему: Кобзон, например, просто стоит и ждет, когда запоеет снова; кто-то танцует, если умеет; кто-то общается с музыкантами, подносит к саксофону микрофон, делает вид, что наслаждается импровизацией; кто-то пытается вступить в контакт с публикой; а Магомаев, когда пел эту песню, во время проигрыша всегда облокотился на рояль, улыбался и слушал пианиста.

Так и Вова поступил, не учтя при этом, что рояль стоял в определенном положении, и Вова, облокотившись на него, оказался к залу спиной. Вот так, повернулся школьный певец ни с того ни с сего задницей ко всем — и учителям, и ученикам, — и, как ему казалось, непринужденно улыбнулся Юре. Улыбка, впрочем, была похожа на предсмертный оскал, потому что подражать непринужденности поведения нельзя, надо таким быть, а Вова не был, и в ту же секунду, когда повернулся, понял, как он повернулся.

Юра играл, Вова стоял... Стоял насмерть, так как понимал: если встанет и повернется обратно к залу, все увидят его смущение и будут смеяться.

Но в зале и так уже начали смеяться; сначала по рядам прокатился недоуменный, а с учительских рядов — возмущенный ропот в ответ на эстрадную развязность солиста, а потом начался смех — убийственная реакция для исполнителя лирической песни.

Однако Вова упорно стоял спиной и с отчаянной тоской всматривался в побавровевшее лицо пианиста — единственный спасательный круг во всем враждебно настроенном зале. Но и в его глазах он увидел только ужас, смертный приговор своему сегодняшнему выступлению. Этими глазами Юра все время дергал вправо, пытаясь дать понять неудавшемуся «Магомаеву», чтобы он немедленно прервал свой дерзкий порыв к свободе поведения и повел себя по-человечески. Нет же! Вова повернулся только тогда, когда пришло время еще раз пропеть последний куплет и закончить песню. Он обратил к зрителям красное, вспотевшее лицо, выпрямился и швырнул в зал неблагодарной публике: «Песня с Ленинских гор плывет», — и тут от нервного перенапряжения потерял голос. Он иступленно просипел самые последние слова о том, что к нам идет по Москве сама любовь, и в сочувственной уже тишине зрительного зала быстро удалился за сцену. Это был первый трагический эпизод Вовиной жизни в искусстве.

Потом был и второй. Там же, в школьной самодеятельности. Об этом вы прочтете в главе про Задорнова, но пока несколько слов о нашем драмкружке. После того провала с песней о Москве Вова решил на время с пением покончить и поступил в школьный драмкружок. Он сразу получил там роль богатого старика Африкана Саввича в готовящейся постановке пьесы Островского «Бедность не порок». Получил легко, так как конкурса на эту роль, прямо скажем, не было. Главную героиню, которую играла девочка Люся, насильно выдают замуж за старика, а она, естественно, любит другого. Старик, конечно, сволочь и думает, что если у него есть деньги, то ему можно все. Люся была самой красивой девочкой в драмкружке, и в нее были влюблены все. Мало того, что она была красивой, она уже в девятом классе умела вести себя с мальчиками так, что у

них половое созревание наступало намного быстрее, чем они рассчитывали. Кокетничая всем телом, она словно обещала то, чего потом никогда не давала, и эта обманчивая доступность страшно заводила всех старшекласников, которые с ней общались. Не миновал этого и Володя.

На сцене к Африкану Саввичу подводили будущую невесту, и он, беря ее за руку, произносил слова: «Ручка-то какая, бархатная». Режиссер и руководитель драмкружка в этом месте добивался от Володи выражения старческого вожделения, омерзительной старческой похоти; он даже показывал Володе, как это надо произносить. У него получалось, разумеется, лучше, потому что ему это было ближе. А у Володи не получалось: похоть — ну это уж как-нибудь, а вот старческая — с трудом. К тому же он в этот момент всегда был занят совсем другим. Беря Люсю за «бархатную ручку», Володя всегда держал в своей руке четверо сложенную маленькую записку, в которой объяснялся Люсе в любви и назначал свидание. Люся эту записку незаметно брала и прятала, продолжая играть роль обреченной невесты.

Привязанное и спрятанное под рубашку и жилет пузо, наклеенная окладистая борода и парик с прямым пробором все-таки придавали образу Африкана Саввича минимальную достоверность, но чувств в Люсе они никак не могли прибавить, и она записки брала, девичье любопытство удовлетворяла, но дальше не шло, на свидания не приходила.

Со злорадным удовлетворением отвергнутого поклонника Володя один раз увидел Люсю на школьном вечере не в длинном платье, в котором она репетировала, а в коротком. У Люси оказались ноги кавалериста, с детства не слезавшего с лошади, совсем кривые, кривее, чем даже у самого Володи, и... любовь прошла, улетучилась, будто ее и не было. Да и не было, конечно. Просто он поддался массовому увлечению.

А вскоре появилась новая любовь — девочка Ира. Она занималась фигурным катанием, и Вове тоже пришлось научиться, чтобы ходить вместе с ней на каток. Один раз, возвращаясь с катка, он получил от ее поклонников коньками по башке, однако это его не остановило. С Ирой отношения продолжались долго — именно ей он читал Блока на скамейке в парке. Потом из Москвы писал ей письма, а она — ему, но Москва далеко, а в Риге рядом оказался парень, который превратил Иру в женщину. Через несколько лет, уже работая в Московском ТЮЗе, Володя приехал в очередной раз в Ригу, и они с Ирой встретились. Володя только что в первый раз побывал за границей, на гастролях в Болгарии, и купил там себе кожаный пиджак. На встречу с Ирой он пришел в нем. Иру это доконало: отношения с тем парнем уже прервались, а тут московский артист в кожаном пиджаке, любивший ее романтично и пылко пять лет назад. «Я так и знала, — сказала она, — что ты приедешь в полном порядке и в кожаном пиджаке». Это Володю немножко обидело. Получалось, что пиджак играет решающую роль в их новых отношениях. А ведь он ей только что за столиком в кафе опять Блока читал.

Но новым отношениям суждено было быть, и начался бурный роман. Однако, видимо, что-то в школе уже отгорело, да и интересы стали разными. Ира еще приезжала пару раз в Москву, жили, куда пускали пожить, даже одну неделю у Михаила с женой, в их маленькой двухкомнатной квартире на Малахитовой улице, которую Миша с Велтой получили в Москве.

А потом все тихо и логично угасло. Ира, поняв, что ничего серьезного с Володей не построишь, вышла замуж и живет теперь, как и Юра Зюзюкин, в Америке, только в Чикаго. Юра с ней почти не встречается, встречался с ней Миша, подарил мою кассету с песнями, а со мной она во время гастролей почему-то не повиделась, но песни слушает, правда, не дома, а в машине, когда остается одна.

Так мне рассказал Миша, когда вернулся из Америки, где был в первый раз со своими концертами.

Миша — это не кто иной, как Задорнов. В нашем школьном драмкружке он исполнял роли эпизодические, и сам теперь на концертах часто вспоминает, как в том самом спектакле «Бедность не порок» изображал ряженого медведя. А я, мол, главную роль. Вспоминает даже с удовольствием, потому что все же видят теперь, кем он стал, несмотря на то что в школьном драмкружке его не оценили. Был еще спектакль «20 лет спустя» по М. Светлову, и Миша там в конце играл комиссара, который напугивал комсомольцев на дальнейшую правильную жизнь. Большие черные усы были наклеены на Мишину юношескую физиономию. Они существовали независимо друг от друга: комиссарская кожанка и усы отдельно, а Миша — отдельно. И веры в комиссарскую проповедь в Мишином исполнении уже тогда не было.

А еще мы с ним сыграли в школьной самодеятельности чеховского «Трагика поневоле». Ну... вышло, что не вполне чеховского...

Надо отметить, что лично у меня не было такого успеха за всю мою последующую артистическую жизнь. У Миши — бывало, он доводил и доводит людей иногда до спазм и конвульсий, когда в зале уже не смех, а стон; у меня — никогда! Мне тогда приделали большой живот, так называемую «толщину», затянув на ней тесемками широкие штаны. Я должен был прийти к Мише и жаловаться ему на свою проклятую жизнь. Он сидел в каком-то шлафроке, с приклеенными усами и, глядя якобы на портрет любимой, что-то элегическое наигрывал на школьном фортепьяно. Я вошел и начал свой монолог. В руках у меня было множество свертков и кульков, которые я привез с собой на дачу. Как бы по хозяйству... И тут тесемки развязались и штаны начали падать. Я в ужасе продолжал монолог, пытаюсь поправить непоправимое. Штаны все падали и падали, и тесемки были видны... Я подтянул штаны, и у меня тут же попадали все свертки. Я попытался подобрать свертки — у меня, естественно, снова рухнули штаны. Я обеими руками судорожно вцепился в штаны — тут же посыпались свертки. Надо было наконец выбрать: или штаны, или кульки. Разумнее, конечно, было бы удержаться штаны. Но я хотел и то и другое одновременно и в дикой панике продолжал эту клоунату, с неуместным мужеством продвигая вперед к окончательной катастрофе свой монолог. Мне было вовсе не смешно, а так страшно, как никогда в жизни, но в зале хохот стоял такой, что я уже тогда понял всю жалкую тщету тонкого юмора по сравнению с простым и безыскусным паданием штанов. У Задорнова отклеился ус, он прикрылся от зала портретом любимой и реплики свои, задыхаясь от смеха, подавать перестал.

Только один человек, серьезный Мишин папа, сидевший в зале, сказал потом, что мы изувечили Чехова. Он не знал, что это было нечаянно...

А в день рождения Ленина мы играли выстраданную нашей историчкой вещь «Ходоки у Ленина». Эта, как говорится, штучка была посильнее «Фауста» Гете. Третьим ходоком с нами был Мишин одноклассник Крылов. Ленина, разумеется, на сцене не было, да и кто бы отважился его сыграть. Была его секретарь. Вот к ней мы и должны были обращаться с хрестоматийной просьбой: «Землицы бы нам». Как выглядел русский крестьянин, измученный голодом, войной и разрухой, мы примерно представляли себе по известной всем картине Герасимова. Но понятно, что ни лаптей, ни армяков, ни зипунов школьная самодеятельность не имела. С большими бородами на изможденных лицах тоже было сложно: бород нигде не успели достать, а изможденные лица — не успели нажить. Кое-как себя изуродовав (выпустив рубашки, подвернув зачем-то штаныны брюк, вывернув наизнанку шапки-ушанки, полагая при этом, что превращаем шапку в треух), мы, как могли, сгорбились и вышли на сцену. Оля Дзерук,

игравшая секретаршу, строго спросила нас: мол, по какому вопросу мы к Ильичу?

— Сестрица,— жалобно сказал кто-то из нас, уж не помню, кто именно,— землицы бы нам.

И тут мы имели неосторожность переглянуться, а переглянувшись — друга друга будто заново увидеть, а увидев, что каждый из нас сейчас собою представляет, внезапно и ясно осознать, что в таком виде к Ленину не ходят, что, по идее, секретарше сейчас надо вызвать Дзержинского, чтобы расстрелять нас тут же, немедленно — за контрреволюционную пропаганду и циничное глумление над трудовым крестьянством.

Какая там сестрица? Какая землица?! На кой она им, розовощеким, спортивного вида подросткам?! И эти вывернутые шапки... Задорнов свою снять позабыл, и она забавно торчала у него на голове с одним ухом, задранным вверх... Сил на это смотреть не было. Короче, мы стали тут же, посреди эпизода, умирать от смеха. И сознание того, что это нельзя, что речь идет о Ленине, что это святое, почему-то еще больше смех усиливало. Кто-то из нас, давясь этим смехом, отчаянно попытался спасти ситуацию, еще раз попросив землицы... И все... Это была уже катастрофа, лавина, которую нельзя было остановить ничем; «треухи», запихиваемые в рот, чтобы прервать смех, не помогали, и слезы, катившиеся градом из выпученных глаз, были, к сожалению, вовсе не от того, что у нас нет землицы... Спектакль был окончен, не начавшись... Красная от гнева за весь диалектический материализм, за все «Апрельские тезисы», за весь марксизм-ленинизм вообще и за дело коммунистической партии в частности — учительница истории вбежала за кулисы и сказала, что она нам этого не забудет.

Не этот ли эпизод, думаю я сейчас, был первой идеологической диверсией Михаила Задорнова в его богатой идеологическими диверсиями творческой жизни?..

Дальше-то было иное. Ну, например, идет концерт в одной из префектур. После концерта — банкет, на котором постепенно становится ясно, что префектура — тот же райком партии, только называется иначе. Разговоры те же и тосты те же, типичные тосты бывшей комсы и партактива. Лион Измайлов и Задорнов давно в друзьях, их объединяют не только юмор и сатира, но и многое другое, даже из области невеселого. Однако перманентная готовность к розыгрышу и какой-нибудь шальной, веселой, даже детской выходке — это всегда!

Вот и сейчас мы сговариваемся потихоньку о том, что начнем петь один из комсомольских гимнов — «Забота у нас такая». Собравшись в тесный кружок, голова к голове, будто на тайной сходке большевиков, мы начнем тихо, но страстно петь «заветное».

И мы начинаем, машем кулаками в такт, исподлобья смотрим друг на друга, и задача у нас одна: удержать на лицах патриотическую серьезность. «Забота наша простая», — поем мы, и окружающие начинают обращать на нас внимание, оборачиваются, слушают. «Жила бы страна родная», — продолжает это вновь испеченное комсомольское трио. По их лицам видно, что они верны идеалам, что они не сожгли свои партбилеты, как некоторые, что они втайне — верные ленинцы, а вся победившая демократия и новый бизнес — это неверные ленинцы: хотя все — вчерашние комсомольцы и сотрудники спецслужб, но они предали дело Ленина, а мы остались ему верны... И вот стоим, поем в одном из «змеиных» гнезд этой победившей временно демократии! Да! Да! Именно временно — мы еще вернемся!.. Поем **нашу** песню, которую не задушишь, не убьешь. Все вокруг перестают жевать и смотрят на нас со священным испугом. Многие не понимают, серьезно это или нет. От Измайлова и тем более Задорнова уже слышали в адрес советской власти нечто такое... и вдруг — на тебе.

«Жила бы страна родная, и нету других забот», — поем мы сквозь стиснутые от хохота зубы, понимая: розыгрыш далеко зашел, и отступать уже нельзя. И вдруг — потихоньку — все собравшиеся начинают подхватывать: «И снег, и ветер» — припев мы поем уже все вместе. Шутка становится жутковатой.

Вообще все, что касается Задорнова и нас вместе, хотелось бы назвать так:

2×25, или Русский писатель на фоне Рижского залива

Мы с ним тут прыгали в длину. Простой прыжок и тройной — кто дальше. На влажном песке было легко пальцем отмечать результат. С разбега надо было отталкиваться от мокрого песка и в сторону дюн прыгать в мягкий. А результат отмечать палочкой, положив ее на место приземления. Я, занимавшийся легкой атлетикой, прыгал дальше, но годы шли, форма терялась, и в одно прекрасное лето он меня перепрыгнул.

Я удивился. «Ну-ка, ну-ка», — сказал я себе и прыгнул изо всех сил. А он опять на полступни дальше. «Да он тут тренировался, пока я отсутствовал, чтобы меня сделать, когда приеду», — подумал я тогда, но промолчал и смирился. У меня вообще характер другой, я предпочитаю состязаться с самим собой. Себя, короче, побеждать. А его стихия: как раз наоборот — конкуренция. Ставит он, к примеру, цель, чтобы на его концертах всегда был аншлаг, и эта цель достигается. Ставит цель добиться популярности не меньшей, чем у первых лиц нашей эстрады, и выполняет. И даже ничтожная задача — перепрыгнуть друга Качана — решается до тех пор, пока не решится.

Пару лет назад я тоже решил обрести некое подобие спортивной формы и начал делать гимнастику, двадцать — тридцать упражнений, не важно когда — утром, днем или даже вечером. Получалось, что делаю иногда вечернюю зарядку.

И приехал я тогда в Ригу на гастроли. Поселили нас в Юрмале, прямо на берегу моря. Вышел я к вечеру на берег, народу почти не было, сентябрь, сезон окончен. Но не для меня — когда я еще сюда попаду? Теперь ведь это чужая страна.

Пункт проката пляжных принадлежностей, как ни странно, еще работал. Я заплатил один лат и взял белый пластиковый шезлонг. Развернул его к заходящему солнцу, приподняв изголовье, чтобы солнце смотрело прямо на меня, а я прямо на залив. Лег в шезлонг, солнце медленно падало в залив. «Вот и счастье, — подумал я, — и больше ничего не надо. Я это люблю почти до слез».

Чайки орали, как весенние коты, нагло и призывно. «И по помойкам они рожются не хуже голубей», — лениво и некстати проплыла мысль и погасла в красно-зелено-голубой закатной дорожке от солнца ко мне. Некстати, потому что нечего примешивать к счастью грязные жизненные реалии. Оказывается, в Библии нет такого термина «счастье», а есть «совершенная радость». Вот-вот, именно так: радость моя была совершенна и спокойна, я чувствовал себя единым — с этими дюнами, соснами, солнцем, морем; я был крохотной и не самой лучшей частью этого пейзажа. Вот так в совершенной радости провел я полчаса. Затем решил выполнить долг перед собой и сделать вечернюю зарядку. У моря — что может быть лучше! Когда дошла очередь до приседаний, гармонию природы нарушил неприятный хруст в коленных суставах. Но все-таки он был не так слышен, как в квартире: море заглушало. «У него-то колени не хрустят», — подумал я не с завистью, а с уважением к физической культуре моего друга. Через несколько дней он тоже сюда приехал, и мы встретились на спортивно-пляжном полигоне нашей юности.

— И как ты себя чувствуешь, — спрашивает он, — на берегу Рижского залива?

— Хемингуэя вспоминаю, «Старик и море»...

— Ну, знаешь,— говорит Задорнов,— и ты не совсем старик, и это не совсем море.

Мы сидим на песке и болтаем. Прыгать будем позже.

— Что это у тебя на руках? Комары искушали? — спрашивает он.

И мы разговариваем о комарах. Я начинаю развивать мысль о том, что рижские и московские комары — модель рижской и московской жизни. Рижские комары никуда не спешат и не суетятся. Они знают, что их терпение и солидное поведение вознаградятся ужином, когда этот ужин заснет. Они не жужжат над ухом, а пролетают мимо, словно вы их вовсе не интересуете, садятся где-нибудь неподалеку и спокойно и терпеливо ждут. Московские же комары истеричны и суетливы, особенно те, что в центре города. Они даже никуда не садятся, а если садятся, то нервно взлетают при малейшем движении. Борьба за пропитание делает их необыкновенно вертлявыми, их убить почти невозможно, потому что очень трудно попасть. Кроме того, даже один-единственный комар своим судорожным поведением создает впечатление, будто их десять. Он противно пищит прямо в ухо именно в тот момент, когда ты засыпаешь, ты в полусне бьешь себя в ухо без всякой, впрочем, надежды на результат; в ухо, конечно, попадаешь, в комара — никогда; и через минуту опять писк и опять нельзя заснуть. В ярости ты включаешь свет и откидываешь одеяло, предлагая комару уже нажраться и успокоиться, не мешать спать. Ан нет! Не садится, гад, боится, его инстинкт выживания и тут побеждает. Они из-за этого инстинкта даже мутировали; ей-богу, я видел у себя на кухне такого комара-мутанта. Он сел на розетку с вареньем, опустил туда хоботок и — что бы вы думали — лопал варенье! Крови им уже мало, им десерт подавай и вообще все, что можно урвать в наше трудное и для комаров время.

У Михаила глаза загораются. Это же тема! Ну чем, скажите, отличаются комары рижские и московские в своем поведении от людей — рижан и москвичей? Сколько общих черт! А сибирские комары? — развиваем мы тему дальше. Они же кидаются на человека без всякого страха; их совершенно не волнует, будут они убиты или нет. Пикируют и садятся бесхитростно, с простодушной прямоотой. О-о! здесь о многом можно подумать.

Мы хохочем и бежим к воде. Мы — те же, что и тогда, нас смешат или печалят все те же вещи, мы не переменились. Хотя очень многие наши друзья той поры переменились совершенно, почти неузнаваемо. И мы с ними больше не встречаемся.

Поговорили и об этом. Уходил теплый осенний день у моря, один из последних дней бабьего лета. Вот точно так естественно и печально уходит из твоей жизни чья-то другая жизнь, и ты даже не огорчаешься — все нормально, так и должно быть. Только почему в уходе лета, человека и жизни есть что-то общее, от чего ты всякий раз провожаешь лето так, будто видишь себя в этом желтом листе, в этих лысеющих деревьях, в этом море, которое все холоднее, в этом пляже, который постепенно пустеет... Даже тогда, когда тебе двадцать пять, ты все равно об этом думаешь и пробуешь на вкус у Рижского залива этот опасный коктейль из любви и тоски...

Давайте-ка вместе приедем на Рижский вокзал, сядем в фирменный поезд «Латвия» или «Юрмала» (он уходит чуть позднее) и тронемся в Ригу. Да, кстати, загранпаспорт не забыли? И виза с собой? Ну прекрасно, поехали. Нам сразу подадут знаменитое пиво «Алдарис» или «Алдарис зелта». «Зелта» — в переводе «золотое». Она, Рига, начинается с поезда. И под стук колес я начну рассказывать о том, как мы с Михаилом там жили. А потом мы приедем, и я поведу вас

по тем местам, где нам было хорошо, по местам нашей «малой Родины», которая теперь перестала быть нашей Родиной. Нам сказали: «Все, ребята! Это уже не ваша Родина, а наша». Что ж, ваша, так ваша, разве мы спорим... Но хотя бы внутренне: в сознании, в душе, да к тому же и в детстве — все равно наша...

Экскурсия

Обратите внимание на это здание. Перед вами школа, в которой мы учились, 10-я рижская средняя школа с производственным, понимаете ли, обучением. С производственным потому, что это была одиннадцатилетка, и по окончании ее я, как и Михаил, получил специальность токаря первого разряда, чуть не оттяпав себе при обучении мизинец кулачком кулачкового патрона. А его будущей жене Велте, учащейся той же школы, повезло стать чертежницей-деталировщицей, и, если бы не это обстоятельство, не знаю, сумела бы она потом защитить докторскую диссертацию и преподавать в МГУ.

Да и Мишка тоже вряд ли чего-нибудь написал, если бы не стал токарем первого разряда. Однако если бы это было **самой** большой глупостью в нашей Отчизне, то мы все были бы просто счастливы.

Вот в этой самой школе мы и познакомились с Мишкой. (Поскольку мы с вами поехали в детство, я некоторое время буду называть его так, как тогда.) Мне тринадцать, ему двенадцать лет. Знакомство произошло во время легкомысленной игры в настольный теннис. Он всякий раз рассказывает, что, мол, играли мы в настольный теннис, и я, проиграв, решил взять реванш тем, что спросил: скольких девочек он уже целовал? Зардевшись, он соврал, что одну. На что я с нахальством опереточного любовника якобы небрежно ответил, что у меня, мол, за плечами уже семьдесят пять оцелованных девочек. В каждом новом изложении количество девочек растет, и на моем бенефисе в театре (а бенефис потом плавно перешел в выступления друзей) Мишка назвал цифру восемьдесят шесть. Но, согласитесь, сатирик без гиперболы — это хуже, чем песня без баяна, чем ежик без иголок, чем токарь (даже страшно подумать!) без кулачкового патрона.

А сейчас наш экскурсионный автобус приближается к перекрестку бывших улиц Кирова, Свердлова и Стрелковой. Налево — Стрелковый же парк. Тут многие места назывались «стрелковыми», очевидно, в честь легендарных латышских стрелков, которые помогли Ленину закрепить успех Октябрьской революции. Бывшую улицу Ленина, центральную, разумеется, магистраль города, мы уже проезжали. Через несколько десятков лет потомки латышских стрелков возненавидят тот режим, который их же деды помогли устанавливать, и станут мстить кому ни попадя за свое попранное этим режимом детство. Больше всех достанется русскому языку, но пройдет еще несколько десятков лет, и (где-нибудь в 2030 году) выяснится, что русский язык — как раз то, что следовало сохранить, если ты хочешь остаться в поле мировой культуры. Но это сейчас не важно, и к теме нашей сегодняшней экскурсии отношения не имеет. А тема — «Юность Задорнова и его друзей».

Вот тут, на улице Свердлова, в доме № 4, жил я, а за углом, на улице Кирова, метрах в ста пятидесяти от моего дома — Миша.

Вот, взгляните направо, на этот красивый дом в тенистой части улицы. Он не просто красивый, он, я бы сказал, элитарный дом. В нем проживал классик советско-латышской литературы Вилис Лацис. Помните роман «Сын рыбака»? Не помните?.. Ну ничего страшного, просто вам придется поверить мне на слово, что Янис Райнис и Вилис Лацис являлись национальной гордостью Латвии. И только потому, что Мишин папа тоже был классиком (только русско-советской литературы), он и его семья имели право жить в этом, почти мемориальном, до-

ме, в квартире №1, всегда поражавшей меня своими размерами и солидностью. Потом, когда в России и Латвии победила демократия и обе страны стали свободными, семью Задорновых из этого дома «попросили».

Они познакомились с новым словом «реституция», и знакомство оказалось неприятным. Согласно реституции, некоторые дома возвращались прежним владельцам. Объявился владелец и этого дома. Но, слава Богу, к тому времени у Миши была уже возможность переселить семью на новое место. И, слава Богу, что его отец этого уже не увидел.

Теперь я хочу вам немного рассказать о Мишином отце, Николае Павловиче. Он был лауреатом нескольких Государственных премий и писал хорошо и основательно. Николай Павлович (традиционно для почти всех крупных писателей) не любил истерическую сутолоку больших городов, а любил покой и простор. Все это было в Риге, поэтому Мише повезло вырасти там, где много воды, зелени и неба, как, впрочем, и вашему экскурсоводу, выросшему там же, но в семье простого русского офицера или, как сегодня тут принято говорить, — оккупанта.

Теперь мне кажется, как это ни цинично, что нашим отцам отчасти повезло не дожить до того состояния демократии, которое приличные люди называют обыкновенным хамством, а не очень приличные — свободой. Кстати, крылатая фраза Задорнова о «стране с непредсказуемым прошлым» родилась отсюда, из этого детства, из жизни его отца, который ну ничем не провинился перед Латвией, однако был посмертно наказан выселением. Да и мой отец именовался тут сначала «воинно-освободителем» от фашизма, зато теперь он «оккупант», а фашисты, наоборот, — хорошие!

Воспитание, осанка, манера поведения достались Мише в первую очередь от Николая Павловича. Николай Павлович словно олицетворял собой образ русского прозаика, неспешно и серьезно размышляющего о жизни и своем месте в ней. Эта статья, эти летящие назад седые волосы, эти очки в тонкой оправе на породистом лице, да еще — трость, на которой покоится рука, временно отложившая перо, да еще — честность и высокая нравственность во взоре (именно взор, заметьте, а не какой-нибудь простой взгляд), и в нем к тому же — груз ответственности за судьбу русской литературы на латышской земле — ну все буквально выдает в нем маститого писателя!

Обычно такие лица бывают скучны — именно своей маститостью и назидательностью. Скучные, сановные, добропорядочные лица. Порядочней самой порядочности. Они так и лучатся миссионерским светом.

Все было бы так, если бы не веселая легкость, потаенное лукавство и даже озорство, поблескивающее из-под его очков. Они намекали, что все тут не так одномерно и просто, что он знает гораздо больше, чем показывает, и что этот маститый, казалось бы, реликт все время слегка потешается над вами и над вашим петушиным максимализмом. Эта догадка обескураживала поначалу, при первом знакомстве, но он все равно заставлял вас раскрываться дальше, потому что проявлял к вам настоящий интерес, и это вам льстило. Мишин папа проявлял всегда живое, веселое любопытство к собеседнику и ко всему вокруг, хотя теперь я понимаю, что это не только черта характера, это было важнейшей составляющей его писательской профессии: писатель, наверное, просто обязан быть любопытным и наблюдательным. И точность его, Николая Павловича, наблюдений временами смущала нашу юношескую самоуверенность и наглость. Он специализировался, так сказать, на Дальнем Востоке, именно эта часть страны была местом действия большинства его романов. У всякого маститого писателя имелся тогда свой застолбленный участок, свой писательский ареал. У Маркова, например, Сибирь, у Задорнова Дальний Восток.

А будущий писатель-сатирик, его сын, живет себе в Риге, Дальний Восток для него — совсем дальний, он потом только узнает, что его близкий друг Вова родился там же, в городе Уссурийске. И спустя полжизни Миша будет ставить памятник отцу на Дальнем Востоке, на берегу реки Амур, и Дальний Восток, таким образом, объединит нас всех снова. Я уже говорил, что в судьбе ничего не бывает случайным, надо только уметь это замечать.

А сейчас вернемся чуть назад, к перекрестку и Стрелковому парку.

После уроков, домашних заданий, тренировок, став на пару часов свободными, мы встречались вот на этом углу Свердлова и Кирова и шли в Стрелковый парк гулять. Угол Свердлова и Кирова у всех мальчишек нашего района назывался «пятак»; именно на «пятаке» назначались встречи, нередко там вспыхивали драки, но, замечу, никогда не было драк русских с латышами, да и латышский язык мы учили вполне добровольно с четвертого класса, справедливо полагая, что надо знать язык и культуру того места, где живешь. Я даже теперь могу кое-как объясниться на латышском языке, а тогда даже разговаривал.

Сейчас будет набор существительных, которые для многих — ничто, а для нас с Михаилом — все, быть может, даже лучшая часть жизни; и минимум остальных слов, которые тоже могут вдруг понадобиться...

Итак: парк, старые деревья, канал, по берегам заросший ряской, лебеди на нем, кем-то построенный домик для лебедей, в котором ни один уважающий себя лебедь жить не станет (Задорнов потом расскажет об этом домике на концерте, добавив, что на нем висела табличка: «Посторонним вход воспрещен». И с соответствующими комментариями типа «Посторонним лебедем?..» или «Кому придет в голову ползти в этот домик?») Я, честно говоря, этой таблички не помню, но органичный симбиоз увиденного, а затем доведенного до маразма — всегда был одним из его основных приемов). Ну, дальше... Беседка у канала, каменные ступени, слегка тронутые мхом, — вниз к воде; фонтан в глубине парка, никогда не работавший, в виде какого-то каменного идола (у него изо рта должна была бить струя, но я это видел только один раз в жизни); скамейки, на которых тогда еще ни один балбес не увековечил свое имя; первые поцелуи на этих скамейках со школьными же девочками — скромный и целомудренный, я бы сказал, сексуальный опыт. Нежность, романтизм, сентиментальность, которые было стыдно выразить. Тени, фонари, запах сирени, стихи, готовность № 1 к любви, которой пока все не было; мучительный и ложный стыд от того, что выгляжу не так, говорю не так, беру за руку не так, может быть, не нравлюсь, а навязываюсь... Словом (процитируем еще одного эстрадного автора), «я не умею понять, я не умею обнять». Только в его песне как-то не сквозит желание научиться обнять, а вот у нас сквозило, да еще как! Кстати, наверное, пытаюсь изо всех сил освободиться от пут этой застенчивости, мы иногда пускались в совершенно наглые авантюры, которые можно было бы квалифицировать только статьей «хулиганство».

Однажды Задорнов был переодет в девушку: ему был сделан соответствующий макияж (сестра Мила помогала), были надеты черные чулочки (не колготки, замечу, так как это потом сыграло свою роль), подобраны туфли на высоком каблуке (он в них едва втиснулся) и даже какая-то ретро-шляпка с вуалеткой.

И пошли мы по улице Кирова к улице Ленина, то есть к самой центральной улице во всех городах страны в то время.

Сценарий поведения был неясен: помню, мы должны были изображать ссорящуюся пару, а дальше — как пойдет. Моя роль была попроще, я все-таки изображал юношу, а значит, в некотором смысле был ближе к себе; Мишке же было сложнее: туфли жали, навыка хождения на высоких каблуках не было, кро-

ме того, перед ним стояла нелегкая задача свой ломкий юношеский баритон каким-то образом превратить в девичий щебет; единственным способом, известным нам, было перейти на дискант; это звучало фальшиво и визгливо, но, как ни странно, работало на образ, придавая ему омерзительный оттенок капризности, склочности и вульгарности. Таким голосом можно и нужно ругаться на базаре. В создаваемом наспех образе угадывалась стерва...

И вот пошли... Кстати, о «пошли». Мало того, что туфли на высоком каблуке, мало того, что они жали, он ведь пытался еще при этом изобразить женскую походку. Поэтому, почти хромая, не забывал развязно вихлять бедрами и в манере вокзальной шлюхи мне что-то выговаривать. На нас стали обращать внимание мужчины, вернее — на «нее». Они, видимо, думали, что «она» сейчас со мной поссорится и тут они ее, тепленькую, и возьмут. Поэтому некоторые встречные мужчины просто разворачивались и шли за нами, вождельно глядя на задорновские ножки. Положение становилось критическим, игра зашла далеко. А тут у него еще спустился чулок. Становилось совсем конфузно. Шмыгнув в ближайшую подворотню, Мишка задрал юбку и стал поправлять сползающий чулок. Это была уже откровенная эротика с точки зрения трех-четырех мужчин, как бы невзначай остановившихся возле. Но один из них, самый наглый, подошел поближе, чтобы лучше видеть. Тут бы мне, наконец, вступить за честь «дамы», но Задорнов меня опередил. Он к этому времени уже «закипал». Швырнув подол юбки на место, он нарочито косолапо пошел на эротомана и, возвращая голос в привычный регистр, этак баском рывкнул ему: «Че те надо? Че те надо? Я вот тебе щас как дам! Пшел отсюда!»

Надо было видеть лицо того мужика. Отвисшая челюсть и выпученные глаза человека, который почувствовал, что вот именно сейчас он сходит с ума, что поехал чердак, который он никак не может удержать на месте. Он тряс этим чердаком и пятился от Задорнова, как от привидения. Наверно, бедный, долго потом на улице к девушкам не подходил. Но и это еще не все. Надо было возвращаться домой. И быстро. С чулком отношения не налаживались. Поэтому обратный путь мы проделали бегом, не придумав ничего более изящного, чем пустив меня впереди, а его (ее!) — сняв туфли, в одних сползающих чулках — за мной с визгом: «Когда, сволочь, будешь алименты платить?!»

Простим юношам сомнительный характер этой шутки и не будем забывать, что начинающие сатирики почти всегда шутят грубовато, а это был всего-навсего тест на преодоление застенчивости. Я подозреваю теперь, что в отношениях с девочками именно это было основным, а не сами девочки. Поэтому любовь школьная была похожа на самовнушение и накручивалась воображением. И только для того, чтобы она увлеклась, произнесла слова заветные, чтобы совершился акт самоутверждения, чтобы понять, что я в этом вопросе — не последний, что я могу нравиться и даже, возможно, быть кем-то любимым, пусть даже на уровне слов, но главное — вырвать признание. То есть, получается, и это носило спортивный характер, все было в одном ряду: перестать быть толстым, перепрыгнуть всех, быстрее всех пробежать, а также покорить девочку, и хорошо бы — не одну. Это вздорное желание однажды чуть было не закончилось трагически.

Наташа

В Мишином классе была одна необыкновенно хорошенькая девочка — Наташа. Полшколы любило примадонну школьного драмкружка Люсю, остальные, обладавшие более изощренным вкусом, — Наташу. Насчет вкуса объясню: Люсю, яркую, кокетливую, сексуальную, с лицом, словно созданным для рекла-

мы косметических средств, мог полюбить каждый дурак (и юноша Володя в том числе), Наташу же нужно было еще разглядеть — и только хорошенько разглядев — оценить по достоинству, а затем полюбить. Такие поселяются в сердце надолго, их скромная, неяркая красота — долгоиграющая пластинка, многолетние цветы, и такая же скромная, тихая, но верная любовь к ним тлеет тоже очень долго, но не сгорает, а плавно переходит в нежную привязанность.

С такими же, как Люся, все происходит настолько же страстно, насколько и скоротечно. «Горело — остыло, горело — остыло, спасибо тебе, спасибо, за то, что было», — как было спето еще в одной эстрадной песне об отгоревшей любви.

Десятки юношей-романтиков вздыхали по Наташе, не смея подойти близко, не смея даже заговорить. А все потому, что ее опекала многочисленная компания, где были даже ребята, вплотную приблизившиеся к криминальному миру. Одним из авторитетных людей в этой банде, таким капо-реджиме районного разлива, был наш школьный рок-певец Женя. А наш барабанщик Костя был не просто поклонником Наташи, он поклонялся ей в буквальном смысле этого слова, как идолу. А для всей банды она была чем-то вроде талисмана, неприкосновенной звезды, мадонны, чистейшей прелести чистейшим образцом. Поэтому судьба Наташи в тот период была печальна: она могла принадлежать только всем вместе и никому в отдельности. Так они «справедливо» решили, превратив Наташу во цвете лет в некий музейный экспонат, в этакую картину Леонардо, на которую все должны любоваться на расстоянии, а прикасаться — ни-ни!

Укравший эту картину или даже попытавшийся украсть — естественно преступник, причем самый страшный, нарушивший неписанный закон улицы, братан, плюнувший в самое братство. Вот таким преступником и оказался пылкий юноша Володя, начавший тайно встречаться с Наташей. Положение неприкасаемого музейного экспоната, надо сказать, Наташу тоже тяготило. Девушка к тому времени вполне созрела для конкретной любви, а массовое обожание могло удовлетворить одно только тщеславие. Но сколько же можно? Где тот смельчак, который шагнет, конкретно возьмет за руку и конкретно поцелует?! Где он, где?! Но никто не смел, все боялись Наташиной «крыши». Храбрый и авантюрный паренек Володя, уже в то время очень любивший нарушать запреты, отважился. Но, видно, не столько потому, что был таким уж отчаянным, сколько потому, что умел быстро бегать.

Вот это его однажды и спасло. Стрелковый парк вам уже знаком. Теперь представьте вечер, но не поздний. Закат, короче. Спокойная гладь канала, беседка с белыми колоннами, и на другом берегу, строго напротив, скамейка, на которой сидят голубки, взявшись за руки. Две маленькие фигурки в чем-то светлом тонут в густой зелени парка. Блики заходящего солнца, причудливые тени — все на месте. В гармонию природы и чувств врывается странная, диссонансная нота. Это на другом берегу кто-то истошно кричит: «Вот они!»

Слева и справа от лирической пары два мостика через канал, метрах в ста друг от друга. Тот же голос кричит: «Окружай! Десять человек — на тот мостик, десять — на этот!»

Руки разомкнулись, глаза влюбленных тревожно всматриваются в тот берег, на котором так неожиданно появилась знакомая банда в неполном, но все равно впечатляющем составе. Они уже разделились и бегут к двум мостикам. На размышления и решение остается несколько секунд. «Беги, — говорит Наташа, — я их задержу!» «Ни за что! — отвечает Володя, — я остаюсь! Я их не боюсь!» Лицо у рыцаря, однако, блее его рубашки. Голубые Наташины глаза кричат и плачут. «Беги быстрее! Ты что, их же там толпа, они искалечат тебя». Наташа — в принципе разумная девочка, она понимает, что силы не равны, что

своим первым ответом Володя честь уже сохранил, поэтому в оставшиеся пятнадцать секунд честь можно как ненужный в данных обстоятельствах антиквариат отодвинуть и принять разумное, единственно верное решение.

«Беги же, беги! — опять повторяет Наташа. — Я их задержу!» Она полна решимости спасти любимого во что бы то ни стало, даже ценой собственного подвига. «Как она обо мне беспокоится!» — довольно мурлычет Володино тщеславию, но времени на осмысление сердечной победы совсем нет. «Ну... ладно», — еще чуть медлит он, хотя решение уже принято.

«Давай!» — Наташа толкает его в направлении единственной оставшейся свободной щели в неотвратимо смыкающемся кольце врагов, и Володя делает спринтерский рывок за пределы кольца — к другому выходу из парка, к трамвайной линии. Он знает, что в курящей банде не найдется равных ему бегунов, и метров через тридцать — пятьдесят даже позволяет себе привстать и оглянуться. Он видит, что левый мостик уже опустел и ребята мелькают за ближайшими деревьями. А посреди правого мостика стоит Наташа с растопыренными руками и кричит в набегающие лица: «Не пуцу-у!!!» Кричит в предельной истерике совершаемого подвига, в последнем броске на амбразуру дота. Но летящие пули не остановить розовыми лепестками Наташиных ладоней. Лица у них напряжены веселым азартом погони и предстоящей крови, поэтому они сметают Наташу с пути, как попавший под ноги газетный лист, и, не снижая темпа, бегут дальше, крича и воя от счастья травли, травли зайца, улепетывающего сейчас к трамвайной линии. Они даже забыли, что именно Наташа — причина погони, что она — центр сюжета; она вдруг перестала быть главной и, сшибленная с ног, сидит сейчас на мостике, закрыв лицо руками, и, видимо, плачет.

Все это за одно мгновение успевает увидеть Володя, потом продолжает бег, но уже как-то на автопилоте, формально, желание убежать почему-то пропадает. Тем не менее он метрах в двадцати от преследователей, а перед ним, тоже метрах в двадцати — трамвай, который в этот момент как раз на остановке. Володя делает последнее усилие и успевает влететь в трамвай. Погоня уже совсем рядом, но, кажется, вагоновожатому не улыбается перспектива иметь в своем трамвайном салоне агрессивную шпану, он закрывает двери, и трамвай трогается. Однако один, самый резвый, настигает трамвай и цепляется за «колбасу»... (На всякий случай поясню, что позади трамвая тогда была крохотная лесенка, похожая на укороченный корабельный трап, а внизу — такой большой металлический штырь, на который можно было встать, уцепившись за лесенку. И ехать вот таким образом и означало — ехать на «колбасе».)

Итак, внутри трамвая заяц, а один вырвавшийся вперед гончий пес висит сзади на «колбасе». Володя видит его лицо: на нем постепенно сглаживается и исчезает азарт погони, пропадает собачья радость от того, что догнал, зато медленно появляется растерянность: он ведь теперь без кодлы, а он так не привык. Но он еще храбрится, показывает Володе кулак сквозь заднее стекло и беззвучно матерится. У Володи же совсем нет радости от того, что спасся, он чувствует, что все равно поступил как трус, оставив там Наташу, и это бегство будет с ним всю жизнь, если он сейчас не сохранит лицо. И, поскольку трамвай подходит к следующей остановке, он решается и выходит навстречу судьбе.

Судьба в лице преследователя не знает, как себя вести. Все шло более-менее прилично: заяц внутри, он снаружи, все на своих местах, погоня как бы продолжается, а там, может, и пацаны подтянутся, но тут — на тебе, выходит из трамвая и идет к нему, надо полагать — драться. Так можно было бы самому соскочить, а потом сказать пацанам, что не догнал, а так все — придется исполнять долг. Он соскакивает с «колбасы» и прыгает перед Володей, принимая боксерские, как ему кажется, позы. В его глазах неразрешимая тоска охотника-диле-

танта, случайно в одиночку завалившего в глухой тайге медведя и не знающего, что делать с трофеем. Поэтому он танцует перед Володей в боксерской стойке и подбадривает себя смелыми всхлипами типа: «Ну давай подходи, щас получишь, щас заработаешь». И Володя покорно подходит, сокращая дистанцию. Но тому этого вовсе не надо, нельзя допустить, чтобы атака стала неизбежной, поэтому он угрожающе бормочет: «У меня первый разряд по боксу, нам в секции запретили драться на улице, но тебе я дам! Ух, я тебе да-ам! Ух, как я тебе...»

Они поменялись ролями, и он сам теперь превратился в зайца, решившего показать клыки — в хищного такого зайца. Однако заяц с клыками — как и тигр с морковкой, торчащей из пасти,— выглядит странно. Володя смеется... Пацан озадачен. Он опускает руки и смотрит на Володю с надеждой на то, что тот сошел с ума. И тут Володя говорит: «Идем! Отведи меня к ребятам. Я хочу поговорить с Женькой и остальными». Это подарок, это наилучший выход для непутевого члена кодлы, который без кодлы — ноль, ничто. Он сейчас приведет Володю, как единственный, кто его догнал и поймал.

— Как? — все еще не веря в удачу, спрашивает он.

— Да так,— подтверждает Володя.— Скажешь, что ты меня поймал. Я сдался.

— Сдался? — радуется пацан.

— Сдался,— говорит наш Дон Жуан.— Идем.

И они идут назад к парку, Володя — в роли пленного — чуть впереди, пацан — в роли конвоира — чуть сзади.

На лужайке перед скамейкой, на которой сидели влюбленные, собрались все преследователи. Они не знают, что теперь предпринять, но предпринять хочется. А дичь ускользнула из-под носа, и стоять, лязгая челюстями вхолостую, гончие долго не могут. И тут, о радость! — один из них ведет беглеца, ведет прямо к ним. Поведение беглеца абсурдно: он что, не знает, что с ним сейчас будут делать? Но нет, идет смело, прямо в гущу легавых. Те невольно расступаются и обращаются с немymi вопросами к конвоиру: мол, что происходит? Сам идет на плаху или ты заставил? Конвоир, превратившийся в одночасье в первое лицо погони, пожимает плечами и скромно улыбается, но это скромность героя, которому самому как-то неудобно признаться, что это он поймал, ребята же тоже участвовали, так что пусть сами догадаются.

На лужайке — предвоенная тишина, предгрозовая; тишина, беременная дракой, мордобоем, расправой и кровью. Володя почему-то не чувствует страха и смотрит на себя как бы со стороны, как в кино, будто это и не с ним происходит. Готовую вот-вот лопнуть тишину нарушает его спокойный голос: «Я хочу говорить с Женькой. Где главный? Где Биньковский? Я ему все объясню». Но тон военного атташе, приехавшего на переговоры о перемирии во вражеское посольство, тут не проходит.

«Объяснить он хочет, кобель недорезанный,— раздается сзади вибрирующий тенорок, веселый и наглый, как реклама на телевидении. Это один из самых отпетых «пятаккистов» Игорь Лаптин, отзывающийся, конечно же, на кличку Лапоть.— Щас я тебе сам объясню, падла»,— говорит он, медленно вынимает из кармана финку, нажимает — и выщелкивается длинное лезвие.

Кодла безмолвно расступается; в образовавшемся круге — двое: Лапоть и доморощенный рижский Ромео, который, несмотря на запрет, покусился на икону и сейчас за это расплатится кровью. Он тем не менее продолжает, как это ни странно, не бояться и глядеть на эту ситуацию, будто из зала кинотеатра — на вульгарный боевик, в котором героя сейчас пырнут ножом.

Лапоть, разогревая себя, делает дежурный такой, без души, выпад финкой. Володя, качнув корпусом, легко уходит от удара. Лапоть рычит и повизгивает,

но чувствуется, что ему и самому не очень-то хочется попасть финкой в Володю; он уже однажды сидел и во второй раз не жаждет, однако репутацию крутого парня среди своих ему тоже терять не хочется. И он делает ложные замахи, дергает корпусом, и финка играет и блестит в его руке. Взгляд Володи прикован к ножу, и ясно, что в этом балете должны быть и кода, и финал, Лапоть обязан ударить; все ждут, у него просто выхода другого нет, он ведь не пижон какой-нибудь, не фраер дешевый, который вытащил перо, чтобы только его показать, пырнуть придется, а то пацаны не поймут, авторитет потеряет. Лапоть это начинает осознать и, видно, решается, переходит к коде, лезвие в его руке вертится все быстрее, и отборный мат, который сопровождал его действия, становится сначала громче, а потом сильно обогащается всем, чему Лапоть научился в зоне.

И все громче и яростнее ругается Лапоть, потому что ему самому перед решающим тычком под ребра нужно довести себя до блатной истерики, до состояния сладкого аффекта, когда все по фигу. А вообще-то он парень тщедушный, маленький, даже с горбом небольшим, да и в зоне, по слухам, его никто не чтит, и он, что называется, спал у параша. И тем не менее сейчас что-то произойдет, будет финал,— чувствует Володя и тоже готовится, сейчас ему должна пригодиться спринтерская реакция, приобретенная в легкой атлетике. Он уже не смотрит на нож, он смотрит Лаптю прямо в лицо, надеясь предугадать по глазам момент удара. Лапоть делает шаг вперед, и Володя понимает: сейчас!..

Милиции, конечно, нет, но обиднее всего то, что и Наташи нет, она не видела, как он вернулся, и не увидит, как он геройски погибнет из-за нее или будет тяжело ранен.

«Получай, ссучара!» — ликует Лапоть и делает короткий решающий замах. И тут сбоку раздается резкий окрик: «Стоять!» Рука с ножом где-то на полпути притормаживает, теряет темп, будто споткнувшись об этот окрик, но по инерции продолжает двигаться прямо к Володиному животу, и тогда Володя неумело, обеими руками блокирует этот уже потерявший энергию удар. «Стоять, кому сказал!» — опять раздается резкий окрик Женьки Биньковского, ибо это именно он, и Лапоть неохотно опускает нож, потом вдруг перебрасывает из правой руки в левую, причем делает это даже весело, красиво, не без лихости — мол, эх, не получилось кровушки пустить! — подбрасывает эдак винтом, лезвие крутит пирует вокруг своей оси, и пока Володя любит его полетом, ловит нож левой рукой, а правой бьет Володю в челюсть — с паршивой, как говорится, овцы хоть шерсти клок. Володя, к своему удивлению, успевает среагировать и на этот удар, успевает чуть-чуть отклонить лицо, и удар получается скользким, ссадина на скуле — не более, но он понимает Лаптя и из вежливости падает. Лапоть гарцует перед телом поверженного противника, но тут же получает тычок в живот от Женьки. Женька тут непререкаемый авторитет, сидел ты там или не сидел — не важно, а его команды надо выполнять, о чем Женька Лаптю и напоминает. Лаптю надо слушаться, повиноваться, но это ему, однако, не запаadlo, что в переводе с его языка на интеллигентный означает, что повиновение в данном случае не унижает человеческое достоинство Лаптя и не ущемляет его гордость, а, наоборот, сохраняет в коллективе принятую иерархию и поддерживает дисциплину.

Женька берет Володю под руку и отводит в сторону, на отдельные переговоры. Переговоры проходят парламентарно, вежливо. Впрочем, что это я? Посмотреть, что творится в некоторых парламентах (я не только наш имею в виду), и поймешь, что поведение кодлы во главе с Женькой Биньковским по сравнению с ними — ну просто открытие Каннского фестиваля или бал в Аничковом дворце в присутствии императора. Поэтому и наш с Женькой диалог

представляет собой не какую-нибудь там мерзкую мокрушную *разборку*, а вполне доброжелательный *разбор* полетов, при котором анализируются взаимные претензии, а также ошибки сторон, чтобы их больше не повторить. Тем более что Женька понимает: нам вдвоем еще в школьном ансамбле петь да петь.

— Ты скажи мне, засранец, на кой хрен ты встречался с Натальей,— говорит Женья,— мне когда сказали, я не поверил.

— Да я...

— погоди, дай я скажу. Будто ты не знаешь, что, во-первых,— Женька загибает пальцы,— она ничья...

— А почему...

— Заткнись. Потому что ничья! Ноль-ноль, понял! Во-вторых, Костя Дмитриев на нее молится, и ты поступаешь не как товарищ, а как последняя паскуда. Он на нее молится, а ты в этом храме насрал, согласен?

Я согласен лишь отчасти и хочу сказать, что если я Наташу тоже люблю, то мои действия можно хотя бы частично оправдать. Но Женька это почти предвидит и еще не слетевший с моих губ аргумент бьет своим последним доводом:

— И, наконец, третье и самое поганое: ты Наташу, если по-честному, и не любишь вовсе, тебе, говнюку, не Наташа нужна, а победа; ты хочешь, чтобы она в тебя влюбилась, чтобы никто не смог, а ты смог. Занимался бы Люськой из драмкружка, спортсмен херов, она ведь только для этого и живет. А Наташу не трогай... Значит, мы с тобой так договоримся: если ты мне обещаешь, что больше с Наташей встречаться не будешь...— Женька задумывается, видно, у него сейчас мелькнула мысль, что обещать-то я могу, а потом... У меня, к слову сказать, она тоже мелькнула, но Женька это будто прочитал.— Нет, так легко ты не отделаешься,— говорит он.— Мы сейчас идем к тебе, и ты при мне ей звонишь.

— А если ее...

— Дома она,— перебивает Женька,— ее уже всю в слезах ребята домой отвели.

— В слезах? — робко радуется Володя.

— Ага, в слезах... По тебе, кочерыжке капустной.

Тут Женькин взгляд ползет брезгливо от моего лица до ног, рисуя вопрос: и чего это школьные красавицы находят в этом попугае? Потом он вспоминает о своем заветном и тихо выжимает из полузакрытых губ, как пасту из тюбика, слова:

— Печорин... Мать твою...

Мы оба вспоминаем подпольную книгу «Герой нашего времени», поэтому улыбаемся, но так, чтобы никто не видел.

— Домой к тебе идем,— продолжает он.— Ты звонишь при мне и говоришь, что, мол, так и так, больше встречаться не будем.

— Она спросит, почему? Спросит, не избили ли меня? Подумает, что меня избили и запугали.

— Не волнуйся,— говорит Женька,— за свою гордость, поздно за нее волноваться. Ты скажешь, что отказываешься от встреч ради друга Кости, и это будет справедливо.

— Все так,— говорю,— но мы ее не спросили.— «Мы» уже говорю, словно теперь мы с Женькой в сговоре против Наташи.— Может, Наташе будет плохо от этого, может, она уже давно меня любит.

— А вот это меня не гребет,— говорит Женька уже более строгим голосом.— Про это ты не волнуйся, это не твоя забота. Можешь ты, козел, не для себя хоть что-нибудь сделать?

— Так я как раз о Наташе...

— Не на-а-до. О себе, а не о Наташе! Хочешь и на елку влезть, и жопу не ободрать... Ты только не думай, что сможешь нас надуть,— продолжает он.— Что сможешь отказаться по телефону, а потом встретиться тайком, все объяснить и продолжать. Не выйдет. Мы будем за вами следить. А если не пойдешь сейчас звонить, мы тебе здесь же ноги переломаем, а если обманешь потом, то уж я Лаптю мешать не стану, пусть он тебя разрисует, как умеет.

— Ну хорошо,— с глубоким вздохом то ли сожаления, то ли облегчения соглашаюсь я,— идем...

— Ребята, все в порядке, мы договорились,— обращается Женька к собравшейся ассамблее. Они стоят, смотрят: не все еще ясно, почему нужно расходиться, так и не поколотив Зеленого (Зеленый — это у них моя кличка, надо полагать — из-за фамилии).— Он больше не будет. Скажи, что ты больше не будешь,— толкает он меня в бок.

— Да,— говорю,— не буду.

— Нет, ты скажи им внятно: я больше не буду.

— Я больше не буду,— покорно повторяет наш «рыцарь», понимая, что это звучит совсем по-детски; презирает себя за это еще больше и, чтобы окончательно не упасть в своих глазах и, что еще важнее — в их, произносит свое «больше не буду» с выражением: я сейчас вынужден, но все равно — буду, буду, и не надейтесь. Но никто, на его счастье, этого подтекста не замечает, и ребята с негромким и недовольным ропотом начинают расходиться. Мы с Женькой идем звонить.

Все происходит, как и предполагалось, она кричит в трубку что-то вроде: «Ты жив?» — я подтверждаю, что жив и даже невредим.

— Да? Ты не врешь? — не доверяет Наташа, и даже легкое разочарование слышу я в ее голосе.

— Да. Мы должны встретиться, я тебе кое-что должен сказать.

Женька начеку, он шепчет рядом:

— Никаких встреч! Сейчас объясняй, по телефону.

Но я же не могу передать Наташе по телефону, что мой разговор под контролем, а потому я сейчас буду говорить не то, что думаю. Однако приходится, и я говорю все то, о чем условились с Женькой. Телефон стоит в коридоре, проходят соседи, с любопытством косясь на нашу пару, и Женька со всеми здоровается, улыбаясь, а мне от этого еще неудобнее. Единственная надежда на то, что потом как-нибудь найду способ объясниться с Наташей, которая никак не может разгадать драматический ребус: почему я хочу отказаться от нее? И я чувствую, что она начинает подозревать меня в простой трусости. Но ведь я по большому-то счету не испугался ничего на протяжении всего прошедшего эпизода, однако по телефону не подмигнешь, а товарищескому патриотизму по отношению к влюбленному в нее Косте она не доверяет.

— Почему, ну почему? — шепчет она и, слышу, начинает плакать.

«По кочану»,— стандартно ответил бы поздний Качан на этот сакраментальный вопрос, а сейчас он категоричным тоном майора внешней разведки, отправляющегося в бессрочную командировку в одну из стран НАТО и вынужденного объясниться с женой по этому поводу, говорит:

— Так надо!..— Суровая непреклонность этой фразы, ее чекистский холодок чуть скрашивается последним повтором, мягким, утешающим и ласковым (вот крючок в будущее, только бы она поняла!).— Так надо... Наташа...— И это единственное, что он сейчас при Женьке может себе позволить.

Воляда вешает трубку и поворачивается к командиру с немим вопросом: ну что, доволен? Так же безмолвно Женька выражает своим лицом, что получил полное удовлетворение. Заключение позорного Брестского мира можно отпра-

здновать в молочном кафе на углу, за бокалом полезного молочно-фруктового коктейля и тарелочкой хлебного супа со взбитыми сливками (фирменное блюдо латышских кулинаров).

Тем же вечером он перезвонил Наташе и рассказал о том, как он не убежал, а вернулся, и как потом сила его характера вынуждена была уступить силе обстоятельств. Наташа поняла. Далее он объяснил, что в силу тех же обстоятельств они некоторое время не встретятся нигде, кроме школы, за ними будут следить, и они имеют право только здороваться, но холодно и нейтрально. Наташа должна делать вид, что обиделась и он ее больше не интересуется, как трус и предатель. А потом он найдет способ назначить ей свидание в месте, где их не засекут.

Усыпив таким образом бдительность соглядатаев и заставив их поверить, что он играет по правилам, Володя, проходя как-то раз мимо Наташи на школьной перемене, случайно задел ее плечом, извинился и пошел дальше. Но именно в тот момент, когда задел, в кармашек ее школьного форменного передника попала записка, в которой Володя предлагал встретиться в 16.00 в читальном зале библиотеки на улице Стрелковой, идущей прямо к школе от Стрелкового же парка. Записка была передана ловко и незаметно, почти так же, как в некоторых шпионских фильмах, которые Володе довелось к этому времени посмотреть.

Он шел к месту свидания со спортивной сумкой, якобы на тренировку, и по минутно проверял, нет ли за ним «хвоста», все делая, как в кино: то у него шнурок развяжется, и он, присев его завязать, оглядит улицу, то вдруг что-то заинтересует его в витрине магазина и в отражении он опять проверит, кто там сзади; то юркнет в ближайший подъезд и выйдет тридцатью метрами дальше через проходной двор — все было глупо — никому он был не нужен. Но интересно же! Адреналин играл в крови нашего местечкового Абея, и он рывками и зигзагами приближался к месту «явки», к библиотеке. В последний раз оглядевшись перед дверью, он вошел. Наташа уже была там. С белым лицом сидела она за дальним столом читального зала, напряженно уставившись в дверь, и руки ее машинально перелистывали интереснейший справочник для садовода-любителя в поисках главы «Перекрестное опыление». Ее порыв встать навстречу появившемуся Володе был им тут же пресечен, он сделал ей знак оставаться на месте, взял себе тоже кипу каких-то журналов и сел недалеко от раскрытого окна спиной к нему и лицом к Наташе. Их разделяло семь-восемь столов, но народу в зале было мало, и никто не заслонял обзор дорогого предмета, который вместе с опасностью стал еще дороже и притягательнее. Они стали друг на друга *смотреть*. Но как! Все, что не могло состояться в физическом плане, выражали сейчас одни глаза, между первым и последним столом читального зала образовалось поле, ионизированное большими чувствами, электрическая цепь замкнула два полюса с разноименными зарядами «Наташа» и «Володя», и между ними пошел ток высокого напряжения. И это материализовалось настолько, что, когда Володины глаза гладили Наташино лицо, волосы, фокусировались на ее губах и даже расстегивали ее кофточку, Наташа краснела и эту кофточку поправляла, и волосы тоже — хотя *реально* к ней не прикасался никто! Семь столов между ними! Целомудреннее свидания и захочешь — не придумаешь.

И тут сзади прогремел выстрел... А произвел его не кто иной, как тихий барабанщик Костя Дмитриев. Он долго терпел, долго любил, им долго пренебрегали, и теперь Косте уже было нечего терять. Это он выследил — и не меня, разумеется, а Наташу; он ходил за нею по пятам, только она этого не знала и пренебрегла простыми правилами конспирации; хвост был не за Володей, а за Наташей, да еще какой! Опасный хвост скорпиона, готового им ужалить обидчика

в любой момент. У Кости было свое оружие, которое он сам же и смастерил. И никто даже из его друзей об этом не знал. Оно стреляло гайками. Умелец Костя изобрел, сконструировал и собрал свой пистолет — уродливое сооружение, даже отдаленно пистолет в его классическом виде не напоминающее. Однако сооружение стреляло. Гайками. Первый пробный образец взорвался при испытании в Костиной руке (об этом мы все позже узнали), и Костя два месяца играл на барабанах, держа палочку между средним и безымянным пальцем, а указательный так и остался согнутым навсегда, так как взрыв повредил ему сухожилия. Второй образец был испробован на мне и оказался удачным. В том смысле, что не взорвался и выстрелил как надо и в том направлении, в каком Костя и хотел, то есть в голову своего удачливого соперника.

Костя долго стоял у открытого окна читального зала и видел, что происходит. Читальный зал располагался на первом этаже, и Косте было удобно наблюдать. Он даже не скрывался особенно, потому что его могла увидеть только Наташа, а все ее внимание занимал другой. В честные намерения того, другого, Костя никогда не верил, и в слово, данное Женьке, — тоже, и теперь с горечью убедился в своей правоте. Однако не этот подлец вызывал в Косте такую боль, а весь облик Наташи, которая то краснела, то бледнела, глядя на другого, и во взгляде ее были такая нежность, такая мука необладания, что Костины страдания становились невыносимыми. Но он стоял, стоял, мазохистски выпивая до конца всю эту горькую чашу, наполненную своим отчаянием и болью. Ну как он мог сделать им обоим так же больно, как сейчас было ему?! Как отомстить? Ну, конечно же, выстрелить в голову Володе, сидевшему спиной буквально в трех шагах. И пусть он его убьет, пусть она потом всю жизнь терзается своей виной, а Костю пусть в наручниках и кандалах... пусть, но пусть она увидит, как он... пусть тоже пострадает... И Костя нажал на согнутый гвоздик, служивший в его самопале спусковым крючком...

Кончилось все трагикомично (вновь торжествует мой любимый жанр).

Костя не попал. Он промазал. Сознательно или бессознательно — теперь уже не узнает никто, да и сам Костя вряд ли смог бы ответить на этот вопрос. Он ведь не был хладнокровным киллером, рука его в последний момент дрогнула, и гайка, просвистев рядом с Володиным ухом, вонзилась в стену напротив, и не куда-нибудь, а в портрет совсем иного Володи — Ленина, висевший на этой стене, а еще точнее — прямо в середину высокого ленинского лба. Это невольное идеологическое преступление было тогда настолько страшнее даже настоящего убийства, что Костю прямо-таки парализовало у окна, как Фанни Каплан во время исторического покушения, когда она даже не пыталась бежать. Однако, что еще ужаснее, Костя оказался удачливее Каплан: прямо в огромный лоб, прямо в центр... Хотя и портрет, но все-таки... И в ужасе от своего диссидентского демарша Костя так и застыл с дымящимся самострелом в руке. Из состояния комы его вывел звон разбитого стекла. Портрет Ильича был застеклен, и стекло разнесло вдребезги. Однако нижний кусок держался в неустойчивом равновесии несколько секунд и все-таки рухнул на край Наташиного стола. Костя побежал.

Никто так и не узнал тогда, что это сделал Костя. Заподозрили латышского националиста, но не подтвердилось, никого не нашли. А Костя выбросил куда-то свое дикое оружие и больше им, слава Богу, никогда не пользовался. И вот что удивительно, мы потом продолжали с ним дружить как ни в чем не бывало, более того, смеялись вместе над этим эпизодом. И любовь у Кости как-то поухнула, стала ровнее, что ли, без эксцессов, и он попросил меня никому об этом не рассказывать.

— Не обязательно ведь знать кому-то еще, каким дураком я был, правильно!

— Правильно, — согласился я и не рассказал, только вот вам теперь.

Да и Наташа тоже молчала до поры, но все-таки втайне была горда: ведь не у всякой женщины в биографии есть момент, когда из-за нее стреляли и могли бы даже убить. Ну а что гайкой, так ведь про гайку можно и не упоминать, верно?..

Прошло много-много лет, и однажды в июле Задорнов организовал встречу одноклассников. К кому-то из них мы приехали в гости, они готовились, накрыли стол, и все пришли в чем-то праздничном: ну как же, к ним приехали столькие знаменитости, особенно Задорнов. Мы вошли, и Миша стал со всеми приветливо здороваться, он всех знал, он с ними регулярно встречался, поскольку намного чаще, чем я, навещался в Ригу. А мои родители переехали в Москву, и мне уже не к кому было туда приезжать. Я чувствовал себя растерянным и смущенным — я не узнавал многих, то есть нет, угадывал знакомые детские черты в чьих-то чужих физиономиях, но кто есть кто и как кого зовут — хоть убей, не помнил. А они видели мое замешательство, и им от этого было почему-то не обидно, а весело. Мне в пору было знакомиться со всеми по новой. Я пожимал всем руки, тоже улыбался, смеялся, но панический ужас от того, что я не помню, как кого зовут, делал мое поведение натянутым и безобразным, как у плохого конферансье, у которого ни одна шутка не проходит, а он все равно старается изо всех сил быть игривым и легким.

Будто в жестоком сне передо мной крутился хоровод расплывшихся тел, металлических коронок, дешевых духов, морщинистых шей, пухлых пальцев с впившимися в них обручальными кольцами.

«Боже мой, — думал я, — и ведь я в их глазах точно такой же! Чем я лучше? Тем, что меня по телевизору иногда показывают? И поэтому им легче меня узнать? Нет! Я такой же точно, как они, эти десятилетия ведь не сделали меня красивее и стройнее. Они же все помнят меня таким, каким я бегал стометровку за одиннадцать секунд. Они же могут сравнить! И я по сравнению с тем Володей проиграю... Однако нет, смотрю потихоньку и вижу, что я для них тот же Вовка, а писатель-сатирик — тот же Мишка, они не останавливаются перед кривыми зеркалами времени, просто не берут их в расчет, живут себе, и все. Сейчас! Этим годом, этим днем, этой минутой встречи. А вся драма (если это принимать за драму) человеческого старения заключается в том, что в дряхлеющем теле, болеющем туловище продолжает жить и биться тот же десятилетний мальчик и тринадцатилетняя девочка, восемнадцатилетний юноша и двадцатилетняя невеста, сорокалетний муж и сорокалетняя мать и далее, далее до тех пор, пока несовершенное тело каждой клеткой своей будет хранить эту память. Все ведь наши возрасты от нас никуда не деваются! Они продолжают в нас жить. Это все те же мы, только старше. Поэтому и разговоры те же, и интонации, и жесты, но все равно отрешиться от того, какие мы теперь, трудно. Так же, как трудно слышать почти каждую фразу, обращенную к тебе, которая начинается стандартным: «А помнишь?»

Да помню, помню, черт возьми! Но какое это *сейчас* имеет значение! И не хочу, не хочу я больше ничего вспоминать — ни как эти две тетки, а раньше — Анька и Зинка, делали за меня черчение, а другая тетка — Светка, объясняла мне химию и тригонометрию; ни то, как вот с этим лысым дядькой, тогда Сашкой, я впервые в жизни в пятом классе серьезно подрался. Я все боялся драться тогда, а он все лез и лез, зная, что отпора не получит и что за ним — еще двое. У этих троих была традиционная внеклассная забава: побить Качана. И начинать всякий раз должен был трусливый и нахальный Сашка, а эти двое стояли

сзади как моральная и физическая поддержка. И так всякий раз били, пока Вову кто-то из старших не научил бросить ранец и кинуться, молотя руками и ногами, не заботясь о том, попал или не попал. И он тогда кинулся, и Сашка, никак не ожидавший такой прыти, побежал, и остальные удивились настолько, что прекратили свои ежедневные издевательства после уроков.

Зачем мне его-то вспоминать? Но он говорит: «А помнишь...» — и я вспоминаю.

А уж ее-то ну совсем не хочется, и даже стыдно. Она — венец этой встречи, ее зовут тоже Наташа, как и *ты*. *Эта* о своем имени мне сама напоминает. Но перед тем, как назваться, меня мучает. Она подходит и говорит: «Ну, здравствуй». «О-о! — фальшиво радуюсь я. — Привет!» Молчим. Она говорит:

— Ну?..

— Что «ну»? — прошу я уточнить.

— Может, поцелуешь при встрече-то?

«А с какой стати?» — хочется мне спросить, но вместо этого я покорно целую подставленную щеку.

— Ну... — опять говорит она и опять молчит.

Мое смущение растет, я чувствую, что еще что-то должен, а что — не знаю.

— Ну и как меня, по-твоему, зовут?.. — спрашивает она, и я попался, но еще трепыхаюсь, еще чего-то пытаюсь...

— Здра-а-сьте, ты что это... ну, это уж совсем... — прикрываю я улыбкой свое беспамятство. Но ее не проведешь.

— Как? — допытывается она.

Я возмущенно и одновременно беспомощно развожу руками.

— Так как? — в последний раз говорит она и еще через пять секунд: — Ты *меня* забыл?.. — делая ударение на слове «меня». За этим стоит только одно: я мог забыть в нашей компании кого угодно, но только не ее. Значит, что-то в нашей школьной жизни было. Такое, что для нее стало, наверное, событием, а для меня — так, проходным эпизодом.

— Наташа меня зовут, — приходит она мне на помощь. — Не мучайся, я тебе сама напомню: я твой первый школьный танец, — улыбается она, — сначала танец, а потом другое — вспомнил?

А-ах! Черт! Ну конечно! Этот танец на школьном вечере. Пластинка итальянской эстрады, Доменико Модуньо, «Квартакелуна, квартакемаре», и мы с ней еле двигаемся в полутемном зале, над которым переливается огоньками крутящийся шар. Еле двигаемся, потому что ни музыка, ни ритм не важны, мы слиты в одно, мы тесно-тесно прижаты друг к другу, и мне почему-то кажется очень важным, чтобы она почувствовала, как взволнована нижняя часть моего тела, чтобы она ощутила мое эротическое вдохновение. И она чувствует, и прижимается еще теснее, и тоже взволнована, и моя коленка между ее еле двигающихся ног, а ее — между моими ногами, и вот-вот наступит неприятность, конфуз, и надо будет бежать переодеться или вообще уходить, и этого нельзя допустить, но и хочется. И тут танец заканчивается, мы стоим смущенно, и друг на друга не смотрим, и ждем следующего танца. Но он оказывается быстрым, и мы идем на свои места — дожидаться следующего, медленного. А потом на чьем-то дне рождения мы опять танцуем в полутьме, и в конце вечеринки почему-то оказываемся одни в отдельной комнате, и весь этот танец продолжается, только уже без музыки, и Наташа, задыхаясь, говорит: «Я хочу тебя...» И я хочу, но не знаю, как... Наташа гораздо взрослее меня, хотя мы и учимся в одном классе. Взрослее не по возрасту, а по развитию. Она выглядит вполне созревшей молодой женщиной, а я... так... жалкая гримаса переходного возраста. И поскольку я не знаю, как, да и у нее опыта маловато, — у нас ничего не выходит; к тому же в

эту комнату поминутно заглядывают и мешают. Да-да, я помню все, что происходило, только не помню, *с кем*. А она помнит, ей было важно тогда — с кем. И смотрит на меня сейчас вполне по-женски, может быть, даже прикидывая: не довершить ли нам теперь начатое тогда, много лет назад? И, наверное, это было бы неплохо: она красива сейчас, ее школьная сексуальность, видимо, развивалась в правильном направлении, она здесь одна-единственная, кто сохранил привлекательную форму и даже в чем-то улучшил ее.

Но нет, ничем хорошим такие возвращения не оборачиваются: и она это знает, и я. И скажите: ну на кой черт мне нужны были и эти воспоминания?! Что они мне? У меня в Москве дел полно, у меня планы, у меня...

Только отчего это я отошел подальше в другой конец комнаты и отвернулся к окну со сморщенным лицом, чтобы не портить всем праздник встречи? От того ли, что эта встреча — не встреча, а прощание с той большой и, может быть, самой легкой частью жизни? От того, что жизнь наша короткая проносится со свистом, а мы так и не успеваем понять, что такое красота и счастье, и только приближаемся иногда к этому высокому знанию, а оно, поманив, опять уходит все дальше, дальше?.. Или от сознания того, что меня не будет, а эти дорогие улочки, эти море, сосны и дюны останутся, и как же они будут без меня?..

У вас никогда не бывало такого, что вот вы идете по улице, или нет — спускаетесь по эскалатору метро вниз, а навстречу, вверх, едет незнакомая красивая девушка (а если вы — девушка, то наоборот), и тут вы встречаетесь глазами, и пока она проплывает мимо, в те короткие мгновения встречи, что вам отведены, вы успеваете подумать, что, может быть, это судьба, а вы едете мимо?

И, похоже, ее посетила та же мысль, и она долго не отводит взгляда, и даже оборачивается вместе с вами, а эскалаторы плывут в разные стороны, и вы друг от друга все дальше, дальше...

Эскалаторы сейчас разведут ваши судьбы по разным дорогам, и вы больше *никогда* (!) не встретитесь. Вы пересеклись только один раз, и этот шанс не использован...

Вам хочется крикнуть: «Подождите меня там, наверху, я сейчас поднимусь!» — но глупые правила приличия вас останавливают.

Перед людьми неудобно, и к тому же ей, возможно, ничего этого не надо, и она смотрит просто так, от скуки. А ваше воображение наделило ее теми мыслями или чувствами, которых у нее и в помине не было.

Хотя, если уж совсем по-честному, вы вот таким образом оправдываете свою собственную лень и трусость. А потом уже окончательно утешаетесь мыслью о том, что если вы случайно встретились в таком месте один раз, то возможен и второй, и уж тогда-то вы непременно крикнете, вернетесь наверх, подойдете и познакомитесь.

Надо положиться на судьбу, думаете вы, надо довериться ей. И вот если вдруг, когда-нибудь, второй раз... И не обязательно в метро, вы ее увидите, узнаете, вы же ее запомнили...

Но второго раза никогда не бывает, и позднее сожаление тонет в вашем замороженном фатализме.

Получилось не «сплетение судьбы» (когда две судьбы становятся одной — общей), а лишь прикосновение. Или нет — даже его не было, потому что вы испугались ожога и тут же отдернули руку...

Бывало с вами такое?.. Ну... вот видите...

Уход «возможного» в «никогда»... или еще — «в последний раз»... Бежать надо от таких мыслей, бежать не оглядываясь... Вот одна моя знакомая, красивая женщина лет сорока пяти, говорит, что пришла недавно в магазин покупать туфли на шпильках. «Покупаю, — говорит, — и думаю: наверное, в последний раз...»

Нет, нет! Бежать, и подальше!

И чего я тогда, спрашивается, вытираю платком внезапно промокший нос, отвернувшись к окну от одноклассников? Жалко мне их, что ли? И себя заодно?

Хотя о чем жалеть, помилуй Бог! Твоя жизнь интересна, и ты интересен многим людям, которые любят, что ты делаешь, и вообще ведь ты сказал как-то, что, если бы у тебя была возможность остаться в каком-нибудь возрасте, ты бы остался в этом, своем, а совсем не в юности. Когда знаешь «как», когда что-то уже умеешь и делаешь это хорошо, когда даже чувствуешь себя хорошо. Разве это не лучше грязного весеннего половодья твоей юности, когда ты не знал, где будешь сегодня ночевать, во что оденешься и примешь ли душ в ближайшие три дня? А не ты ли говорил, что главное — это не кто старше, а кто лучше, что все равно шестидесятилетний Ален Делон красивее большинства подростков, а пожилая Софи Лорен — большинства девушек, что Шон Коннери сейчас гораздо интереснее себя тридцать лет назад, а пятидесятисемилетний Чак Норрис легко навалиет десятку юных хулиганов; что сколько бы ни пыжились наши рок-звезды, они все равно поют хуже давно умершего Элвиса Пресли и старого Рэя Чарльза, что главное — качество, а не количество лет, что все равно лучше не тот, кто юнее, а тот, кто на данный момент талантливее, умнее, сильнее и интереснее?

Да, говорил, но почему... Да потому что твоя грусть — это то, о чем ты уже тут же где-то вначале и написал. Потому что наш специфический характер не позволяет нам просто радоваться жизни и каждому ее мгновению; потому что у нас к любому блику счастья должна обязательно примешиваться печаль: что это больше не повторится, что, может быть, это в последний раз; что хорошо бы, оглянувшись «в последний раз» на море, постараться его запомнить *навсегда*. Откуда это у нас? Последний раз, видите ли... А кто сказал, что последний?!

Молодой, атлетически сложенный артист Саша Песков в санатории «Актер» прощался с морем. Он сидел один на открытой веранде летнего кафе и пил водку. Звучала кассета Фредди Мэркури. На глазах Саши стояли слезы.

— Ты чего тут сидишь один? — спросил я.

Саша мускулистой рукой по-детски вытер слезу и сказал:

— С морем прощаюсь.

— Не надо прощаться, — утешил его я, — ты же сюда вернешься.

— Ну нет не скажи, — говорит Саша, — знаешь, какая жизнь, может, меня уже завтра не будет. — И опять заплакал. — Выпьешь со мной?

— Нет, не буду.

— Тогда я сам.

Саша налил и выпил. Подошли друзья...

Тем же вечером Саша с другом вынесли на самый конец мола столик из кафе, поставили там все и зажгли свечу. Прощание с морем шло красиво... Слезы мешались с водкой, и морской бриз свечу не гасил. Пришло время отъезда. Отдыхающие, которым там все равно нечего делать, вышли проводить Сашу и его друга Васю. Финальный гусарский аккорд — всем шампанское! — а также прощальная чечетка на крыше нанятой для отъезда «Волги», и трюковый нырок прямо с крыши в окошко — на заднее сиденье автомобиля. Чечетка — это уже было лишнее: крыша автомобиля слегка прогнулась, и шофер потребовал при подъезде к вокзалу компенсации. Возник конфликт, в результате которого поезд ушел вместе с Васей, а Саша оказался в милиции.

Его быстро отпустили, он артист известный, но поезд ушел. И Саша тем же вечером вернулся в санаторий и смог с морем опять поздороваться.

Красивое прощание с морем «навсегда» не состоялось. Но куда же нам без романтической тоски?! Нам без нее — никак! Вот и я сижу среди одноклассни-

ков в углу и слезливо хороню свои школьные годы, вместо того чтобы находить в этой встрече радость или на худой конец повод для шуток. И, словно в подтверждение моему последнему выводу, чтобы я взглянул на них и на себя без ненужной тоски, появляются чуть опоздавшие Женя Биньковский и Наташа. Та Наташа. Вот Женьку я узнаю сразу: он, естественно, заматерел, но энергия, живость, темперамент, улыбка, способность захохотать и поддержать любую шутку — те же. И резкость та же, реакция... Он подводит ко мне Наташу. «Узнаешь?» — говорит. Не узнаю. Глаза не узнают, а душа узнает. Душа разочарована. И это из-за нее меня когда-то чуть не убили?! Я одергиваю свою несовершенную душу: «Тихо, тихо, ты на себя посмотри сначала, ладно?.. И успокойся!» Я во всю ширь улыбаюсь Наташе. Она мне тоже. У Наташи золотая фикса в линии улыбки, но все же это она стояла тогда на мосту, раскинув руки, и кричала: «Не пушу!» Она, а не кто-то еще, так что не надо...

Мишка рассказывает что-то в другом углу комнаты, пробует на одноклассниках свои новые шутки. Зачем он это сделал все, зачем растревожил, разбередил, зачем ему нужно было это путешествие из сентября в апрель, не знаю, я об этом подумаю позже, а сейчас Женька рассказывает мне, что уже не поет. Пел долго в ресторане, потом бросил, он сейчас профессиональный фотограф. В подтверждение этих слов у него с плеча свешивается аппаратура. И, конечно, он кричит всем: «А ну-ка, встаньте все вместе, сейчас будем фотографироваться». Все, шумя и толкаясь, выстраиваются. Женька отходит в дальний угол, примеривается, смотрит в объектив, что-то ему не нравится, он переходит в другой угол и говорит: «Улыбайтесь». И еще говорит, нет, это уже я говорю: «А птичка?» «Вылетит,— говорит Женька и смотрит на меня понимающе,— вылетит обязательно, а куда она денется...»

(Окончание следует.)



Гоголиана

От автора

Корпус эссе — такой подзаголовок представляется мне наиболее уместным здесь. Именно корпус, а не цикл. Потому что слово «цикл» (в интересующем нас значении) предполагает, согласно трактовке словарей, законченный ряд каких-либо произведений. «Корпус» же, как толкует Даль, — это «собрание однородных в одно целое». О законченности речи нет. Личность Гоголя не поддается окончательному прояснению, и потому Гоголиана остается открытой. Причем открытой для любого автора, который готов ее расширять. Мне, например, хотелось бы увидеть в составе корпуса такие эссе, как «Гоголь и болезни», «Гоголь и огонь», «Гоголь и смерть». Я буду рад, если удастся написать их самому. Но мне будет радостно увидеть их и написанными другими, кому близок взгляд на Гоголя как на особую персону в истории русской литературы — такую персону, в которой явно просматриваются черты художественного персонажа, созданного жизнью. Добавлю к этому, что жизнь, или, если так можно выразиться, фантазия жизни, поработала над образом русского писателя Гоголя до того искусно, что для частной авторской фантазии почти не остается места.

ГОГОЛЬ И ПАСПОРТ

Заграничный паспорт Гоголя, служивший ему верным залогом беспрепятственных путешествий, невыразимо любезных его загадочному сердцу, был в полном порядке всегда. Он был в полном порядке и в ту декабрьскую минуту 1846 года, когда Гоголю вдруг явилась на ум необыкновенная мысль — испросить себе у императора Николая Павловича... заграничный паспорт. Это случилось в Неаполе, в доме графини Софьи Апраксиной, где Гоголь тогда зимовал. Мысль была настолько резкой и оживляющей, что Гоголь, который уже не первый месяц бездействовал воображением, уже не первый месяц ожидал в тоскливом оцепенении удобного парохода и возвышенного расположения духа, чтобы отплыть в Палестину, к Гробу Господню, для смиренных молитв, тотчас же и с былым жаром взялся за перо.

«Всемиловитейший Государь!

Не вознегодуйте, что дерзаю возмущать маловременный отдых Ваш от многотрудных дел моей, может быть, неуместной просьбой». — Так начиналось это огненное неапольское послание Гоголя о паспорте к царю Николаю I.

Царь, конечно, не мог в полной мере ощутить эту затаенную огненность — не потому, что ее скрывали громоздкие начальные слова послания; нет. Просто царь не имел ни малейшего представления о том, в каких затейливых, удивительных, до крайности необычных отношениях со своим паспортом находился во все время заграничных странствий его подданный, сочинивший «Мертвые души». Об этом имели представление только те редкие друзья и приятели Гоголя, которым доводилось ездить с ним одним дилижансом сквозь государства Евро-

пы, да негусто расставленные по аккуратным дорогам этих государств разноязыкие трудяги-чиновники, которым случалось по долгу полицейской или пограничной службы обратиться к Гоголю с буднично вежливыми словами на своем языке: «Извольте предъявить ваш паспорт, сударь!»

Вот тут-то и сказывалась в полную силу вся необъяснимая странность отношений между Гоголем и паспортом.

Исправно скрепленный надлежащими подписями и печатями, паспорт лежал у него в кармане. Гоголю нужно было только вытащить его на свет, показать полицейскому чиновнику и благополучно ехать дальше. Но Гоголь не вытаскивал и не показывал. Полицейский учтиво повторял свой запрос на ином европейском языке и с привычной терпеливостью выдерживал паузу, еще не подозревая, что его ожидает. Гоголь между тем раздраженно и как бы обиженно отворачивался в сторону. И вдруг объявлял полицейскому на языке его нации самым решительным и неприязненным тоном, что никакого паспорта он ему не покажет, хотя паспорт при нем и имеется.

Полицейский уже менее учтиво и менее отстраненно, пытаясь вникнуть удивленным умом в происходящее, требовал дать ему паспорт. Но Гоголь стоял на своем. «Не дает, да и только», — досадливо вспоминает издатель «Москвитянина» Михаил Погодин, который не раз попадал на дорогах Европы из-за паспорта Гоголя в приключение, потому что не хотел предательски обидеть друга, то есть поступить иначе, чем Гоголь, находясь у Гоголя в попутчиках. Он тоже (напряженно хмурясь и краснея) не показывал паспорт. Завязывался скандал. Пассажиры дилижанса уже слышали громкую и ядовитую брань, произносимую на местном языке. Как вдруг язык менялся; менялся и голос бранившегося человека. Звуки совершенно чуждой речи раздавались в воздухе альпийского селения. Это Гоголь говорил по-русски. И притом говорил так плавно, так задушевно и таким просительно-нежным тоном, каким произносит трепетный юноша самые ласковые извинения своей возлюбленной. Но Гоголь, конечно, не извинялся. Глядя ясными и спокойными глазами прямо в глаза полицейскому, он «на чем свет стоит», как свидетельствует Погодин, ругал сначала самого полицейского, потом «императора австрийского, его министерство», потом «всех гонфалоньеров и подест» — словом, все высшие и высочайшие власти стран, распростершихся в окрестном мире, включая власти (военные и судебные) излюбленной Италии. Полицейского охватывало противоречивое чувство. Его одновременно и смущала, и завораживала непрерывающаяся музыка слов, в которой ему слышались именно ласковые извинения. Пораженный такой резкой и беспричинной переменой в человеке, он лишь изредка и растерянно подавал тихий голос, не обращая уже ни к кому в особенности: «Господа... попрошу... паспорта...» А Гоголь тем временем, не умолкая ни на мгновение, пяtilся к дилижансу и направлял туда же друзей-попутчиков, украдкой помахивая им за спиной ладонью. Потом он вспрыгивал на подножку, объявлял кондуктору, что можно ехать, дилижанс трогался и вскоре исчезал из пределов селения, где обескураженный чиновник, стоя на дороге, все еще нашептывал себе под нос: «Господа... паспорта...»

Было бы ошибкой заключить, что Гоголь слишком трепетно любил свой паспорт, не желая даже выпускать его из рук. Хотя на эту мысль и наводят слова Погодина, который подчеркивает, что «Гоголь ни за что на свете не хотел никому показывать своего паспорта, и его надо было клещами вытаскивать из его кармана. Он уверял меня даже, что когда ездит один, то никогда не показывает паспорт никому по всей Европе под разными предлогами». Всё так. Но бывали случаи, когда дело поворачивалось совершенно иначе, и о них свидетельствует сам же Погодин. Из его воспоминаний следует, что таким манером, как описано выше, Гоголь поступал тогда, когда паспорт находился при нем очень близко. «Теперь — представьте себе, — пишет Погодин, — что паспорта у него нет, что он засунул его куда-нибудь в чемодан, в книгу, в карман. Он должен, наконец, искать его, потому что мы приступаем с просьбами: надо ехать, а не пускают. Он начнет беситься, рыгаться, не находя его нигде, бросать все, что попадается под

руку, и, наконец, найдя его там, где нельзя и предполагать никакой бумаги, начнет ругать самый паспорт, зачем он туда засунулся, и кричать полицейскому: "На тебе паспорт, ешь его!"»

А далее происходило нечто и совсем уж невероятное. Как только полицейский брал паспорт в руки, Гоголь свои руки прятал за спину и теперь уже ни за что на свете не хотел брать паспорт назад — отказывался от него так гневно и так настойчиво, что, кажется, был бы очень доволен, если бы полицейский и в самом деле положил в рот, разжевал и съел негодяя.

Вот об этих-то отношениях между Гоголем и паспортом, переменчивых, страстных, непостижимых, и не знал ничего царь Николай I, на чье имя в некую минуту декабря 1846 года Гоголь принялся сочинять послание о паспорте. Единственное, что мог узнать царь, справившись у министра двора графа Владимира Адлерберга или министра иностранных дел Карла Нессельроде, так это то, что паспорт у Гоголя имеется. Знал это, очевидно, и сам Гоголь. Но совершенно иной паспорт явился в ту минуту его неукротимому воображению, которое вдруг очнулось ото сна и, словно раненый великан, обрело удвоенную способность двигать любые громады. Это был паспорт необыкновенный, исполинский — не по своим размерам, а по заключенной в нем силе. Это был паспорт, затмевающий все паспорта на свете!

Послание далось Гоголю на редкость легко. Во всяком случае, оно было очень коротким и цельным. Гоголь быстро — в два предложения — перелетел вступление и, уже не скрывая огня, писал:

«Я осмеливаюсь просить Ваше Императорское Величество о высочайшем повелении Вашем выдать мне пашпорт на полтора года, особенный и чрезвычайный, в котором бы великим именем Вашим склонялись все власти и начальства Востока к оказанию мне покровительства во всех тех местах, где буду проходить я».

В финальных строках, по-восточному поэтичных, Гоголь с восточной же тонкостью выражал надежду, что такой паспорт волей царя возникнет в земной реальности:

«Тайный твердый голос говорит мне, что не останусь я в долгу перед Вами, мой царственный благодетель, великодушный спаситель уже было погибавших дней моих!

Двойными узами законного благоговения и вечной признательности сердца связанный с Вами

верноподданный Ваш

Николай Гоголь».

В начале января 1847 года царь получил послание. Он долго и сосредоточенно вчитывался в него, то и дело поднимая вверх брови; читали его и перечитывали много раз Нессельроде и Адлерберг. Отвечать было поручено Адлербергу, чью ловкость и деликатность в делах сверхобычного свойства царь всегда высоко ценил.

Министр двора не стал называть паспорт странным; он не стал называть его фантастическим, неземным; не стал говорить, что такого сказочного паспорта, какой нарисовал Гоголь, не существует и никогда не существовало в природе... Впрочем, одному только Богу известно, что говорили между собою царь и министры, обсуждая характер этого паспорта. Но составленный Адлербергом ответ, где в особом сцеплении вежливых слов чувствуется какая-то сильная, с трудом подавляемая гримаса, был таков:

«Его Величество Высочайше повелеть мне соизволил: уведомить вас, милостивый государь, что таковых чрезвычайных паспортов, какого вы просите, у нас никогда и никому не выдавалось...»

Да, низведения во плоть летучего вымысла не произошло. Русский царь и его министры не обладали способностями богов... Но если бы произошло? Или скажем иначе: если бы этот паспорт, вообразившийся Гоголю под небом Неаполя, все ж таки существовал в многогранной природе российского государства, в которой есть место любым граням, в том числе и совершенно феерическим?

Как воспринял бы Гоголь это овеществление своей фантазии? Возгордился бы он, получив такой паспорт, извлеченный им на свет благодаря тончайшему художническому чутью? Щеголял бы он этим паспортом на дорогах мира, показывая его с ехидным удовольствием всевозможным чиновникам — и таможенным, и полицейским, и даже таким, которые паспорта никогда и не требуют?..

Ясно, что эти вопросы предполагают в художнике мелочное тщеславие. Ясно также, что подобное предположение в случае с Гоголем неправомерно. Потому что, во-первых, кто может поручиться, что Гоголь шаг за шагом не вступил бы с новым паспортом в точно такие же отношения, как и с прежними паспортами? А во-вторых, нельзя утверждать с полной уверенностью, что образ Великого Паспорта, явленный в Неаполе, в доме графини Апраксиной, принадлежит исключительно гоголевской фантазии, а стало быть, и гоголевской гордыне.

Этот образ принадлежит, быть может, в качестве юнговского архетипа коллективному бессознательному. Или даже — в качестве чистого первообраза всех паспортов на свете — платоновским небесам.

ГОГОЛЬ И РАЙ

Вечный город не вдруг приобрел для Гоголя свойства рая. Когда он впервые увидел Рим, город показался ему неожиданно маленьким и захолустным. Поначалу Гоголь даже «не мог дать себе ясного отчета» в своих впечатлениях. Что это? Где великий и грозно блистательный Рим? Где следы его сиятельного могущества?.. Какие-то узкие, темные улочки, гирлянды застиранного белья, монахи верхом на ослах, полуразваленные тележки; по городу бродят козы, объедая листья с кустов, выросших кое-где прямо из стен обветшалых домов, — повсюду знаки будничной, мирной ничтожности.

Впрочем, и сама Италия, впервые увиденная Гоголем ранней весной 1837 года по пути в Рим, не обещала его душе ничего райского, небесного — ничего такого, чего бы душа не ведала в земной жизни. «Что сказать тебе вообще об Италии? — писал он Александру Данилевскому. — Мне кажется, что будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам. Такие же дряхлые двери у домов, со множеством бесполезных дыр, марающие платья мелом; старинные подсвечники и лампы в виде церковных. Блюда все особенные, все на старинный манер. Везде доселе виделась мне картина изменений. Здесь всё остановилось на одном месте и далее нейдет».

Рима Гоголь достиг 26 марта 1837 года, накануне Пасхи. Он снял квартиру на Via Isidoro, 17, близ площади Барберини. Это было в нескольких минутах ходьбы от дома № 126 по Via Felice, буквально — *Счастливой улице*, где верхним — третьим — этажом владел «сухой краснощекий старичок» по фамилии Челли. Именно в этом доме, на этаже старичка Челли, Гоголю суждено было обрести постоянный адрес в пределах «чудного, прекрасного далека», или, как сказали бы эдические поэты, «прекрасного Мидгарда» — светлой и упорядоченной области мира, очищенной богами для счастливого обитания смертных от великанов, карликов и демонов.

Однако тогда, во время своего первого приезда в Рим, Гоголь еще не помыслил ни о каком постоянном адресе в вечном городе. Город он вскоре тщательно обследовал и нашел в нем все то, что и предполагает найти взыскательный иностранец, требующий от Рима великолепия и величия. Он исходил вдоль и поперек Римский форум, то и дело останавливаясь с запрокинутой головой перед аркой Септимия Севера, зданием Курии и колоннами храма Сатурна; обошел в задумчивом изумлении неоглядные термы Каракаллы; вдоволь, со всех сторон, налюбовался заслоняющим полнеба Колизеем; отыскал могучий Пантеон Агриппы, опутанный лабиринтом тесных улиц; поднялся с подозрительной трубой на Капитолий; и, обувшись в мягкие сапоги, излазил руины императорских дворцов на Палатинском холме. Рим уже не казался Гоголю маленьким: «...чем далее, он мне кажется большим и большим, — писал он Данилевскому, — строения огром-

нее, виды красивее, небо лучше, а картин, развалин и антиков смотреть на всю жизнь станет». Собор же Святого Петра, где Гоголь отслушал пасхальную обедню, представился ему уже просто-напросто «беспредельным».

Это были сильные, но все же предсказуемые и даже обязательные впечатления. Никаких сверхобычных ощущений земное пространство, занимаемое Римом, в Гоголе тогда не вызвало. Разве что «звезды ночи» как-то по-особенному поразили его. Гоголь заметил, что они горят над Римом не так, как везде: «блещут здесь необыкновенным блеском», — сообщил он Данилевскому. Но в этих словах, пожалуй, сказывалась лишь чистая поэзия.

В июне 1837 года Гоголь спокойно — без сожаления и грусти, без страха расстаться с ним — покинул Рим. Он уехал в Заальпийскую Европу. Несколько месяцев он переселялся там из города в город, из страны в страну. Жил то в Бадене, пользуясь водным лечением, то в Женеве. Навещал друзей во Франкфурте и Страсбурге. Успел заглянуть в Испанию и Португалию.

Питаясь новыми впечатлениями, он почти не вспоминал о Риме — не держал его в сердце, а только сухо, между делом, сообщал матери, что, вероятно, снова поедет в Италию, в Рим — может быть, в августе, а может быть, в сентябре или в октябре, — словом, тогда, когда найдет нужным.

Однако в начале сентября, в Женеве, по какой-то, пока еще неясной, причине он вдруг почувствовал, что должен ехать в Рим немедленно — должен мчаться туда сию же минуту! Но сию же минуту — было невозможно. В Италии вспыхнула эпидемия холеры. Все подступы к Апеннинскому полуострову были перекрыты карантинными заставами. Гоголя охватило отчаяние. Он ощутил себя посреди Европы беспомощным пленником, каторжником, ссыльным. Все вокруг стало действовать на него угнетающе. Швейцария и Германия, которыми он еще недавно восхищался, вызывали у него теперь лишь тоску и отвращение: «Низкими, пошлыми, гадкими, серыми, холодными показались мне они со всеми их горами и видами». Ему тяжело было вдыхать сам воздух Женевы, которая ему теперь представлялась уже вовсе и не Женевой. Ему чудилось, вспоминал он потом, что он находится в Олонецкой губернии и слышит «медвежье дыхание северного океана».

В середине октября 1837 года, как только карантины были сняты с альпийских дорог, Гоголь был в дороге.

Через несколько дней он въехал в Италию. И в этот второй приезд, очутившись в ее пределах, он обнаружил в своей душе нечто такое, что было больше, чем обязательное восхищение прекрасными видами, и больше, чем чистая поэзия. «Наконец я вырвался, — писал он Жуковскому. — Если бы Вы знали, с какой радостью я бросил Швейцарию и полетел в мою душеньку, в мою красавицу Италию. Она моя! Никто в мире ее не отнимет у меня! Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр — все это мне снилось. Я проснулся опять на родине...»

К концу октября, проехав через Милан и Флоренцию, Гоголь прибыл в Рим. Город, увиденный им во второй раз, не то чтобы ошеломил его своим «чудным великолепием»; он привел его в состояние такой светлой, спокойной и прочной радости, какая обещана безгрешным душам священными писаниями Запада и Востока лишь за пределами земного бытия — на подлинной родине. Именно о такой — метафизической — родине толковал Гоголь в письме к Жуковскому, как явствует из другого его письма, которое он в апреле 1838 года отправил из Рима своей петербургской ученице Марии Балабиной, датировав его 2588 годом от основания города. «И когда я увидел наконец во второй раз Рим, — писал он ей, — о, как он мне показался лучше прежнего! Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но нет, это все не то, не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде, чем я родился на свет».

В Риме он не нашел никого из тех приятелей-соотечественников, с которыми изучал город в свой прошлый приезд. Да он и не нуждался теперь ни в ком. Он поселился на Via Felice (ныне Via Sistina) у Челли, обретя здесь неизменный

римский адрес. С этого времени он настойчиво, во всех своих письмах, стал говорить о Риме и Италии — *мой* и *моя*. И стал ревновать к Риму любых *форестьеров* — иностранцев, — в особенности же русских, которых ближе к Пасхе встречал в городе, как он раздраженно выражался, «целыми ватагами». Ему невыносимы были их высокомерно сердитые разговоры о нечистых улицах Рима, о его жалкой дряхлости, об отсутствии в нем развлечений, о грубой неопрятности монахов, шатающихся по городу в таком же nepозволительном множестве, как и домашний скот, и о том, что все итальянцы подлецы и обманщики. Но еще больше ему были невыносимы те форестьеры, которые позволяли себе восхищаться Римом, просто Римом, неким каменным городом на юге Европы, пусть древним, пусть необычным, пусть даже повлиявшим на судьбы европейской цивилизации, но все же таким городом, в который можно когда угодно приехать, хотя бы и к Светлому Воскресению, — поглазеть на пасхальные процессии, на папу в соборе Святого Петра, на диковинные бородки немецких скульпторов, прогуливающих в огромных шляпах с обвислыми полями по Piazza di Spagna, постоять в мечтательной задумчивости среди живописцев, подкарауливающих в бархатных блузах закаты на Авентинском холме, поест макарон с ароматным соусом в шумных остериях на Via del Corso, прокатиться до Альбано по римской Кампанье в экипаже говорливого веттурино — и в любое время, хотя бы и на Фоминой Неделе, благополучно уехать. Нет, *такого* Рима или, лучше сказать, Рима *как такового* для Гоголя уже не существовало. Город Рим и страна Италия превращались для него во что-то другое, о чем он в письмах к друзьям говорил то с религиозным трепетом, то со страстной тоской, то с молитвенным воодушевлением.

«О, Рим, Рим! Кроме Рима, нет Рима на свете, хотел я было сказать, — счастья и радости, да Рим больше, чем счастье и радость», — твердил он Шевыреву.

«Рим! прекрасный Рим! Ты помнишь ли его? знойную Piazza di Spagna, кипарисы, сосны, Петра и дуб Тасса...» — тревожил он Данилевского.

«Италия, прекрасная, моя ненаглядная Италия продлила мою жизнь...» — изъяснял он князю Вяземскому.

Спустя полгода после второго приезда в Рим Гоголь впрямую заговорил о рае.

«Никогда я не чувствовал себя так погруженным в такое спокойное блаженство. О, Рим, Рим! О, Италия! Чья рука вырвет меня отсюда? Что за небо! Что за дни! Лето — не лето, весна — не весна, но лучше весны и лета, какие бывают в других углах мира. Что за воздух! Пью — не напьюсь, гляжу — не нагляжусь. В душе небо и рай», — написал он 2 февраля 1838 года из Рима Александру Данилевскому. И в словах этих — *небо и рай* — не было никакого художества. Рим действительно с некоторых пор стал воздействовать на чувства Гоголя так, что он ощущал себя умершим для всех «других углов мира» и воскресшим в раю, который принял образ города Рима. Рим окончательно превратился для Гоголя в город-рай — в Небесный Иерусалим, в Калапу, в Дар-Ассалам, — словом, в город без печалей, времени и смерти. В этом истинно вечном Риме — правильной было бы его называть *Небесным Римом* — и жил теперь на *Счастливой улице* Гоголь. Само восприятие действительности подвергалось здесь у Гоголя таким изменениям, которые делали это восприятие в высшей степени светлым и устойчиво радостным, то есть пригодным исключительно для неуязвимого обитателярая. В пределах Рима Гоголь обретал способности, которые были ему недоступны ни в какой другой части земного пространства. «Он сам мне говорил, — сообщает в автобиографических записках его друг, фрейлина двора Александра Смирнова, — что в Риме в одно время он мог глядеть в глаза всему грустному и безотрадному и не испытывать тоски и томления». О том же — о дарованной ему Богом в Риме райской неуязвимости для мук и тягостных чувств — писал он Марии Балабиной в сентябре 1839 года, говоря о себе в третьем лице: «Можете ли Вы понять те ужасные упреки, те терзания адские, невыносимые, которые он слышит в себе. Теперь, вообразите, над этим человеком, не знаю почему, сжалилось великое милосердие Бога и бросило его (за что — право, не понимаю, ничего достойного не делал он), бросило в страну, в рай,

где не мучат его невыносимые упреки, где душу его обняло спокойствие, чистое, как то небо, которое теперь окружает...»

Небо в Небесном Риме было повсюду. Оно было над Гоголем и вокруг Гоголя. Небо было в Гоголе, и Гоголь был в небе. И небо несло забвение мукам. Такое забвение, какое может дать душе только город-рай. «Право, странно,— рассуждал он в одном из писем к Данилевскому,— кажется, не живешь, а только забываешься или стараешься забыть: забыть страдание, забыть прошлое, забыть свои лета и юность, забыть воспоминание, забыть свою пошлую, текущую жизнь! Но если есть где на свете место, где страдания, горе, утраты и собственное бессилие может позабыться, то это разве в одном только Риме. Здесь только тревоги не властны и не касаются души».

Такими свойствами обладал для Гоголя его Небесный Рим. Там у него было все: и счастье, и вдохновение, и покой, и забвение, и свой надежный страж, свой апостол Петр — послушный старичок Челли, наученный Гоголем лгать всякому и во всякое время, что Гоголя дома нет,— была та «полная действительность блаженства», о которой говорит в своих «Духовных проповедях» Мейстер Экхарт, утверждая, что она явится «по окончании этой жизни, когда мы освободимся от тела».

Покинуть Рим когда угодно Гоголь теперь был не в состоянии. При одной мысли, что ему надо выехать из Рима и Италии, он приходил в отчаяние. Для него это было равносильно перемещению с небес на землю или из светлого Мидгарда в мрачный Утгард, туда, где «снега, подлещы, департамент», карлики, демоны и так далее. «Вы не поверите, как грустно оставить на один месяц Рим и мои ясные, мои чистые небеса, мою красавицу, мою ненаглядную землю»,— жаловался он Марии Балабиной, отправляясь в Германию. Поездка же в Россию представлялась Гоголю и вовсе не возможной. Не потому, что снегов в России больше и демонизм департаментов явственней, а потому, что блаженный Рим-рай мог показаться абсолютно призрачным из глубины ее студеного пространства, где «хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь», как говорит в «Ревизоре» его городничий. «Неужели я еду в Россию? — испуганно изумлялся Гоголь 10 сентября 1839 года в письме к Шевыреву.— Я этому почти не верю. Я боюсь за свое здоровье. Я же теперь совсем отвык от холодов: каково мне переносить?» Но отвык он и от земли; и боялся, кроме того, не вернуться на небеса. И потому всячески оттягивал и откладывал эту свою первую поездку из Рима в Россию, куда его упорно зазывали родные и друзья распутывать дела — семейные, издательские, помещичьи. Гоголь отписывался как мог. Близких — в особенности мать и сестер — страдал своим нездоровьем, говоря, что только в Италии все болезни от него отступают, дальних — издателей, журналистов — умолял пощадить его дар, уверяя, что писать о России он может только в Риме. И то и другое было правдой.

Правдой, впрочем, было и то, что Гоголь, приехав в конце сентября 1839 года в Москву, вновь услышал в себе все «терзания адские, невыносимые», о которых забыла его душа. Те, кто видел его в Риме,— в России не узнавали его. Вглядываясь в пришельца, подавленного, нелюдимого, капризного, одетого в темные одежды, они пытались найти в нем сходство с тем небесно-римским *signore Nicolo*, который носил широкополую белую шляпу, белые перчатки, белый же щегольский пиджак поверх синего бархатного жилета; который был жизнерадостно-бодрым, шутивным, подвижным; который в лучах утреннего солнца, поспешая в кофейню «Грес» на *Via Condotti*, проворно спускался от церкви Троицы по Испанским ступенькам, на ходу фехтуя в воздухе сверкающей тростью; который для забавы своих спутников вдруг принимался выплясывать и петь малоросские песни в дремотных переулках Рима; который во время прогулок одаривал друзей апельсинами и охотно вступал в озорные скандалы с уличными торговцами... Но сходства не находили. Гоголь же не находил себе места, помышляя только об одном — о возвращении. «Я в Москве. Покамест не скажите об этом никому,— писал он с унылой таинственностью издателю “Современника” Петру Плетневу.— Грустно и не хотелось сильно! Но долг и обязан-

ность последняя: мои сестры. Я должен устроить судьбу их. Без меня (как ни воячал я это дело) я не находил никакого средства. Я на самое малое время, и, как только устрою, не посмотрю ни на какие препятствия, ни на время, и через полтора или два месяца я на дороге в Рим».

Обходиться без Рима — находиться вне Рима — он уже не мог, полагая, между прочим, что Рим должен обладать для всякого теми же небесными свойствами, которые открылись ему. «Бросьте всё! и едем в Рим,— заклинал он Плетнева.— О, если бы вы знали, какой там приют для того, чье сердце испытало утраты. Как наполняются там незаместимые пространства пустоты в нашей жизни! Как близко там к небу. Боже, Боже! Боже! о мой Рим. Прекрасный мой, чудесный Рим. Несчастлив тот, кто на два месяца расстался с тобой, и счастлив тот, для которого эти два месяца прошли и он на возвратном пути к тебе».

Но была еще одна вещь, без которой Гоголь не мог обходиться, и если о ней не сказать, картина гоголевского рая будет не то чтобы неполной, а просто ошибочной. Дорога! Она оказывала на Гоголя такое же чудесное воздействие, как и Рим.

Известно, что самая тонкая и самая волшебная работа вдохновения, связанная с зарождением замысла, у Гоголя чаще всего совершалась в дороге, где он, по его признанию Шевыреву, «обдeldывал» и все свои сюжеты. Но дорога еще и спасала его от всех душевных мук, исцеляла от всех болезней, пробуждала от «нервического усыпления», даровала ему покой и счастье. И в этом она успешно соперничала с Римом.

Упованиями на дорогу, тоской о дороге, мольбами к Богу о ниспослании ему дороги полны его письма. Порою жажда дороги доходила у Гоголя до того, что и сам Небесный Рим меркнул в его глазах! Так было, например, в октябре 1840 года, когда он писал из Рима Погодину: «Ни Рим, ни небо, ни то, что так бы причаровывало меня, ничто не имеет теперь на меня влияния. Я их не вижу, не чувствую. Мне бы дорога теперь, да дорога в дождь, слякоть, через леса, через степи, на край света. Вчера и сегодня было скверное время, и в это скверное время я как будто бы ожил. Так вот всё мне хотелось броситься или в дилижанс, или хоть на перекладную».

Где будет пролегать его дорога и как долго она будет длиться, Гоголю было совершенно безразлично. «О, если бы я имел возможность всякое лето сделать какую-нибудь дальнюю, дальнюю дорогу! Дорога удивительно спасительна для меня»,— писал он Сергею Аксакову; и о такой же, очень дальней, дороге толковал Погодину: «Мне непременно нужна дорога. Дорога, далекая. Как это сделать?» Безразлично ему было только одно: на любой дороге он должен был знать, что он едет в Рим, пусть даже через тундру, через Камчатку,— но в Рим, ибо для него не было ничего более чудесного и прекрасного, чем возвратный путь в вечный город,— в этом он клялся Плетневу в письме из Москвы от 27 сентября 1839 года.

Год спустя, описывая свое возвращение в Рим в письме к Погодину, Гоголь высказал сожаление, что в Риме он очутился слишком быстро. Это случилось после того, как он едва не умер в Вене. Во всяком случае, ему почудилось, что он умирает. Он даже уже составил завещание. «Но умереть среди немцев мне показалось страшно,— пишет он.— Я велел себя посадить в дилижанс и везти в Италию. Добравшись до Триеста, я себя почувствовал лучше. Дорога, мое единственное лекарство, оказала и на этот раз свое действие. Я мог уже двигаться. Воздух, хотя в это время он был еще неприятен и жарок, освежил меня. О, как бы мне в это время хотелось сделать какую-нибудь дальнюю дорогу. Я чувствовал, я знал и знаю, что я бы восстановлен был тогда совершенно. Но я не имел никаких средств ехать куда-либо. С какой бы радостью я сделался бы фельдъегерем, курьером даже на русскую перекладную и отважился бы даже в Камчатку, чем дальше, тем лучше. Клянусь, я бы был здоров. Но мне всего дороги до Рима было три дни только».

Да, в Риме Гоголю нужна была дальняя дорога, а в дальней дороге нужен был Рим. Рим и дорога нужны ему были одновременно. И в этом было какое-то

мучительное противоречие. Однако райское блаженство противоречий не допускает. Мало того, оно даже не противоречит земной жизни, ибо рай, как открыл самый строгий и объективный исследователь небесных сфер Эмануэль Сведенборг, носит сугубо индивидуальный характер: к чему была склонна душа при жизни, в том и будет за гробом состоять ее рай.

Теперь наконец мы можем дать точное описание гоголевского рая. Он выглядит так:

Гоголь вечно едет в вечный город по нескончаемой дороге.

ГОГОЛЬ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ

Австрийский мыслитель Людвиг Витгенштейн сообщил миру в «Логико-философском трактате» (1921) самую элементарную и самую универсальную языковую форму, которая способна «дать описание предложений *любого* знакового языка».

Каким бы ни было предложение — утвердительным или отрицательным, простым или сложным, полным или неполным, внятным или невнятным; что бы оно ни содержало — ложь или истину, вымысел или реальность, страсть или безразличие, — словом, на какой бы манер и о каких бы событиях, состояниях и явлениях оно ни возвещало, включая сюда и отказ о чем бы то ни было возвещать, оно всегда будет оставаться в границах этой безграничной формы, которая вмещает в себя абсолютно всё.

На языке оригинала (немецком) форма выглядит так:

«Es verhält sich so und so».

Ее русский эквивалент гласит: «Дело обстоит так-то».

В трактате она носит название «самого общего предложения-формы». То есть не только *формы*, некой пустой матрицы, готовой к принятию и развертыванию в своих драматически непреодолимых рамках любого количества слов и смыслов, но и полноценного *предложения*. Мало того, по мысли Витгенштейна, именно это предложение сообщает нечто самое существенное и даже единственно достоверное о бытии мира: дело обстоит так-то.

Некоторые комментаторы и исследователи склонны рассматривать универсальное предложение-форму Витгенштейна как мельчайший и неразрушимый первоэлемент логики, как своего рода элементарную частицу «логической вселенной».

В области духа и интеллекта, как видим, тоже велись и ведутся поиски своих электронов, протонов, нейтронов, частиц Юкавы и кварков.

В рамках рецензионной деятельности человечества неоценимый вклад в эти поиски внес в свое время и Николай Васильевич Гоголь, открывший универсальную или *самую общую рецензию-форму*, которая, как и знаменитый логический первоэлемент Витгенштейна, поражает своей величайшей самодостаточностью, высокой ясностью и предельной простотой.

Открытие произошло случайно, в 1836 году.

Какой-то неустановленный беллетрист, скрывавшийся под инициалами Я. А., написал и выпустил в Санкт-Петербурге отдельным изданием небольшую повесть. Содержание и сюжет ее не имеют для дела абсолютно никакого значения. Книга попала в руки Николаю Васильевичу, который как раз в это время, проклиная жестокою петербургскую стужу (был февраль), согривал свою кровь регулярной работой — сочинением рецензий для «Современника».

Гоголь добросовестно ознакомился с повестью, занес пером на чистый лист выходные данные издания и принялся обдумывать рецензию.

Никому не известно, конечно, какие мысли и чувства посещают открывателя за минуту до открытия. Быть может, Гоголю хотелось самым беспощадным образом распечь г-на Я. А. и он уже подбирал для этого в уме какие-нибудь желчные слова, сидя у окна и прислушиваясь к свистящему дыханию ненавистных морозов. Или, быть может, напротив, греясь у камина и вслушиваясь в ровное гудение огня, он думал о том, что недурно было бы и похвалить сочинение

неизвестного автора. Но нельзя исключать и того, что повесть произвела на Гоголя такое впечатление, что он вовсе и не желал подходить к ней с прямыми оценками, а намеревался выстроить на ее примере ряд рассуждений об отечественной литературе, которые, в свою очередь, обещали породить еще целый ряд заманчивых рассуждений. Ему, может быть, уже приходили на ум и некоторые фразы для такого строя рецензии; они разрастались, сгущались, наплывали одна на другую, словно подвижные февральские тучи, и разглядеть за ними ту крохотную драгоценность, ради которой Провидение свело его с книгой загадочного Я. А., уже не было никакой возможности. Как вдруг все рассеялось, все прояснилось. И Гоголь отчетливо увидел ее, эту элементарную частицу «литературно-критической вселенной».

Он увидел рецензию, которая поразила его своей предельной краткостью и неоспоримой объективностью. Это и была самая общая рецензия-форма, открывшаяся Гоголю во всем своем совершенстве и законченности. В качестве формы она была применима к любому новорожденному литературному произведению, каким бы оно ни было и о чем бы ни говорило. В качестве рецензии как таковой она сообщала о жизни произведения нечто самое существенное.

Гоголь быстро ее зафиксировал.

Вот она:

«<Убийственная встреча, повесть Я. А. СПб. 1836 г., в тип. Артил. департ. Воен. Мин. в. 8, 113 стр.>

Эта книжечка вышла, стало быть, где-нибудь сидит же на белом свете и читатель ее».

ГОГОЛЬ И АД

Трудно, не хочется даже думать, что Гоголь — в аду.

Но все же мы обязаны — хотя бы в коротких словах — сказать, из чего бы мог состоять гоголевский ад. Это, во-первых, холод. Во-вторых, неподвижность. И, в-третьих, немцы.

О безумном страхе Гоголя перед холодом и неподвижностью (невозможностью ехать, находиться в дороге) нет нужды говорить подробно. Не было для Гоголя ничего ужаснее стужи, нетопленной сумрачной квартиры, мертвых белых снегов и такого безденежья, при котором нельзя было в любую минуту броситься в дилижанс на верхний этаж (он любил брать верхнее место), запрыгнуть в легонькую коляску или устроиться у окна в просторном омнибусе, то есть, как он сам выражался, «сделать езды и путешествия». Квартиру, кстати сказать, Гоголь всегда выбирал себе с таким трепетом, с каким это не делал ни один странствующий русский писатель. На само это дело найма квартиры он смотрел как на священный обряд, вмешивая сюда и Провидение, и Господа Бога, и чудесные силы. «Бог простер здесь надо мной свое покровительство,— писал он Жуковскому из Парижа,— и сделал чудо: указал мне теплую квартиру, на солнце, с печкой, и я блаженствую; снова весел».

Что же касается отношения Гоголя к немцам, то оно тоже слишком известно, чтоб пускаться в детальное исследование этого вопроса. Да и с какой целью? Объяснить?.. Оправдать?.. Нет. Никаких объяснений и оправданий быть не может. На немцев и Германию Гоголь вылил столько несправедливого яда, что никто бы не стал возражать, если бы немцы и Германия сказали, что Гоголь за эту свою ядовитость именно ада и заслуживает.

В самом деле, каким сказочным великодушием должны обладать немцы, чтобы простить Гоголю такие, например, мнения: «По мне, Германия есть не что другое, как самая неблагоприятная отрыжка гадчайшего табаку и мерзейшего пива». Или такие жалобы: «Опять я увижу эту подлую Германию, гадкую, запачканную и закопченную табачищем...»

Впрочем, если бы кто-то и взял на себя благородный (но скорее всего тщетный) труд как-нибудь загладить перед немцами несомненную вину Гоголя, то этот *кто-то* должен был бы осторожно и учтиво, самым тихим голосом, осо-

знаявая всю сложность своего положения, высказаться в том духе, что Гоголь во все не потому не любил Германию и немцев, что испытывал к ним какую-то изначально враждебность, а потому, что вдруг слишком сильно полюбил другую страну и нацию: Италию и итальянцев. «Как показали мне гадки немцы после итальянцев, немцы со всею их мелкою честностью и эгоизмом!» — писал он в 1838 году Марии Балабиной. Здесь следовало бы деликатно обратить внимание немцев на это очень важное *после*.

До — Гоголь не только не презирал Германию, эту первую страну, которую он увидел за рубежами Российской Империи в августе 1829 года, приплыв на пароходе в Любек, и которую затем основательно изучил во время путешествия по ней в 1836 году, но был влюблен в Германию не меньше, чем Жуковский. Долгие годы Гоголь, как явствует из его писем к поэту, искренне восхищался Германией — «даже, может, с большею живостью, нежели как я въехал в первый раз в Италию», уверял он Жуковского. Это подтверждают и его письма 1829-го и 1836 годов к матери и сестрам, где Гоголь именно с живым восхищением и любовной теплотой пишет и о самих немцах, которых он называет «добрыми немцами», поражаясь их «учтивостью и какой-то прелестью обращения»; пишет и об их «прекрасных» городах — о Гамбурге, в котором «жить очень весело», об Ахене, вид которого «с горы чудо как хорош», о «щеголе Франкфурте», который «очень хорошо выстроен, уютный, светленький и окружен со всех сторон предлинным и прекрасным садом», о «вольном торговом городе» Любеке, где «чистота в домах необыкновенная; неприятного запаха нет вовсе в целом городе» и где «домики, разбросанные за городом, увитые и усаженные деревьями, кустарниками и цветами, прелестны...»

Это была, так сказать, ранняя гоголевская Германия — светлая, почти райская, утопающая в садах, в цветах, в тонком благоухании, населенная улыбчивыми и красивыми жителями. Потом появилась другая Германия, поздняя и тоже гоголевская, но уже вполне адская — страшная, ужасающая, окутанная серым студеным воздухом, потонувшая в пиве, в грязи и в табачной копоти. А главное, появились и соответствующие такой неземной — подземной — Германии обитатели: «гадкие немцы», этакие анчутки. Потом, *после*, когда случилось то, что случилось. Когда Гоголю открылся его Эдем — райская страна Италия и ее обитатели — итальянцы, которых он не просто полюбил, найдя в них и открытость, и великодушие, и подвижный находчивый ум, и детскую жизнерадостность, и мужественную гордость. Нет, он полюбил их так, что с некоторых пор — как раз с тех пор, когда любая поездка на север, за Альпы, начала представляться ему жутким путешествием в некое адское пространство, в некую «подлую Германию», — с этого времени он стал «почитать всякого итальянца священной особью», как свидетельствует живший с ним в Риме Николай Языков; «почему его и обманывают на каждом шагу», — с прозаической грустью добавляет поэт. Гоголь, конечно, не мог разделять этой грусти. Итальянцам он прощал абсолютно все, включая и обманы, наносившие ущерб его кошельку. Даже умилялся, когда какой-нибудь пылкий пройдоха сапожник жульнически подсовывал ему, вознося их если не до небес, то до ног самого папы римского, совершенно негодные сапоги. Немцам же не прощал ничего. В немцах Гоголя раздражало все — начиная от «мелкой честности» и кончая телесной полнотой, встречающейся, разумеется, у представителей любой нации. Полных немцев Гоголь просто боялся, хотя поначалу он только подшучивал над своим страхом. «Вы знаете, что такое дилижанс? — объяснял он сестрам. — Это карета, в которую всякий, заплативши за свое место, имеет право сесть. В середине кареты сидят по шести человек. Если со мною рядом будут сидеть два тоненьких немца, то это будет хорошо: мне будет просторно. Если же усядутся толстые немцы, то плохо: они меня прижмут. Впрочем, я одного из них сделаю себе подушкой и буду спать на нем».

Потом, когда весь мир разделился в его душе на адскую Германию и райскую Италию, ему было не до шуток. Он и кресло-то на верхнем этаже дилижанса брал потому, что опасался ездить вниз на общей скамейке — всё ему чудилось, что его «прижмут» там «толстые немцы».

Как бы то ни было, нужно признать, что эти «гадки» и «толстые» гоголевские немцы, возникшие как явная противоположность «священным» итальянцам, никакого отношения к повседневной реальности не имели. И те и другие скорее имели отношение к тому, что называется структурой мифа, которая не допускает существования такого мира, где есть, например, одни только асы и нет другой, противопоставленной им группы богов и существ — ванов, ётунов, цвергов, норн и валькирий...

Однако если бы немцы нашли эти объяснения абсолютно неудовлетворительными, то можно было бы довести до их сведения одно очень важное обстоятельство, которое, впрочем, тоже нисколько не извиняет Гоголя, а лишь позволяет иначе взглянуть на дело.

С того времени, как Гоголь затеял главное творение своей жизни, то, которое, по его убеждению, должно было «все искупить», — «Мертвые души», — он стал любить только те страны, где ему благополучно писалось. А такая страна была только одна — Италия. Отношение же его к другим странам напрямую зависело от того, насколько плохо (хорошо вне Италии быть не могло) продвигались там «Мертвые души». И если в каких-то странах они не продвигались вовсе (что чаще всего случалось в Германии и Швейцарии, ибо Гоголь, отрываясь от работы, ездил туда в самом угрюмом расположении духа, по принуждению своих болезней — лечиться на водах), то такие страны превращались для него в сущий ад. Примечательно, что Гоголь иногда полностью отдавал себе отчет в том, что мрачность этого заальпийского ада есть мрачность кажущаяся, предназначенная, как и свет итальянского рая, лично для него: «Мутно и туманно все кажется после Италии. Прежние синие горы теперь кажутся серыми; все пахнет севером после нее. И как вспомню, что я должен буду прожить месяц, а может, и более, вдали от нее (холера, по всем вероятностям, не оставит Рим раньше месяца), то, мне кажется, я заживо вижу перед собою вечность», — писал он Николаю Прокоповичу из Женевы. Слово «кажется» в этом коротком отрывке повторяется трижды.

Еще более примечательно, что образ любой страны, прилегающей к зоне гоголевского ада, мог в глазах Гоголя резко измениться, если в этой стране сдвигались с места «Мертвые души». Есть два его письма, удаленные друг от друга во времени всего на полтора месяца: одно — к Прокоповичу, другое — к Жуковскому. В обоих Гоголь описывает Швейцарию. В первом — жалуется: «В Женеве я прожил больше месяца, но наконец не стало мочи от здешнего глупого климата. Ветры здесь грознее петербургских. Совершенный Тобольск. Еду теперь в маленький городок Веве, который находится на этом же озере недалеко от известного тебе замка Шильона. Там климат совершенно другой, потому что с севера заслоняет гора». В Веве он, как и обещал Прокоповичу, вскоре переехал. И во втором письме — к Жуковскому — о своей жизни в Швейцарии он уже отчитывался так: «Осень в Веве наконец настала прекрасная, почти лето. У меня в комнате сделалось тепло, и я принялся за “Мертвых душ”, которых было начал в Петербурге. Все начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись. Швейцария сделалась мне с тех пор лучше, серо-лилово-голубо-синие-розовые ее горы легче и воздушнее».

Можно, конечно, закрыть глаза на очевидные вещи и простодушно утверждать, что это именно благодаря удачно расположенной горе вдруг явились вместо «совершенного Тобольска» и тепло, и воздушность, и легкость, и играющая красочность природы; а эти изменения, в свою очередь, вызвали в Гоголе вдохновение, и работа, не удававшаяся в Женеве, в Веве мирно и благостно потекла. Но это значило бы путать причину со следствиями.

Очень возможно (хотя нельзя на этом настаивать), что если бы Гоголю с таким же постоянством, как в Риме, писалось во Франкфурте или в Любеке, то сады бы их не померкли, не погрузились бы в вонь и грязь, а превратились в райские кущи; а вскоре, быть может, объявились бы где-нибудь в отгороженном мире, за Альпами, некие «гадки итальянцы», во всем противоположные возлюбленным немцам...

Но если бы и эти суждения показались немцам неубедительными, то нужно было бы, не теряя надежды, предложить их вниманию... Но нет, довольно!

Довольно уклоняться от слов, произносить которые и трудно, и мучительно. Итак, ад Гоголя:

Гоголь вечно сидит посреди заснеженной Германии в холодной прокуренной комнате без камина и печки, стиснутый со всех сторон дородными немцами.

ГОГОЛЬ И ВОЗДУХ

Гоголь воздух любил. Много думал о нем, писал. Воздух не был для него чем-то неощутимым, прозрачным, бесцветным, однородным. Во время всякого движения воздух для Гоголя очень заметно менялся, как меняются по пути окрестные пейзажи. Однажды он пожаловался Михаилу Погодину, что дорога из Австрии в Италию не подействовала на него исцеляюще. «Тут мало было *перемен воздуха**», — объяснял он. Гоголь никогда не говорил, что он дышит воздухом. Он его «пил», «втягивал», «слышал»; чувствовал на себе его «теплые поцелуи», видел его «невидимый небесный блеск». И потому он ощущал *перемены воздуха* так же явственно, как перемены ландшафтов. Чем? Всем: глазами, ушами, языком, кожей, носом. О носе, конечно же, надо сказать отдельно.

Господь не случайно наделил Гоголя выдающимся во всех смыслах носом. Ни один писатель на Земле не имеет в качестве наиболее узнаваемого символа своей внешности какую-либо единственную и отдельно взятую часть своего лица. Мы не можем — во всяком случае, у нас нет на то серьезной причины — рассуждать обособленно о маленьком скошенном подбородке Пушкина или, например, о больших, по-детски оттопыренных ушах Кафки.

О носе Гоголя можно — и должно — говорить серьезно. Хотя бы потому, что этот знаменитый нос — цепкий, тонко чувствующий, бросающийся в глаза и в ум при одной только мысли о Гоголе, — этот нос наглядно выражает важнейшее свойство физической природы Гоголя — ее устремленность к воздуху, некоторую даже жадность на воздух, доходившую у Гоголя до веселого помешательства. «Что за воздух! — писал он весной 1838 года о римском воздухе Марии Балабиной. — Кажется, как потянешь носом, то по крайней мере 700 ангелов влетают в носовые ноздри <...> Верите, что часто приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше — ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были величиною в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше благовония и весны».

Примечательно, что с носом майора Ковалева произошла обратная метаморфоза. У носа появились и глаза, и руки, и ноги, и мундир статского советника. Но сущность метаморфозы была та же — приобретение носом, этим главным органом, которым Гоголь дегустировал переменчивый воздух планеты, бытийной самостоятельности. Здесь следовало бы, конечно, сказать, подчиняясь во всем метафоре: дегустировал *воздухи*. Но только Гоголю, глубоко чувствовавшему яркую разнообразность воздуха, его пеструю раздробленность, дано было свободно — без особого умственного усилия, необходимого для снятия оков грамматики, — употреблять во множественном числе существительное *воздух*, которое относится к разряду *singularia tantum*. Фрейлине двора Александре Смирновой он, например, так описывал воздух Парижа, сообщая о своей поездке туда зимой 1845 года: «Но Париж, или, лучше воздух Парижа, или, лучше испарения *воздухов* парижских обитателей, пребывающие здесь наместо воздуха, помогли мне немного и даже вновь расстроили приобретенное переездом и дорогою...»

Наделенный таким зрением, которое способно было расцветивать и уплотнять воздух до непроницаемости, до явной вещественности, он мог видеть «игра-

* Здесь и далее курсив в цитатах мой (прим. автора).

ющую пестроту домов, церквей и дворцов» не в воздухе, а на воздухе — «на тонком небесном воздухе, блиставшем непостижимою голубизною» («Рим»).

Воздух для Гоголя был самой ощутительной субстанцией мироздания, о чем свидетельствует и то обстоятельство, что он с полной естественностью, не давая даже почувствовать необычности своей речи, применял по отношению к воздуху такой глагол, как «пользоваться». *Пользоваться воздухом*. Он так и написал однажды матери, объясняя ей, почему он не может теперь вернуться домой из Италии: «Благодетельный воздух этой земли действует спасительно. И только долговременное пользование им может одно меня совершенно освободить от моей болезни».

Каким-то особым чутьем он чувствовал не только тот воздух, который был вокруг него, но и все другие воздуха мира, отдаленные от него. Именно поэтому он смог однажды поставить общий диагноз планетарному воздуху. Это случилось 2 января 1844 года. Гоголь жил тогда в Ницце — «засел в Ницце», как он писал друзьям. Он скрывался там от дурной погоды, от неотступных дождей, преследовавших его в ту зиму по всей Европе. В Ницце, где он поселился на берегу, в тихом предместье, «в виду небольшого хвостика моря», погода стояла превосходная. В воздухе не было ни малейшего ветерка. С утра до вечера светило яркое солнце. Стараясь вести «жизнь уединенную и преданную размышлениям», Гоголь нарочно избегал частых встреч с русскими знакомыми — с семьями Виельгорских, Мещерских, Сологубов, которые жили в Ницце. Он даже не давал себе волю часто видаться со своим душевным другом — фрейлиной Смирновой, потому что в Ницце намеревался жарко работать. И намерение это было столь твердым, что он, по его собственному выражению, готов был даже «насильно заставить себя что-нибудь сделать». Но, несмотря на все старания, подкрепленные чудесной погодой и задумчивым уединением, работа не шла. Ему не писалось. Что-то неясное, неуловимое наводило на него тоску и томление, мешало «как следует работать».

2 января Гоголь, как всегда, вышел рано утром к морю, чтоб посмотреть на него вблизи. Он постоял на берегу; вслушался, взгляделся куда-то в морскую утреннюю даль, шевельнул тонкими носовыми крыльями. И вдруг понял, в чем дело. Воздух! Что-то случилось в ту зиму с воздухом мира.

Возвратившись домой, Гоголь написал короткое послание поэту Николаю Языкову, в котором среди прочего сообщил:

«Чувствую, что беспокойство духа, смешанное с непонятною тоскою, есть ныне болезнь повсеместная, следствие какого-то тягостного расположения в воздухе».

Кроме Языкова и самого Гоголя, который вскоре уехал из Ниццы все в той же беспробудной тоске, больше никто об истинном положении дел в воздухе не знал.

ГОГОЛЬ И ПРИЗРАК ТОЧКИ

В качестве убийственного примера совершенно неизъяснимой, отвратительной (быть может, просто издевательской) лживости Гоголя крупнейший историк российской изящной словесности, автор торжественных, многожды переизданных хрестоматий по русской литературе, профессор Алексей Галахов (1807—1892) приводит следующий случай, рассказанный ему П. М. Щепкиным, сыном великого актера. Осенью 1848 года Гоголь жил в Москве у Погодина. Он еще не переселился к А. П. Толстому на Никитский бульвар в дом Тальзина, давно уж намеченный ангелом Азраилом для сокровенной встречи (ранним утром в четверг 21 февраля 1852 года) с тем весьма непоседливым сочинителем, который недвижным стенам предпочитал коляску, вагон, ландолет и которого к месту могло пригвоздить только «тяжелое расстройство нервическое», наконец-таки охватившее его в полную силу в тальзинском доме. В доме же Погодина — на предпоследней московской станции — путешественник еще азартно перебирал лошадей, выискивал самых свежих и статных, помышляя все ж таки доскакать до светозарной точки — до

окончания второго тома «Мертвых душ», жадно ожидаемого литературной общественностью, которая мягко, сердечно, с той задушевной бесцеремонностью, что свойственна обожателям таланта, поторапливала сочинителя, не ведая о том, какая сила, какое капризное божество должно было слететь к нему, чтоб он мгновенно уверовал в невозможное, в немислимое, в совершенно невероятное. Или, точнее, в то, что таковым казалось минуту назад...

Гоголь сам не знал, как называть это таинственное божество, которое устраняло перед ним иллюзию незавершенности, внушая сначала ему, сочинителю, а затем и какому-нибудь будущему, бесконечно взыскательному читателю, как-ким, скажем, считался граф Лев Толстой, удивительно прочную веру в законченность явно незаконченного сочинения. Но Гоголь, кажется, всегда отдавал себе отчет в том, что только оно, «недоступное земле Божество», «жизнь души моей», «хранитель», «ангел», «мой гений» («О!.. Я не знаю, как назвать тебя, мой гений!»), — только оно давало ему способность заставить некую точку излучать особенный свет... некую — любую — точку, незатейливый знак препинания, знаменующий собою (по воле божества) уже не препинание, а вдохновенное молчание, окончание, завершенность...

Итак, его поторапливали, его навещали.

Навещавшие ласково спрашивали, над какою именно главою вождеденного второго тома «Мертвых душ» он теперь изволит работать, а главное, как она, эта «необходимая Отечеству» работа, продвигается и далеко ли до выхода в свет заведомо блистательной книги. Гоголь не лгал. Он отвечал, что работа продвигается из рук вон плохо, что «иное слово приходится вытягивать клещами» — откуда? Оттуда же, откуда вытянуты были клещами слова «Женитьбы», «Коляски», «Носа» — оттуда, где таятся в строгом и стройном порядке все тексты, когда-либо написанные, пишущиеся, предназначенные написанию — «проявлению», как сказали бы те многомудрые риши, которые на санскрите называли это незримое «оттуда» «Авьякта Парвой» — «Непроявленной Книгой», единственно законченной и совершенной Книгой, частично известной ныне живущим по некоторым разрозненным, неясным, до поры бессвязным фрагментам: «Нос»... «Одиссея»... «Искусство кулинарии»... «Закат Европы»... «Авеста»... «Справочник пчеловода»... «Махабхарата»...

Гоголь не лгал и относительно сроков окончания книги. Еще в 1843 году, когда с написанием второго тома «Мертвых душ» его назойливо поторапливал друг-литератор Степан Шевырев, предательски поместивший в своем «Москвитянин» облыжное уведомление о полном окончании поэмы, якобы уже готовой к печати, Гоголь, с трудом облекая неудержимое чувство гнева в благоразумно-учтивые и назидательно-рассудительные слова, нечаянно приоткрыл Шевыреву свою давнюю тайну: «Иногда силой внутреннего глаза и уха я вижу и слышу время и место, когда должна выйти в свет моя книга», — признался он заботливому понукателю в письме из Рима от 28 февраля. И тут же, как бы виновато, добавил: «Не осуждай меня. Есть вещи, которые нельзя изъяснить. Есть голос, повелевающий нам, перед которым ничтожен наш жалкий рассудок, есть много того, что может только почувствоваться глубиной души в минуты слез и молитв, а не в минуты житейских расчетов!»

Тогда, в феврале 1843 года, Гоголь ощущал, что божество сияющей точки, призванное слезами и молитвами, явится к нему через два года. «И не раньше! — настаивал он. — Даже если предположить непрерывную и ничем не останавливаемую работу». Ибо божеству нет никакого дела до того, как продвигается работа, оно явится в некую фантастическую минуту, и сочинителю «почувствуется глубиной души», что работа, даже если она совершенно никак не продвигалась, блестяще закончена.

О двух же годах он толковал и спустя полгода другому любезному понукателю, гимназическому товарищу, поэту Николаю Прокоповичу, урезонивая его гораздо более резко, чем Шевырева: «Стыдно тебе быть таким ребенком и не знать этого!» Того, что от Гоголя, лично от Гоголя «менее всего можно требовать скорости». Что же касается божества, то оно внушило Гоголю отписать из

Мюнхена простодушному Прокоповичу: «“Мертвых душ” не только не приготовлен второй том к печати, но даже и не написан. И раньше двух лет не может выйти в свет», а среди причин медлительности покорно назвать равнодушной скороговоркой ту, которая стала уже привычной для публики: «Герплю всякие помешательства от всяких болезненных припадков».

Через два года нечто, называемое теперь литературоведами «первоначальной редакцией второго тома “Мертвых душ”», действительно было написано, но в свет не вышло, а вышло в источник света — в огонь. Божество обмануло. Или «голос, повелевающий нам», был расслышан Гоголем недостаточно ясно. Так или иначе долгожданная точка не просияла ни в рукописи, ни в воображении Гоголя (что равнозначно), ни в вероломном огне, соблазнившем доверчивого сочинителя лживым посулом исторгнуть в воздух летучей искрой эту вечно искомую точку.

И посему работа продолжалась.

Она продолжалась и в 1848 году, когда Гоголь жил в Москве у Погодина. Во всяком случае, всем, навещавшим его в погодинском доме, в том числе и сыну великого актера Щепкина, Гоголь, по словам Алексея Галахова, твердил одно и то же — что он трудится над вторым томом «Мертвых душ». Однако сроки окончания труда он называл теперь разные, иногда совершенно фантастические. Поэту и переводчику Николаю Бергу, который, кажется, обстоятельнее других вникал во все тонкости и особенности гоголевского процесса письма, пристально всматриваясь в таинственное *как* и мало интересуясь всем известным *что*, припоминается «довольно сбивчивый разговор», в котором Гоголь, «то оживляясь и желчно браня дуру публику, то вдруг замолкая надолго и впадая в какое-то стеклянное бесчувствие», требовал дать ему аж 25 лет на отделку второго тома «Мертвых душ» — на проявление одного из самых неподатливых фрагментов «Авьякта Парвы». Впрочем, Бергу этот нешуточный срок («Прямо-таки каторжный срок», — замечает он) вовсе не казался фантастическим. Как и многие друзья-современники Гоголя, Берг (Бергу это можно без оглядки простить, ибо он искренне, совершенно искренне хотел знать даже то, на какого сорта и формата бумаге и в особенности какими чернилами — «орешковыми, с бронзовой искоркой!» — пишет скрытный Николай Васильевич) никогда не упускал случая тайком заглянуть в рабочую рукопись Гоголя. И, как многие, Берг с удивлением обнаруживал, что Гоголь «вовсе даже и не рисуется», говоря то с веселой досадой, то с беспомощным сожалением о тех незримых, метафизического происхождения клещах, которыми ему приходится вытягивать («Из сумрачной области непроявленного в область яснопламенного Агни, в область земного света», — как пели вдохновенные риши) слова, предложения, периоды, многоточия и перлоподобные точки. Иногда эти клещи, о которых Гоголь с особенным постоянством твердил осенью 1848 года — Погодину, Шевыреву, отцу и сыну Щепкиным, Бергу, — застревали в некоем мучительно неясном пространстве между горней «Авьякта Парвой» и дольней рукописью, усыпанной шариками скатанного хлеба и измаранной орешковыми чернилами, надолго, очень надолго. По подсчетам Берга, навещившего Гоголя 17 октября 1848 года, то есть на третий день его водворения в доме Погодина, а затем повторившего визит в середине декабря (и в тот, и в другой раз счастливчику Бергу «представился случай взглянуть мимоходом на рукопись»), Гоголь восемь недель отчаянно писал одно и то же предложение, «внешне уже представлявшее из себя, — повествует Берг, — какое-то баснословное сооружение. Что же до его внутреннего содержания, то судить о нем мог теперь только Всевышний...».

И вот за работой именно над этим загадочным предложением (судя по датам, означенным Бергом) и заставал Гоголя почти ежедневно навещавший его в этот период Щепкин-младший, странный случай с которым заставил автора хрестоматий Алексея Галахова изумляться бессмысленной лживости Гоголя.

Щепкин в отличие от Берга никогда не заглядывал в рукописи Гоголя и потому о том, как продвигается работа над вторым томом «Мертвых душ», судил

лишь по настроению Николая Васильевича. Однажды, придя к нему для обычной житейской беседы, не имеющей отношения к литературе,— Гоголь в последнее время любил только такие — о том о сем — легкомысленные беседы, мгновенно мрачней и холодея, как только речь заходила о его писаниях, в особенности же о «Мертвых душах»,— Щепкин увидел, что Гоголь сидит за письменным столом необычайно веселый и счастливый. До такой степени веселый и счастливый, что Щепкин в замешательстве был вынужден поинтересоваться, в полном ли Гоголь здравии, то есть не намерен ли он «вдруг и разом» погрузиться в «мертвющую остылость чувств», предвестниками которых, по верному наблюдению Щепкина, часто бывали приступы беспричинной радости, изводившие Гоголя не меньше, чем приступы «жизненного онемения». Не услышав ответа, но и не обнаружив никакой ужасающей перемены в лице и во взгляде Гоголя — Гоголь по-прежнему, обхватив руками приподнятое колено, высоко и торжественно держа голову, сидел на мягком гамбсовском стуле и с затаенно-выжидательным выражением смотрел на гостя,— Щепкин уже с облегчением, хотя и без должной уверенности, сохраняя оттенок ласковой настойчивости в голосе, произнес: «Заметно, что вы в хорошем расположении духа, а?»

И тут вдруг Гоголь, как бы уже не в силах лукаво выманывать из Щепкина иные наводящие вопросы, уже не в силах медлить с торжественным сообщением о том главном, величественном и долгожданном, что вселило в него чувство победоносной радости и счастливого свершения, воскликнул: «Ты угадал! Поздравь меня: кончил работу».

Да, в тот день, 14 декабря 1848 года, как раз в тот день, когда в дом Погодина нанес свой второй визит любопытник и подглядчик Берг, Гоголь, по сведениям Галахова, изложенным в февральской книжке «Исторического вестника» за 1892 год, объявил Щепкину-младшему о полном и окончательном завершении работы над вторым томом «Мертвых душ», а стало быть, и над всей поэмой, наконец-таки озаренной — точно украинская «вдохновенная, небесно ухающая ночь» сиятельно полной луною — таинственным божеством всезавершающей точки.

Нет нужды говорить о том, в какой бурный восторг повергло Щепкина это знаменательное объявление. «Щепкин от удовольствия чуть не пустился в пляс»,— пишет Галахов. Понимая всю глубину и значительность свершившегося для России, современников и будущих поколений, Щепкин поминутно «и на все лады» поздравлял автора, кланялся ему в пояс от имени всех соотечественников, говорил речи, обнимал бесценного Николая Васильевича, целовал его, хватал за руки, пытался кружить его в вальсе, охая, падал на диван и снова вскакивал, чтоб целовать, поздравлять, кланяться и кружить. Щепкин просто сходил с ума. Гоголь же на все эти пламенные изъявления то строгих гражданско-читательских, то вольных дружеских чувств отвечал виновато счастливой улыбкой творца, в трудах заслужившего обременительную признательность.

Наконец настала минута прощания. Гоголь, оставаясь все в том же расположении духа, в каком его застал около часу назад явно желанный гость, спросил у Щепкина, провожая того к дверям своей комнаты: «Ты где сегодня обедаешь?» — Щепкин ответил, что обедать он собирался у Аксаковых, но в силу открывшихся ему только что столь значительных обстоятельств... «Прекрасно, я обедаю там же»,— перебил его Гоголь и, много теплее обычного простившись с Щепкиным, направился к своему письменному столу и уже у самого стола, не оглядываясь, добавил: «Там все сойдемся и наговоримся».

Легко представить, с каким волнительным нетерпением, с какими трепетными мыслями, искрометными тостами и сбивчивыми речами в кружащейся голове мчался на этот обед у Аксаковых нечаянно очастливленный Щепкин — в тот час единственный на всю Россию обладатель долго-настойчиво-и томительно-жданной вестки: «Мертвые души» написаны!

Гораздо труднее представить, какие противоречивые чувства вспыхнули в дружески преданном Гоголю сердце Щепкина-младшего во время той драматической — а если уж не избегать здесь давно напрашивающейся риторики, то са-

мой драматической во всей истории русской литературы — сцены за обедом в доме Аксаковых, которой следовало бы отвести страницы во всех прошлых и будущих хрестоматиях и которую автор хрестоматий Галахов написал очень скупо — увы, очень скупо, не вдаваясь в столь важные для нас подробности. Впрочем, по Галахову, и без подробностей все выглядело впечатляюще и отвратительно, как бывает впечатляющей и отвратительной всякая ложь.

Как только гости, шумно заполнившие дом Аксаковых, расселись за длинным столом и, как водится, на мгновение поутихли, Щепкин поднялся, обвел всех многозначительным взглядом и торжественно возгласил:

— Господа! Поздравьте Николая Васильевича. Он окончил вторую часть «Мертвых душ»!

Если бы всеобщая трепетная и немая неподвижность, воцарившаяся после этих слов, продлилась более трех-четырёх секунд, Гоголя бы уже никто не слышал (да и слушать бы вовсе не стал) в громе аплодисментов и поздравлений.

Но Гоголь успел. Он вдруг вскочил и, сдернув с груди салфетку (на этот пылкий жест гнева тоже ведь потребовалось время), быстро воскликнул:

— Что за вздор!

А мгновение спустя, когда можно было уже позволить себе зловещую неторопливость, Гоголь, дуэлянтски медленно подняв над столом и нацелив в грудь Щепкина руку с салфеткой, грозно и требовательно произнес:

— От кого ты это слышал?

Щепкин, беспомощно опускаясь на стул и еще не веря в случившееся, как не хочет верить сновидец в свою неожиданную и беспричинную наготу на публике, со слабой надеждой пролепетал:

— Да от вас же самих... Сегодня утром вы мне сказали.

Но Гоголь тут же рассеял всякую надежду, а заодно и конфуз, возникший в рядах многочисленных сотрапезников:

— Что ты, любезный, перекрестись! — проговорил он, уже смягчаясь и предваряя миролюбивой улыбкой всеобщий облегченный смех. — Ты, верно, белены объелся или видел во сне.

Нет, конечно же, Щепкину не пригрезился его утренний визит к Николаю Васильевичу. И слышал он об окончании поэмы от него, от Гоголя. Но совершенно от другого Гоголя. Не от того жуликоватого, вздорного и изворотливого Гоголя, которому адресует свое негодующее изумление Алексей Галахов: «Спрашивается: чего ради солгал человек?», — а от того непостижимого нечеловека Гоголя, которому возвышенно лгало как равному само божество. К этому ускользящему (не изворотливому), призрачному Гоголю мы можем приблизиться, вернувшись на полшага назад — к феерическому моменту, когда Гоголь, распрощавшись с Щепкиным и договорившись с ним о встрече на обеде у Аксаковых, подошел к своему письменному столу, чтоб еще раз окинуть торжественно строгим взглядом вдохновенное окончание поэмы. Мы можем приблизиться. Но уже никакие детали — реальные или вымышленные — не помогут нам сколь-нибудь ясно представить (как это было в случае с бедным, попросту опозоренным Щепкиным), какие чувства испытал Гоголь, когда он вдруг обнаружил или, лучше сказать, увидел «силою внутреннего глаза», что последняя точка поэмы, так прочно ему вообразившаяся, так ярко сверкавшая ему все утро немигающей, чистой звездой, меркнет, угасает, тает, превращается в едва различимый фантом, — какие молитвы, заклания и слезы исторгало его сердце, когда из его цепкого воображения безнадежно ускользал и этот бледный фантом сиятельной точки, и в какое «стеклянное бесчувствие» он погрузился, когда божественная точка улетучилась совершенно, оставив ему в насмешку лишь свой обескровленный облик — будничным знаком препинания... Не пытаясь проникнуть в эти недоступные нам чувства «лживого» сочинителя и не вступая в безответную дискуссию с давно покойным Галаховым относительно природы этой «лживости», мы можем с достаточной степенью определенности сказать лишь одно: через некоторое время после ухода Щепкина из погодинского дома, где он

так бурно праздновал вместе с Гоголем окончание поэмы, последней точки уже не было во всепобеждающем и всевнушающем воображении Гоголя, а значит, ее не было нигде. Ни среди исписанных листов, ни в толстой стопке чистой «почтовой бумаги большого формата», мараť которую, как Гоголь скажет в этот же день Николаю Бергу, ему надобно будет аж 25 лет!.. И уж тем более в том громоздком, уже неохватном ни для каких клещей предложении, которое Гоголь сооружал отчаянно восемь недель и в мучительном бдении над которым ему воссияла последняя точка...

Она горела недолго на небосводе гоголевского воображения, эта странная — мощная, но нежизнеспособная — звезда. Берг объявился у Гоголя часа через два после ухода Щепкина. И, судя по тому, в каком состоянии застал он Гоголя, говорившего теперь о «каторжном сроке» и изливавшего желчь на публику-дуру, катастрофа к этому моменту уже случилась. Но как бы то ни было, нам известны границы того периода, во время которого поэма «Мертвые души» пребывала в состоянии абсолютной и безусловной, то есть объективной завершенности, субъективно отразившейся в душе ее творца, по какой-то причине не удержавшего поэму в этом желательном состоянии. Начиная с утренних часов 14 декабря 1848 года — до и во время визита Щепкина — и кончая «приблизительно двумя часами пополудни», когда о своем приходе велел доложить господин Берг, Гоголь обладал возможностью и способностью представить для чтения или самолично (что было для него более характерно) прочитав по рукописи окончанный второй том «Мертвых душ» любому, кто бы этого пожелал. После же этого периода поэма, увы, приобрела такое состояние, что работа должна была продолжаться.

И она продолжалась. С того же места, с того же предложения... Только Бергу посчастливилось видеть это последнее (теперь уж мнимо последнее) предложение временно проявившейся поэмы — эту опустевшую раковину, уже лишённую жемчужины, но еще сохранившую следы пребывания того светозарного божества, которое не раз даровало Гоголю неизъяснимую силу мгновенно и целиком проявить любой из фрагментов «Авьякта Парвы», на какой бы стадии проявления он ни находился. Гоголь верил в это божество самозабвенно. Лишь однажды, уже вообразив совершенно законченной мучительно застревавшую на каждом шагу и на каждом же шагу беспримерно блистательную «Коляску», Гоголь усомнился в своем божестве. По утверждению Александра Данилевского, ближайшего друга Гоголя, в рукописи «Коляски» он доподлинно видел написанные вслед за финальным — теперь финальным — предложением («Сказавши это, генерал тут же захлопнул дверцы, закрыл опять Чертокутского фартуком и уехал вместе с господами офицерами») слова: «На следующее утро Чертокутский, одетый в какой-то нескладного кроя фрак, унылостью цвета превосходивший его лицо...» Это с виду вполне естественное — ибо «Коляска» по всем приметам находилась на полпути, — с виду очень трезвое продолжение повести Гоголь решительно зачеркнул. Однако приметливое божество не оставило без внимания этот краткий припадок предательской трезвости. Хотя и не в полную силу — не так беспощадно, как в случае с «Мертвыми душами» — оно отомстило Гоголю за минуту неверия. Известно, что Н. С. Тихонравов, редактируя двенадцатое марксово издание сочинений Гоголя, упорно, «как бы находясь в расстроенном здравии», вспоминает его коллега, корректор С. М. Яценко, настаивав поместить «Коляску» в раздел незаконченных сочинений, включенных им в первый том. В 1902 году приват-доцент Киевского университета А. В. Чаговец, читая студентам лекции о Гоголе (опубликованные в том же году в Киеве), сопричислил «Коляску» к «досадно недописанным повестям малоросского гения». Годом раньше в Таганроге издатель Е. С. Жадько, выпустивший неизвестно для каких целей «Полное собрание неоконченных сочинений Н. В. Гоголя», включил в него — быть может, в силу своей общей странности как издателя — и «Коляску». Впрочем, какая бы странность ни стояла за этими случаями, в определенное время их набирается достаточно много, чтобы сказать, что мнение о незаконченности «Коляски» чаще всего возникало в конце и начале века.

Последняя точка в «Коляске» навсегда осталась мерцающей, периодической. И наиболее тускло она светила, иногда совсем пропадая, на рубеже веков. Лишь Льву Толстому она виделась в это время ярко, как никому: «Самое прекрасное для меня, — делился граф с Душаном Петровичем Маковицким, прилежным гением «Яснополянских записок», — это «Коляска», вещица, нет ничего лишнего, закончено все...»

Нет никаких сомнений, что и поэма «Мертвые души» представлялась бы Льву Толстому, а вместе с ним и всем читателям проявленных фрагментов «Авьякта Парвы» абсолютно законченной, если бы вера в законченность нечаянно не улетучилась из души самого Николая Васильевича — из его нетленной души, вечно поддерживающей в состоянии проявленного и завершенного каждое его творение, когда-либо вообразившееся ему таковым. Сохрани он — хотя бы еще на несколько часов, хотя бы до обеда у Аксаковых — эту пылкую веру в последнюю точку, решишь он на высшее изъявление преданности своему божеству, то есть на утверждение нереального, невозможного, воображаемого перед лицом реальных публичных чувствований, благодарное божество, именно этого и ожидавшее от своего сообщника, уже не посмело бы удалиться из того чудодейного предложения, о котором нам стараниями Берга известно, увы, только следующее:

«Вначале достаточно ясно читавшееся, оно затем почти совершенно исчезло в прилепленных к нему невообразимым манером приписках, вставках, помарках, затейливых перечеркиваниях — в целой буре неопикуемых знаков какой-то фантастической, никому не ведомой корректуры и прочих неизъяснимых символов, среди которых выделялся, как бы ни к чему окольному не относясь, некий особливый круг, или, быть может, густо намалеванная, величиною с жемчужину точка».



Григорий ПЕТРОВ

Родословное Древо

РАССКАЗЫ*

ЗАПИСКИ ИЗ БРОНЗОВОГО ЛЬВА

Варя скоро уже год как похоронила Славика. Вот Рождество пройдет, святки, как раз год будет. А тут перед самыми праздниками событие. Варя только устроилась медсестрой в городскую больницу. Приходит она на дежурство, а Дергунова, сменщица ее, говорит:

— У нас здесь в травматологии один лежит, не поверишь... Медиум...

— Господи, какой еще медиум? — удивляется Варя.

— Спирит... Самый настоящий спирит... Его машина сбила. Видела бы ты его, когда привезли! Весь в синяках, ссадинах. У нас его на ноги поставили. А он теперь нам сеансы спиритические устраивает. Вроде как в благодарность.

— Да глупости все это! — отзывается Варя. — Не верю я ни в какой спиритизм. Духи всякие, столоверчение. Верно, шарлатан какой-нибудь!

— Да что ты! Он вхож в самые богатые дома. Все его приглашают, нарахват. Банкиры, коммерсанты, фирмачи всякие. Его какой-то бизнесмен из Парижа привез. А так он вообще-то русский...

Ну ладно, поговорили они и разошлись. Варя уже и забыла про спирита, работы у нее в отделении выше головы. Она и за санитару, и за нянечку — каталки возит, клизмы ставит, полы моет, судна носит. Особенно много хлопот со стариками. Многие из них нарочно наговаривают на себя всякие болезни, чтобы только в больницу попасть.

— Здесь хоть накормят по-человечески, — говорят. — Дома-то вовсе есть нечего.

И, как устроятся, ни за что выписываться не хотят. Один старик все время ковырял у себя на руке гнойную рану, чтобы она дольше не заживала. У него и началась в конце концов гангрена, руку пришлось отнять. Другая старушка, у которой было сотрясение мозга, пряталась в туалете и выкуривала сразу чуть ли не пачку сигарет. Короче говоря, за стариками глаз да глаз нужен.

А дня через два, наверное, утром, только заступила Варя на дежурство, идет она в подвале по коридору с тележкой, халаты чистые везет, инструменты, навстречу ей Дергунова. Стоят они перед лифтом, ждут, Дергунова и говорит:

— Сегодня вечером сеанс будет... На третьем этаже, в кабинете главного врача. Приходи обязательно.

Варя, конечно, отнекивается:

— Некогда мне... Работы по горло... Больные...

— Да это недолго, — уговаривает Дергунова. — Полчаса, может, не больше. Ты только посмотришь.

* Продолжение публикации своеобразного романа Григория Петрова, состоящего из самостоятельных новелл, объединенных одной темой. Предыдущие публикации см. «Октябрь», 1998, № 9, 1999, № 9.

Тут лифт перед ними останавливается, двери раздвигаются, а из лифта санитар Любкин с каталкой. Из-под простыни желтые ступни торчат.

— Мне как всегда, — говорит Любкин. — Направо и за угол.

Дергунова головой кивает — все ясно, в морг. И говорит Любкину:

— Сегодня вечером... На третьем, в кабинете главного... Как обычно...

Любкин по-военному козыряет:

— Есть!

Любкина привезли в больницу два месяца назад из воинской части. Голову ему пробили паяльной лампой старослужащие. Рану его зашили и сказали:

— Оставайся, санитаром будешь...

Любкин остался. Его продолжали числить больным, кормили вместе со всеми, а он работал бесплатно. Варя поглядела на его каталку, на желтые ступни под простыней и вспомнила своего Славика.

— Так вы что, духов вызываете? — спрашивает она Дергунову.

— Ну да, материализация, — отвечает Дергунова. — Представляешь, является умерший человек и берет тебя за руку.

— И кто же к вам является?

— Да кто угодно. Только мы больше любим своих. Которые здесь у нас померли. Прошлый раз из пятой палаты был. У него кровоизлияние в мозг. Страшный такой. Глаза пустые и ноготь черный на большом пальце. Только он все молчит. Уж который раз является и все молчит.

Вечером Дергунова зашла за Варей и снова стала ее уговаривать:

— Да ты погляди только... С ними же общаться можно. Тут как-то являлся из седьмой палаты. Его все хорошо помнят. Опухший весь, на лбу швы, глаза в гное. Спрашиваем: как тебе там? А он отвечает: да как при жизни, так и там. Меня же здесь дети из дома выгнали. На свалке жил, в палатке. Так и там — на свалке живу...

— Ну если только на вашего медиума посмотреть, — согласилась наконец Варя.

Поднялись они на третий этаж. Варя думала увидеть какую-то загадочную, таинственную личность. А здесь совсем невзрачный, в халате, невидный вовсе. Сидит в уголке, чай пьет, у стены костыли стоят. Ни дать ни взять — санитар больничной.

— Я первое время в Париже ужасно нищенствовал, — рассказывает он. — За всякую работу брался. Посуду мыл, мусор убирал. А потом дар в себе почувствовал, призвание нашел.

Народу в комнате много, весь почти персонал. Даже старшая сестра пришла — Милица Прокофьевна.

— Нет, как хотите, а здесь что-то есть, — говорит она. — Как же можно не верить?

— Конечно, есть, — поддакивает Любкин. — Прошлый раз стакан на столе так и двигался.

— А помните — старик приходил? — вмешивается Митюкова из нейрохирургии. — У него еще шейные позвонки были смещены, шестой и седьмой. Спина ему потом раздавило. Так он велел Свищевой из первого отделения бросить курить. Ну бросила она, а у нее после этого спина болеть стала...

Тут спирт допил чай, вышел из своего угла и увидел Варю.

— У нас новенькая... Вот и хорошо... Будем с вами работать... Кого бы вы хотели увидеть?

— Все это как-то странно, — смутилась Варя.

— Да вы не бойтесь, — настаивает спирт. — Может, кого из родственников ваших? Дедушку, например, дядю или брата?

— А что? — говорит Митюкова. — Вызывала же я свою свекровь. Я у нее спрашиваю: что мне для желудка лучше — тертая свекла или морковь? А она мне: лучше всего чеснок...

Варя подумала и сказала:

— Может, тогда кого-нибудь из предков моего покойного мужа. Он всё свою родословную записывал. Прямо помешался на этом. Многих разыскал. Какого-то придворного библиотекаря при Екатерине Второй. Потом гвардейского офицера, декабриста. Вот только дедушку не успел. Может, его вызвать?

— Что ж, попробуем,— сказал спирт.

И резким каким-то голосом:

— Нужна темнота! Гасите свет!

Как за столом все расселись, вдруг зазвонил колокольчик. Откуда он здесь взялся — неизвестно. Все так и замерли. А спирт ходит за их спинами, костылями стучит. Из темноты голос:

— Будьте внимательны! Он уже здесь!

— Где? Где? —шепчет Митюкова.— Я ничего не вижу!

— Протяните руки! — командует спирт.

Варя устала в темноту, но ничего там не видела, только столб какой-то светлый, вроде тумана. Потом она слышит вздохи, стоны. Кто-то откашливается, кричит.

Звук открываемой бутылки, бульканье и снова кашель. Шаги, шарканье, что-то упало на пол. Тут Милица Прокофьевна как вскрикнет:

— Он меня за волосы схватил!

А спирт за спиной Вари на ухо ей шепчет:

— Не бойтесь! Дайте ему руку!

Варя ни жива ни мертва протянула перед собой руку. И тут чувствует — кто-то коснулся ее, будто кошка лапой, мягко так.

Дергунова толкает Варю в бок:

— Ты спрашивай его, спрашивай... Не молчи...

А Варя будто язык проглотила. Наконец выдавила:

— Вы кто?

Светлый туманный столб перед ней колеблется, струится. И стук какой-то, будто карандаш постукивают. А как свет зажгли, на столе перед Варей записка. Варя читает: «Ивана ищите, Ивана! Или Петра! Вот кто вам нужен! А я Григорий!»

Дергунова говорит Варю:

— Ну вот видишь! А ты не верила!

А на следующей неделе спирита выписали из больницы и сеансы прекратились. Варя даже расстроилась — лучше бы она не ходила туда. Вроде как подразнили только. «Какого еще Ивана искать? — думала она.— Где я его теперь найду?» Муся, гардеробщица, которая тоже была на сеансе, видит, что Варя как в воду опущенная, говорит ей:

— Да плюнь ты на них! Это все ученость одна! Немцы да французы придумали! А вот скоро святки! Ворожить будем! Совсем другое дело! Найдешь ты своего Ивана! Или Петра! А то, глядишь, и женишка суженого себе нагадаешь. А что? Молодая еще, красавица!

Муся жила с Варей в одном доме, часто выручала ее — забирала Пашеньку из детского сада, когда Варя дежурила.

И вот через неделю, поздно вечером, как раз сочельник был, сидит Варя одна на кухне, Пашенька спит в комнате, тут звонок в дверь. А это Муся.

— Идем ко мне! Вдвоем-то лучше! Что одной сидеть?

Варя подумала, подумала и пошла. У Муси посреди комнаты стол, на столе зеркало большое, по бокам свечки. Тут же миска с водой и полотенце.

— Только теперь переодеться надо,— говорит Муся.— Так положено.

Дала она Варю свой старый сарафан, сама надела какой-то мужской пиджак, кепку. И вот ближе к полуночи приносит Муся еще одно зеркало, поменьше.

— Наводить будем,— говорит она.— Как правильно наведешь, так и увидишь. Прошлый год с подругами гадали. Навела я зеркало, там мутно, туман. Гляжу — рыло какое-то страшное. А это поросенок. Я для смеха говорю: «Чушка, чушка, скажи, где мой суженый». А поросенок как рыкнет: «Я вас всех сейчас задавлю!» Перепугались мы.

Варя сидит на диванчике, а Муся перед зеркалом:

— Суженый-ряженный, приходи умыться...

— Ну что там? — спрашивает Варя, сама еле смех сдерживает.

— Туман какой-то, не то дым, — отвечает Муся. — Вроде пушки палят.

Потом как закричит:

— Вот он! Вижу! Вижу! Шинель на нем, фуражка офицерская. Только не такая, как теперь носят, а старая, царская...

— Белогвардеец, что ли? — чуть не хохочет Варя. — Дай-ка взглянуть.

Муся даже расстроилась:

— Это что же, белогвардеец мне в женихи?

Села Варя на место Муси, а та говорит:

— Снова навести надо...

Вертит Варя маленькое зеркальце, а в большом и правда — туман какой-то, взрывы. А потом из тумана — человек, синий весь, страшный. Кинула Варя зеркало и бежать в коридор. Стащила с себя Мусин сарафан, хотела к себе идти, а Муся ей кричит:

— Скорей! Скорей! Опять он!

Вернулась Варя, к зеркалу села, а там точно — человек в шинели и фуражке. И так ясно видно, будто он за спиной стоит. Варя даже оглянуться хотела, но побоялась. Офицер вдруг говорит:

— Не удивляйтесь... Форма на мне — так нужно, ничего не поделаешь. Добровольческая армия. Новочеркасск, Армавир, Ставрополь. Под Кореневкой смертельно ранен. Там я и похоронен.

Варя совсем осмелела и спрашивает:

— А вы кто?

— Иван Спиридонович, — отвечает офицер. — Нас три брата Петровых. Старший Григорий, священник, за границей он. Младший — Петр. А я средний...

— Скажите, Иван Спиридонович, — снова спрашивает Варя, — у вас дети были?

— Была девочка... Только она умерла, кажется...

— Очень жаль, — вздыхает Варя.

— А вот у брата Петра, у того — сын.

Варя сразу оживилась:

— Это то, что нужно! Понимаете, возможно, Петров Петр Спиридонович — дедушка моего мужа покойного! Вот бы его увидеть!

— Ну это не так просто, — отвечает офицер. — Я слышал, Петра арестовали. В 1926 году, что ли... А из Чека вызвать дух непросто.

Тут туман в зеркале стал совсем густой, и офицер пропал.

— Ерунда все это, — говорит Варя. — Обман зрения. Никого и не было вовсе.

— А полотенце? — кричит Муся. — Полотенце-то, смотри, мокрое. Это он руки вытирал.

На другой день опять бежит Муся:

— Что я тебе скажу, Варвара! Твой опять приходил. Гадала я снова, он и явился. Просил передать тебе, будто бы брат его Петр оставил после себя тетрадь с записями. Тетрадь в доме с колоннами. Какой-то арбатский переулочек, железные ворота. У крыльца львы бронзовые. Вот у львов и искать надо...

— Вот еще глупости! — сердится Варя. — Такого и дома-то, наверное, нет.

А когда Муся ушла, она подумала: «Пойти разве просто так, поглядеть?..» Долго ходила она по арбатским переулочкам, глядела на дома — ничего похожего не было. «Я же говорила: глупости все это», — решила она. Потом видит — в одном переулочке ворота железные. Заглянула во двор — дом каменный с колоннами, весь в строительных лесах. А сбоку от крыльца — лев бронзовый с разинутой пастью. Куда делся второй — неизвестно. Вошла она во двор, у ворот старик сидит, не то сторож, не то просто так.

— Интересуетесь? — спрашивает. — Дом князя Гагарина.

— Красивый дом, — говорит Варя.

— Красивый-то красивый, только беда в нем живет.

— Какая еще беда?

— Ну это старая история. Его как князь Гагарин построил, полковник какой-то в аренду снимал. А потом полковник застрелился. Жена его умерла, которую он больше жизни любил. Вот он и застрелился. С тех пор все и началось. Черти его облюбовали. Кто ни поселится — непременно беда. То пожар, то ограбление. После революции здесь всякие конторы были, учреждения. И всегда несчастье. Или кассир проворовался, или недостача. Теперь вот новые хозяева. Сначала директор банка жил. За границу сбежал. После бизнесмен какой-то. Тот аферу затеял и тоже исчез. Теперь вот фирма торговая ремонт делает. Только я думаю, и они долго не выдержат.

Варя выслушала старика, потом говорит:

— Можно поближе посмотреть?

Подошла она к дому, а как старик отвернулся, сразу к бронзовому льву, сама думает: «Где же второй? Может, в том другом что и лежало». Сунула она руку в пасть льва, нащупала какой-то сверток в клеенке. Даже не поверила сразу. Вытащила — и скорей со двора на улицу мимо старика. Дома пакет разворачивает — тетрадка, стала Варя читать.

Рукопись Петра Спиридоновича

Долго мне его помнить — пятый год нового века. Сразу после январских событий, после девятого числа, мы с Наташей бежали из Петербурга. Сначала в Москву, потом к моим родителям, это под Подольском. Жили в доме моего дяди, директора завода.

Родители мои приняли Наташу с радостью, особенно мама.

— Неужели, правда, губернаторская дочка? — все спрашивала она меня.

— Самая настоящая, — отвечал я. — Из Иркутска. В институте благородных девиц воспитывалась. К царскому двору допущена. Императрица обещала фрейлиной сделать.

— И в революцию пошла?

— У нее даже свой план был. Явиться на придворный бал продавщицей цветов. А в цветах — револьвер. Преподнести царю букет и застрелить его.

Мама только головой качала. Жили мы себе и жили, никто нас не беспокоил. Я все приставал к Наташе:

— Когда же мы обвенчаемся? Ведь давно собирались...

А тут в октябре новое дело — царский манифест. Привезли газеты, там крупный заголовок: «Конституция». На заводе, на станции только и разговоров: «Что за манифест? Что теперь будет?» Знакомый поручик, начальник караула, жаловался:

— Как жить при конституции? Можно ли стрелять? Гарнизонный устав — это я знаю, а что такое конституция?

Как-то прикатили из Подольска студенты. Красные банты, флаги. Перед заводом митинг. Что говорили — не разобрать, только крики: «Ура!» и «Долой!». Поручик вывел караул, требует разойтись. А толпа свое:

— Теперь свобода! Конституция!

— Проходите! — кричит поручик. — Если вам свобода, так идите себе дальше!

А студенты опять:

— Теперь все можно! Теперь свобода!

У дяди на заводе боевая дружина из рабочих. И вот в ноябре, что ли, решили они идти в Подольск, брать власть в свои руки. Собрались на заводе, сняли часового у цейхгауза, раздали оружие дружинникам. Всю ночь ждали сигнала, чтобы выступать. А тут несчастный случай. Один рабочий то ли баловался с оружием, то ли по неумению, но только ружье его случайно выстрелило. И так вышло, что был убит начальник боевой дружины Федяев. Прибыла, конечно, полиция. У убитого Федяева нашли списки рабочих, которым выдали оружие. Пошли аресты.

У мамы, в ее комнате, что-то вроде рабочего кружка сделалось. По ночам приходили какие-то люди, сидели до утра, потом уходили. Рабочие уже как-то узнали, что мама — старая революционерка, привлекалась полицией по делу покушения на императора Александра Второго. Мама хотела привлечь на собрания Наташу, каждый раз звала ее. Но Наташа никого не хотела видеть. С ней вообще в это время творилось что-то неладное. Будто подменили ее — совсем другой человек. Как ни придешь к ней, она все на коленях перед иконами. Однажды, летом уже, захожу — у нее мужик какой-то бородатый, босой, без шапки. В руках палка, к палке букет цветов привязан.

— Может, чаю, Андреюшка? — угощает его Наташа.

— Не буду, не буду! Рад бы, да святые не велят.

Потом увидел меня, бормочет:

— Скоро, скоро будет большая суета... Все будет чисто...

А Наташа вдруг говорит:

— Мне надо съездить в Оптину Пустынь. Андреюшка меня посылает.

— Так, так, — бормочет Андреюшка. — Помни: все ангелы, а я грешница.

Потом провел пальцем по подоконнику и показывает грязный палец:

— Так и грехи наши... Как пыль... Очищаться надо покаянием...

Мы с мамой отговаривали Наташу, но она никого не слушала, через день собралась и отправилась в путь. Я, конечно, увязался за нею. Доехали мы до Сухиничей, там пересадка на Козельск. В Козельске взяли ямщика, до самой Пустыни. Дорогой ямщик все рассказывал нам последние слухи, какие здесь ходили. Будто между Москвой и Петербургом разъезжает человек в красной рубахе, весь в орденах, со свитой. Поджигает богатые дома, как Пугачев. А в Петербурге явился он к царю с револьвером и заставил его подписать отречение от престола.

Через час добрались мы до речки Жиздры. Там паром, монахи перевозят. А как переправились, сразу на горке обитель. Внутри тишина, покой, монахи встречные кланяются. Свободных комнат в гостинице не оказалось. Монах-гостинник предложил нам пустую дачу какой-то генеральши. Мальчик принес самовар с особыми булками из просфорного теста. Напились чаю, Наташа на вечернюю службу пошла, я за нею. В храме полутьма, народу мало. Сначала пели заунывно, потом стали читать: «Се тьма покроеет землю, и мрак окутает народы». Меня так и кидало в сон, еле выстоял до конца.

А с утра уже Наташа на ранней обедне. И опять долгое пение, чтение монотонное, скороговоркой. Сразу после службы Наташа отравилась в Оптинский скит, я следом поплелся. Дорога все время лесом, по сторонам сосны, папоротники высокие. Над воротами скита образ святого Иоанна Предтечи. Справа и слева двери в кельи старцев. Наташа пошла в правую. За дверью длинный коридор, по сторонам скамейки. Мы долго сидели, ждали. Входили богомольцы, такие же, как и мы, садились на лавки. Рядом с нами две женщины.

— Батюшка уж такой прозорливец, — говорит одна. — Прошлый раз увидел меня: «Ты пришла просить о сыне, пьет он у тебя горькую. Иди, я буду молиться о нем». Дал мне семь пряников, сын поел и вроде как отошел от вина, в церковь стал ходить...

— А со мной-то как, — отзывается другая. — Глазами я стала страдать, гноятся, не могу глядеть. А он спрашивает: видела ли я обувь, какую носил отец Амвросий? Привел меня в его келью, там шкафчик такой со стеклянной дверцей. И достает из шкафчика суконные ботики покойного старца. Я поцеловала их и приложила к глазам. Вернулась домой, а болезни как не бывало...

Наконец отворилась дальняя дверь и вышел старец. Маленький, согнутый, на глазах — очки синие. Увидел Наташу и рукой ее зовет. Я за ней. Впустил нас в келью. Комнатка небольшая, светлая. В углу иконы. На печке картина нарисована — какая-то женщина, которой ангел указывает путь на небо. Потом выяснилось, что женщина на картине — это грешная душа. Наташа не успела слова молвить, как старец ей говорит:

— Главное правило, деточки,— это любовь. Только у вас своя любовь, а у нас своя. Мы любим той любовью, которая никогда не изменится. Ваша любовь — однодневка, а наша и сегодня, и завтра, и через тысячу лет все та же...

Старец тут же принялся угощать нас чаем с медом и вареньем. Велел принести банку паюсной икры.

— Не свое даю! Из добрыхотных жертвований. Молитесь за тех, кто мне подал!

Потом рукой на картину указывает, где грешная душа в виде женщины.

— Все люди делятся на две части: фарисеи и мытари. Первые погибают, вторые спасаются. А что спасает мытаря? Сознание своей греховности. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Берегите это в себе, деточки. Если б вы знали, что значит покаяние! Через покаяние мы можем принять в себя самого Господа. Главное — иметь сердце сокрушенное и смиренное.

Когда мы выходили от старца, он отвел Наташу в сторону и тихо сказал ей что-то. Потом мы с Наташей долго гуляли по лесу. Я смотрел на нее и чувствовал, что жить без нее не могу, что готов ждать ее хоть всю жизнь, лишь бы быть рядом с нею. А Наташа говорит:

— Знаешь, что мне сказал старец на прощание? Помни, говорит, деточка, замужество для женщины есть служение Пресвятой Троице. Вот видишь, как велика участь быть женой и матерью...

Через три дня вернулись мы домой. Входим, а у мамы гость.

— Слышали? — встречает нас мама.— Столыпина в Киеве убили!

Наташа только крестится:

— Царство ему небесное...

— Нет, вы только послушайте. Вот приятель нашего Григория из Киева, журналист. Письмо от Григория привез. Дело-то как сделали неумело. Для чего именно министра внутренних дел? Надо бы уж сразу царя!

— Господь с вами! — опять крестится Наташа.— Что вы такое говорите?

— И потом, почему в театре? Самое неудобное место. Никаких надежд на спасение.

— Это верно,— поддакивает гость.— Возможностей было сколько угодно. Государь с министрами всякий день на улице — только выбирай. В Киево-Печерской лавре, к примеру. Народ, толпа. Экипажи еле двигаются. Потом еще в Купеческом саду, когда иллюминацию смотрели. Там в конце обрыв, всегда уйти можно. Да и сам Столыпин первые дни ходил без охраны, пешком.

— А этот, как его, Богров, какой он из себя? — интересуется мама.— Как он вообще в театр попал? Ведь билеты, верно, не продавались. Только между своими.

— А он из охранного отделения. Агент охранки. Молодой еще, тридцать лет. Высокий, бритый, в пенсне. Помощник присяжного поверенного. Его там в театре топтали, два зуба выбили. Женщины все как одна кричат: «Убить его!» Ведут его, а он папиросочку просит. Говорит: «Вся эта история меня так взволновала... До сих пор, говорит, не могу в себя прийти...»

— А что за спектакль давали? — спрашиваю я.

— «Сказка о царе Салтане». Только два акта и успели. Третьего уже не было.

— Нет, неумно все, неловко,— снова говорит мама.— Вот раньше были дела! Плеве Вячеслав Константинович, министр внутренних дел. Сергей Александрович, великий князь, московский генерал-губернатор. Какие покушения! А теперь не то...

— Стрелял Богров два раза,— продолжает гость.— Первая пуля попала во Владимирский орден министра. Вторая прострелила ему руку и дальше угодила в ногу первого скрипача оркестра. Скрипач кричит: «Помогите!» А на него никто не обращает внимания. Думают — он о министре беспокоится.

Наташа слушает все эти разговоры, потом заявляет:

— Борьба-то ведь нужна другая. Против врагов своего спасения. И вместо револьвера — молитва, вместо бунта — покаяние. Лучше бы думать не о благе всего человечества, а о спасении своей души...

Сказала, и ушла к себе, и дверь закрыла. Вот так мы и жили с ней невенчаные, сколько лет, я уж и не помню. Может, пять, может, больше. Наташа только часто говорила:

— Не время еще, не время. Грехов-то на мне сколько! Как же на них счастье свое строить? Испустить я их должна, очиститься. Покаяние нужно. Не только за себя, за всех я должна покаяться.

Я часто оставлял Наташу, уезжал по делам. Дядя устроил меня в земскую статистику, приходилось много ездить, вести перепись. Нагляделся я в своих поездках всякого вдоволь. Захожу, к примеру, в одну избу, баба в ноги кидается, умоляет пожалеть детей малых, не записывать их, не смыслят они ничего. А мужик ее хмуро так спрашивает:

— Когда землю делить будут?

— Не знаю, — отвечаю.

— Скорей бы уж! Мужики вон говорят — революция непременно будет...

— Отчего же непременно? — спрашиваю.

— Потому как зима без снега была. Половину озимых придется перепахивать.

В другой раз в доме старик со старухой. Тоже причитают, просят пожалеть их, старых людей, не записывать. Потом разговорились, они рассказывают, что в деревне неспокойно. Крестьяне отказываются платить подати, сдавать рекрутов, подчиняться земскому начальству. Какие-то темные личности из Москвы подбивают их. Я и сам видел этих пропагандистов. Имен у них нет, одни клички: «Дядя Ваня», «Фу-фу», «Петр Петрович». Везут нелегальную литературу, подбрасывают прокламации, устраивают сходки. В одной школе полиция раскрыла склад оружия — бомбы, револьверы, пятьсот штук. Бомбы круглые, как апельсин, со всех сторон шипы торчат.

В Сертякине был такой случай. Собрали крестьян на сходку. Какой-то студент, с ним подруга стриженная, кричат: отобрать землю у частных владельцев! Тут казаки из города. Один казак поднял курсистку на лошадь и отхлестал ее. Тогда студент подозвал мальчика, лет пятнадцати, дает ему книгу, чтобы бросил в толпу. А это была бомба, мальчик-то не знал, человек десять убило.

В Плушкове другой случай. Косили мужики луг, потом напились, как принято при общинном покосе, и пошли громить управляющего. Управляющий убежал, переплыл реку — и в полицию. Мужики стали камнями бросать в дом управляющего, ворвались в первый этаж. Требовали немедленно делить землю. Семья управляющего заперлась на втором этаже. Прибыли полицейские со становым и урядником. Арестовали пятнадцать человек. Мужики сначала волновались, а потом сказали, что в них бес вселился.

Понятно, что я только и думал, как бы скорей домой. Возвращаюсь, спешу к Наташе, а у нее странница. На голове платок красный фуляровый, волосы по плечам распущены. В руках здоровенная палка, на шее четки с большим крестом. Увидела меня, палку свою протягивает:

— Прими от Голубицы жезл иерусалимский...

Сама садится чай пить. Чашка у нее своя, деревянная, из какого-то монастыря. На чашке надпись: «Не осуждать, а молчать — труда мало, а пользы много». За чаем она рассказывает:

— Была я раньше жена купеческая, в карете ездила. Но раз в ночи было мне видение и клич: «Почто, жена, глаза твои на нищих и убогих не взирают?» И, встав ото сна, пала я ниц, прося отпущения грехов своих. И с того часа ноги мои ходят по дорогам, неся милостыню от дома к дому...

А как попила чаю, вдруг заявляет:

— В России-то что творится! Гришка околдовал царицу! А колдовство изгоняется молитвой! Ну а где же лучше молиться, как не в монастыре?

Наташа на это говорит мне:

— Я вот к Троице собралась идти к Сергию в Лавру...

Что мне оставалось делать? Снова я стал собираться, куда ж мне без нее? Приехали в Сергиев Посад, а там торжества. У вокзала музыка военная. Дорога до Лавры канатами огорожена, дома убраны зеленью, флагами, царскими вензелями. Казаки разъезжают.

— Что тут у вас? — спрашиваем у кого-то.

— Государя ждем, — отвечает. — В Москве он теперь. Там памятник императору Александру Третьему открывают. Обещался у нас быть.

В полдень народ валом валит в Лавру, но туда мало кого пускают. Наташе все-таки удалось как-то пройти, и мы попали на Крестный ход. Монахи в золоченых одеяниях, певчие, хоругви, колокольный звон. Только ковер разостлали, экипажи царские подкатывают. В первом экипаже императрица Александра Федоровна, за ней дядька с наследником цесаревичем на руках в матросской рубашке. Во втором экипаже — царь с дочерьми. Дочери тоненькие, худенькие, в широких соломенных шляпах с розами. Улыбаются, а сами грустные. Мы стояли к ним так близко, совсем рядом. Я еще подумал: вот если бы кто захотел стрелять, лучшего случая не придумаешь. Обернулся к Наташе поглядеть на нее, а она на царских дочерей уставилась, у самой слезы в три ручья. Шепот ее слышу:

— Господи, прости меня, грешную! Благодарю тебя, Господи! Что отвратил от греха смертного. Отвел руку мою от этих людей.

Крестится она, а я смотрю на нее, потом на дочерей царских, потом снова на Наташу и чувствую, сердце мое разрывается от любви к ней.

Когда выходили из Лавры, какой-то монашек в грязной, оборванной рясе сует нам букетик цветов.

— Будете идти по жизненному пути, собирайте цветочки, и соберете букет, а плоды получите потом...

Мы с Наташей переглянулись, она спрашивает у монашка:

— Что это значит?

Монашек уже было пошел прочь, потом снова вернулся.

— Цветочки — это печали и горести. Их нужно собирать, и получится чудный букет, с которым предстанете в день Судный, и тогда получите плоды — радость.

Вернулись мы домой, сторож-татарин с завода зашел поздравить нас с приездом. Налили ему рюмку, он и говорит:

— Слышали? По всей империи водку перестали продавать. Мобилизация.

— Какая еще мобилизация?

— Война с Германией!

Наташа тут кинулась обнимать меня.

— Тебя же могут на фронт отправить... Могут убить... Нам надо венчаться!

Говорит она, а мне даже не верится. Сколько уже лет таскаюсь за ней, служу, как верный пес, и вдруг — обвенчаемся. Я уже потерял всякую надежду.

— Как хочешь, — только и сказал я.

Теперь каждое утро отец приходил ко мне с газетами, показывал картинки, которые ему очень нравились. Вот казак размахивает шашкой, а вокруг немцы лежат. И подпись: «Кузьма Крючков, донской казак, отбивающийся от 18 немцев, которых он зарубил, и получил Георгиевский крест». Или еще — офицер с кортиком лезет через борт немецкого крейсера. «Лейтенант Свиньин, штурмом берущий немецкий крейсер “Магдебург” у Аландских островов». Особенно отца смешила картинка, где великий князь Николай Николаевич лупит сковородкой по голове коротышку Вильгельма.

Венчаться мы с Наташей решили в Подольске на будущей неделе. Только перед самым венчанием, когда все уже было готово, Наташа исчезла. Я туда-сюда, весь дом обыскал — нет нигде. А тут случайно в окно выглянул — странница у крыльца стоит, Голубица. Выскочил я к ней:

— Где Наташа?

— Беги за ней, если догонишь, — бормочет Голубица.

— Да говорите же толком! Где она?

— Собиралась в Глинскую пустынь, к старцам. А так или нет — уж не знаю...

— Господи, где это — Глинская пустынь? Далеко?

— Черниговская губерния... Я пешком раньше ходила. На чаю — двенадцать дней пути, без чая — дальше.

Я тут же стал собираться в дорогу. Добрался до Москвы с горем пополам. В вагоне духота. Окно открыть нельзя — пыль. Все проходы забиты людьми, сидят на вешках. Навстречу то и дело воинские поезда. Платформы с автомобилями, повозками. Товарные вагоны с лошадьми. Солдаты спят в соломе, пьют чай с хлебом, песни поют. Вид у них веселый, не подумаешь, что война. Из Москвы дотащился до станции Терещенская, там пересадка на Глухов. От города ямщик доставил до самой пустыни. Как к гостинице подъехали, смотрю — над воротами картина Страшного суда: грешники мучаются. Я еще подумал: «Будто про меня нарисовано». Спросил в гостинице Наташу, говорят — не было. Долго бродил по монастырю, все храмы обошел, во все места заглядывал — в книжную лавку, больницу, почтовую контору. Наташи нигде не было. Пошел в дальний конец, там пруды, пасека, огороды. За кладбищем дорога в Ближний скит. Только свернул на дорогу, навстречу Наташа. Увидела меня, кинулась, обнимает.

— Знаешь, что мне старец сказал? Надо ждать, говорит, ужасных событий. Грядут в мир тьма и смута. Ад разрушен, но не уничтожен. Скоро, очень скоро он даст о себе знать. Миром сейчас овладела злая, посторонняя сила. Источник ее — дьявол. Страшные будут беды.

Я успокаивал ее, как мог, а она все не могла в себя прийти.

— О царе тоже говорил. Государь наш теперь сам не свой. Сколько унижений терпит! А будет еще тяжелее. Будут они все замучены — и государь, и вся семья его...

Повез я Наташу обратно домой, дорогой и спрашиваю:

— А как же наше венчание?

— Вот вернемся, — говорит Наташа, — обвенчаемся.

Ну а как домой приехали, Наташа сразу же занялась делами — не до венчания. Записалась на курсы сестер милосердия. А тут в женской гимназии открылся частный госпиталь. Она пошла на дневные дежурства. Купила себе фартук, белую косынку.

Работы в госпитале много. Таскала больных, делала перевязки, стояла на наркозе, еще ванны, массажи. После всего читала раненым письма и писала под их диктовку. Однажды я зашел за ней, мне говорят — с ней обморок. Стояла с тазом при операции и не выдержала. В комнату к ней меня не пустили, я долго ждал в коридоре. Там тоже койки, лежали раненые. Какой-то молодой в белой рубахе, перевязанный весь, все балагурил:

— Видел я, братцы, как государь возлагал на себя крест Георгиевский. Вот и выходит: царь-батюшка с Егорием, а царица-матушка с Григорием.

— А Распутина видел? — спрашивает его сосед. — Какой он из себя?

— Широкоплечий такой, рыжий. Волосы жирные. Лицо тоже широкое. А глаза маленькие. Одет богато. Рубашка шелковая, вроде как поддевка. И все особенное... Ведь он хитрый... Он что говорит? Мол, отрок Алексей жив моей грешной молитвой. Я, смиренный Гришка, послан Богом охранять его и всю царскую семью. Доколе я с вами, не будет вам ничего худого...

— Что ж будет, как его не станет? — сокрушается сосед. — Дай, Господь, ему долгой жизни.

Тут Наташа вышла из комнаты, я домой ее повел. А на другой день всех сестер послали на станцию. Ждали поезд, в котором раненые и пленные. Накормить их, напоить чаем, пока поезд будет стоять. Я был там с Наташей. В зале ожидания мы резали хлеб, колбасу, кипятили чай. Когда прибыл поезд, стали разносить по вагонам бутерброды в больших корзинах и чайники с чаем. Наташа ходит между ранеными и говорит:

— Вы уж потерпите, солдатики. Ведь как оно выходит? Потерпишь — и мир будет. А станешь злом за зло воздавать — мир отступит. Надо жить по совести и просить помощи у Царицы Небесной. И все хорошо будет.

Какой-то солдат с подвязанной рукой все улыбался Наташе:

— Спасибо, сестричка, всем довольны... Только вон тому немчику чайку налейте, тоже человек...

Зимой уже, перед самым Рождеством, мы все-таки обвенчались с Наташей. Народу в Подольской церкви никого не было. Батюшка венчал нас торопливо, скороговоркой. После венчания сказал:

— В супружеской жизни всегда два периода: один счастливый, другой печальный, горький. И лучше, когда горький раньше, а потом будет счастье...

Возвращаемся мы домой, а отец встречает нас какой-то возбужденный.

— Иван проездом из Петербурга был. Говорит: Распутина убили. Ну накопец-то! Слава тебе, Господи!

— Кто же убил? — спрашиваю.

— Иван говорит, будто великий князь участвовал, Дмитрий Павлович. Потом еще другой князь — Юсупов Феликс. Еще кто-то...

— Ох, нехорошо-то как! — крестится Наташа. — Если б какие каторжные... А то князья... Срам-то какой!

— Ну теперь жди беды, — сказал я, вспомнив разговор раненых в госпитале.

Все, кто приезжал в эти дни из Москвы, привозили самые невероятные слухи. Говорили, что в городе беспорядки. Будто на всех чердаках городовые с пулеметами. Рассказывали, что одна баба выкатила из дома пулемет и палила в людей на улице. А потом прилетел аэроплан и стал кидать бомбы.

Наконец новое известие — в Петрограде революция. Дворник привез со станции листовки Временного правительства. Говорит: солдаты бегут с фронта. В буфете рассказывали, что взбунтовался какой-то полк. Кажется, Волынский. Убили командира. Офицеров разоружают. Больше всех радовалась мама:

— Теперь свобода!

Весной уже, в марте, еще новость. Приходит заводской сторож-татарин и говорит:

— Поздравляю с праздником! Царь-то отрекся! Теперь у нас никого на престоле!

Наташа ему на это:

— Царь отрекся, министры арестованы. Но Бог-то разве арестован? Он остался свободен. Вот и нужно жить по его заповедям.

Мама тут как тут.

— Политических заключенных выпустили, — говорит она. — Амнистия. Они зовут меня. Я еду в Москву.

— И я с вами, — вдруг говорит Наташа.

Я перепугался до смерти:

— Куда тебе, Наташа? В твоём-то положении! Тебе же рожать осенью!

Только Наташа, как всегда, никого слушать не стала. Я потащился за нею. Как мы добирались до Москвы — никому неизвестно. Поезда почти не ходили. Повсюду беженцы, присесть негде. Бегущие с фронта солдаты громят все на своем пути — станции, буфеты. В Москве маму встречали на вокзале какие-то люди, повезли в Городскую Думу. Приветственные речи, крики «ура!». Керенский, который в эти дни был в Москве, обнимал маму, целует. Вечером выступал он в Большом театре. В фойе аукцион — продают его портреты с автографами. Платили от тысячи до пятнадцати тысяч рублей.

— Каково? — восхищалась мама. — Такое и Шаляпину не снилось!

На другой день мама вместе с Керенским укатила в Петроград. Мы с Наташей остались в Москве. В городе в эти дни полная неразбериха. Трамваи не ходили. Зато по улицам взад-вперед разъезжали грузовики, в которых сидели какие-то люди с винтовками. Везде грязь, навоз, лужи, дороги не убираются. Нет полиции — некому приглядеть. Из тюрем вместе с политическими выпускали уголовников. И сразу же — грабежи, разбои. Громили винные магазины, склады. Выламывали заколоченные досками витрины. Одного такого я видел в разбитом окне какого-то магазина. Напился и не мог вылезти обратно, так и лежал в окне.

Городовых всех поарестовывали. В доме у наших знакомых Бобровых, где мы с Наташей остановились, теперь домовая охрана из жильцов. Стоят у ворот

и в подъездах кто с чем. У Свирякина дамский револьвер; у Ходаковых дуэльный пистолет, один на двоих, а Помазуевы, отец с сыном, дежурили со шпагой и охотничьим ружьем. Под окнами нашими с утра до ночи митинги. О чем речи — понять нельзя.

В руках плакаты с одним словом: «Долой!» Другие лозунги и вовсе непонятные: «Все, как один, под знамена Циммервальда!» Или еще: «Долой материнство!» Мы с Наташей нарочно спустились вниз, Наташа спрашивает матроса:

— Что это значит?

А он так оглядел ее и отвечает:

— А то, что рожать будешь ты, а воспитывать будем мы! Диалектика!

Тут матрос увидел, как стороной пробирается старик из нашего дома, отставной генерал медицинской службы, в руках буханка хлеба. Матрос крикнул что-то своим, и все кинулись за генералом. Старик как-то вприпрыжку, бежать он не мог, скрылся в подъезде. Матросы долго стояли у дверей, грозилась кулаками.

А вечером в квартире Бобровых гости. Кожаные куртки, фуражки, у всех оружие. Вином от них сильно тянуло, а у одного даже винтовка из рук выпала, его тут же увели. Что они искали — неизвестно. Только после них в доме пропали часы хозяина, обручальные кольца и многие другие ценные вещи. Забрали также все бутылки с фруктовыми соками, думали — вино.

А осенью, в ноябре, Наташа родила мальчика. Это уже когда большевики власть захватили. При родах Наташа умерла — родовая горячка. Я тогда чуть с ума не сошел, обезумел совсем. На сына новорожденного смотреть не мог. Считал, что он виноват в смерти Наташи. Оставил его у Бобровых, люди надежные, хорошие, сам ушел. Звали сына Алеша. Что будет с ним и со мной — не знаю.

Дочитала Варя тетрадь до конца и говорит:

— Вот, значит, какой твой дедушка, Славик... Дедушка Петя... А Алеша, выходит, твой отец... Алексей Петрович...

После этого завернула она тетрадь в ту же клеенку и в субботу отправилась на кладбище, на могилу Славика. Вырыла небольшую ямку, заложила туда тетрадь и снова засыпала землей.

— Вот теперь хорошо, — сказала она. — Теперь и дедушка твой, и отец вместе с тобой. Твоя родня... Тебе с ними хорошо будет, спокойно...

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕРИБАС

Это уже когда Пашечка в школу ходила, в четвертый класс. Она все спрашивала у Вари:

— Где мои дедушка и бабушка? У всех в классе есть, у одной меня нету.

— Я же тебе говорила, Прасковья, — отвечала Варя. — Старенькие они, умерли. Это же когда было...

В тетрадях Пашечки Варя то и дело находила рисунки — какая-то странная пара, мужчина и женщина. Мужчина в телогрейке, сапогах, женщина в халате докторском.

— Это мои дедушка и бабушка, — говорила Пашечка.

А рядом с ними на рисунке всегда какой-то смешной человек, вроде клоуна — сам коротышка, уши оттопырены, нос крючком, зубы вперед торчат.

Однажды Варя возвращается вечером с дежурства в больницу, в комнате кавардак, все вверх дном, вещи разбросаны, мусор.

— Что это значит? — спрашивает она.

А Пашечка отвечает:

— Гости у меня были. Дедушка приходил. Дедушка Алеша...

— Будет тебе городить! Лучше бы прибралась!

Еще через неделю снова то же самое — полный беспорядок в комнате.

— Опять дедушка приходил? — строго так спрашивает Варя.

— Представляешь, он не один был, — рассказывает Пашечка. — С ним отец его явился. Мой прадедушка, значит...

— Этого еще не хватало! — вздыхает Варя. — Что же вы здесь вытворяли?

— А мы играли, — говорит Пашечка. — В Беломорский канал...

— Господи, какой еще канал?

— Беломорский. Его прадедушка мой строил. Петров Петр Спиридонович. Варя не на шутку рассердилась:

— Я тебе говорила — оставь эти глупости!

— Ты думаешь, это туфта? — вдруг говорит Пашечка. — Это не туфта. Это правда.

Варя так и села.

— Час от часу не легче! Прасковья! Что за выражения? Откуда ты нахвталась?

— Откуда, откуда... От прадедушки. Я же тебе говорю. Он оказался вредителем, и его отправили строить Беломорский канал.

Варя не знала, что про все это и думать, а Пашечка знай свое.

— А какие там люди на канале, ты бы знала! Один инженер — он во время революции командовал обороной Зимнего дворца. Другой — бывший министр Временного правительства. Там даже архимандрит есть. Многие по-французски говорят. Один крючник стихи наизусть знает.

— Что еще за крючник?

— А это когда один тачку с грузом вверх толкает, другой крючком ее цепляет, чтобы помочь. Вдвоем они и тащат.

Варя, конечно, всем этим была сильно встревожена. В конце концов она не выдержала и обратилась к врачу.

— Не знаю, что делать с дочерью. Какая-то болезненная фантазия. Сочиняет совершенно невероятные истории. Придумала себе дедушку. Будто он приходит и играет с ней.

Врач — знакомый, из детской поликлиники, успокоил ее:

— Ничего страшного. Обычный невроз, повышенная возбудимость. Девочка одинокая, богатое воображение. Придумала свой мир. Вы уж ей не мешайте. Не загоняйте ее фантазию внутрь, это хуже. Попробуйте сами играть с ней.

Варя долго сомневалась, не знала, что делать. Наконец в один прекрасный день возвращается она с дежурства, дома, как обычно, беспорядок. Она не стала ругать Пашечку, а спрашивает:

— Ну и во что же вы сегодня играли?

Пашечка обрадовалась сразу, веселая такая стала.

— Сегодня мы валуны из котлована вытаскивали.

— Как это?

— А так, очень просто. На валун набрасывается сетка. Наверху лошадь ходит, канат на барабан накручивает. Вот камень и ползет вверх по лотку.

— А где же у вас лошадь?

— Лошадью дедушка Алеша был! — смеется Пашечка. — Так и ходил с веревкой на поясе.

— Не хорошо-то как, — говорит Варя. — Старенький дедушка — и вдруг лошадь.

— Да какой же он старенький? — еще пуще заливается Пашечка. — Он еще не стал стареньким, он еще молодой.

Теперь уже всякий раз Пашечка сама рассказывала про свои игры, как Варя домой возвращалась.

— Сегодня мы ряжи рубили...

— Что это такое — ряжи? — интересуется Варя.

— Это такие бревна. Их в камеры шлюзов забивают. Ряжевые стенки делают. Потом надо засыпать их землей. А земли у нас нету — один камень кругом. Хорошо, рядом кладбище раскольников оказалось. Вот оттуда, с кладбища, песок и возили.

Укладывает Варя Пашечку спать, а она все новостями делится:

— А на прошлой неделе, представляешь? Бурильщики жалуются. Скалы, говорят, такие, что буры ломаются. Одно слово — диабаз. Землекопы тоже. Говорят: участок — сплошной камень. На два метра киркой и ломом работаешь.

Утром уже, после чая, собирает Варя дочь в школу, а та все свое:

— Прямо не знаем, что и делать. Наметили зону затопления, начали людей отселять, дома переносить. А там старуха одна — ворожея. Никак уходить не хочет. Ей говорят: вода наступает. А она: я знаю, говорит, вода не пойдет сюда. Вокруг дома́ без крыш, печи и трубы без стен, а она ни в какую.

Однажды Варя вошла в квартиру, еще в прихожей слышит Пашечкин голос:

— Алло! Алло! Медвежья Гора? Управление? Говорит Водораздел. По трассе идут кубатурные работы, грунт выбирают. Скоро будем класть бетон, ставить ряжи.

А как вошла в комнату, Пашечка жалуется:

— Беда с этими попами. Прямо не знаем, что делать. Бригада у них, человек сорок. Все уже в возрасте. Поставили их было дамбу насыпать. Работа простая. Надо только, чтобы внутрь не попал мох или дерево, то, что гниет и сыреет. Потом причесать граблями и поливать для уплотнения. Так они справиться не могут. Тогда кинули их на работу с плавунном. А плавун — надо сказать, коварная вещь. Зимой он замерзает, как камень, а летом течет. Надо свай забивать, чтобы держать его. Так попы и здесь приписками занимаются. Сводки липовые дают.

Другой раз приходит Варя домой, комнату узнать не может. В углу самодельный флаг из красной тряпки. На стене лозунг от руки: «Природу научим — свободу получим». Над ним звезда красная из бумаги.

— Сегодня здесь барак, — говорит Пашечка. — Это вот железная печка. Возле нее валенки сушат и портянки.

Потом подводит Варю к столу и дощечки какие-то показывает, на которых краской нарисованы буквы.

— Это вот разрезная азбука. Здесь же почти все неграмотные. Букварей не хватает. А это глобус. Его Чиркин, плотник, своими руками сделал и разрисовал.

Тут же на столе разбросаны вещи — молоток, гвозди, клей в баночках, куски кожи.

— А это старичок один, Петяев, дневальный в бараке. Он чемоданы фанерные делает...

После этого Пашечка вдруг забирается на стул и принимается декламировать:

— Мы канал построим в срок,
Образцово, крепко, впрок,
Хорошо и начисто,
Чтобы было качество.

Варя тут стала хлопать в ладоши, а Пашечка слезла со стула и говорит:

— Это мой прадедущка сочинил, Петр Спиридонович...

Варя только головой качает. А Пашечка бежит на кухню и выносит тарелку с пирожками. Варя так глаза и вытаращила.

— Прасковья! Откуда у тебя пирожки?

— А это не всем, — отвечает Пашечка. — Только тем, у кого повышение нормы. Остальным просто хлеб. И тоже по списку, у кого какая выработка. Кому — полтора килограмма, кому — восемьсот грамм. Ударникам еще иногда колбасу краковскую выдают, под расписку.

А дальше произошло и вовсе невероятное, Варя совсем была сбита с толку. Подходит Пашечка к радиоприемнику, включает его, и вдруг Варя слышит:

— Говорит радиоузел лагпункта! Бригада Авдонкина дала двести десять процентов! Это рекорд, товарищи! Ура!

И сразу же заиграла гармошка. Варя так ничего и не могла понять. Целую неделю она крепилась, а в пятницу нарочно отпросилась с дежурства и явилась домой днем, раньше обычного. «Вот теперь-то я ее накрою, — думала она. — Теперь-то все и выяснится». Она неслышно открыла дверь, вошла в квартиру да так и остолбенела. Комната была полна народу. Какие-то незнакомые, странные люди — телогрейки, бушлаты, сапоги.

— Мама! — кинулась к ней Пашечка. — Как хорошо, что ты пришла! Сегодня у нас слет ударников!

Оглядывается Варя, ничего понять не может. В углу стол под красной скатертью, над ним самодельный плакат: «Привет первому слету ударников!» Возле стола люди какие-то, три человека, с музыкальными инструментами — гитара, балалайка, мандолина. Как Варя вошла, они сразу играть начали — «Интернационал». За их спинами стенгазета, крупными буквами заголовок: «Позор лодырям и симулянтам!» Под заголовком всякие смешные карикатуры.

Тут к столу стали выходить разные люди и выступать. Какой-то длинный, в очках, все размахивал руками:

— Что же это такое, товарищи? В бригаде Лошкмоева раздали десять комплектов одежды — телогрейки, брюки, шапки, сапоги. К утру ничего нет — все проиграли в карты!

— А десятник Жученко? — кричит другой, лохматый. — Спекулирует хлебом и махоркой! Повар Недыхляев пускает на сторону обеда! Теперь Мошев, вольнонаемный! Продает свой паек, а довольствуется с лагерниками!

Не успел лохматый кончить, бородач какой-то рвется к столу.

— Вы возьмите бригаду Сайкина! Это же сплошные лодыри! Десятник Филев тут как-то заснул у них на трассе возле костра. А как проснулся, они сдали ему участок соседней бригады. Тот со сна не разобрался, принял. Записал невыполнение. Все довольны — отметить надо. Достали спиртное. Потом конфет захотелось. Высадили решетку в ларьке, взяли мармелад. Всю ночь пили, гуляли, песни горланили. Пришлось вызывать охрану, чтобы утихомирить.

Выступали другие еще. Говорили про лошадей, что чесотка у них, большой падеж. Подковы присылают негодные, лошади хромают. Тут Пашенька Варю за рукав тянет:

— Идем, я тебя с дедушкой познакомлю.

Вышли они на кухню, там человек какой-то сидит, совсем молоденький, мальчик по виду.

— Это и есть дедушка Алеша? — спрашивает Варя.

Потом, когда пили чай, Алеша рассказывал:

— Я ведь фактически сиротой рос. Мама умерла, когда я родился: родовая горячка. Отца я тоже не знал. Сначала мне говорили, что он на войне. Потом уже я узнал правду. Он так маму любил, что не мог ребенка видеть, который ее убил. Вот и ушел, оставил меня у хороших знакомых своих, у Бобровых. Они меня и воспитали. Я как вырос, все про отца спрашивал — какой он из себя. А потом от Боброва узнал — арестован он. Вредителем оказался.

— Что же он такое натворил? — спрашивает Варя.

— Вот и я спрашиваю у Боброва: за что? А он мне: да как же, помилуйте! Один брат в белой армии, другой и вовсе — поп, эмигрант. Как же не вредитель? Статья пятьдесят восьмая, десять лет. Бобров сказал: на Беломорстрое он.

— Я же тебе говорила, — толкает Пашечка Варю. — Канал он строил.

— Ну я решил туда ехать, в Карелию, — продолжает Алеша. — Мне тогда четырнадцать лет было. Бобровы меня отговаривали: тебя там тоже арестуют как сына вредителя. А я поехал. Как же отца бросить?

— Видишь, какой он! — шепчет Пашечка.

— Приехал к самому Белому морю. Есть там поселок Сорока. Деревянная мостовая, козы ходят. Курить нельзя. Чтобы закурить, надо идти на окраину, где бочки с водой стоят. Вот иду по доскам, вижу — из ворот негритенок выглядывает.

— Вот тебе раз! — недоверчиво хмыкает Варя. — Откуда же там негритенок?

— Я даже не поверил сразу. Потом уже мне сказали, что это от гражданской войны осталось, от интервентов. Англичане здесь были. За городом там и впрямь — канавы, колючая проволока ржавая. Бывшие окопы англичан.

— Вот видишь, мама, все очень просто, — говорит Пашечка.

— Ну, я спрашиваю негритенка: где здесь комнату можно снять? — продолжает Алеша. — А он смотрит на меня и молчит. Тут женщина какая-то из дома выходит, верно, мамаша его. Говорит: здесь не пустят, нельзя. Езжай в Шижню, это километров шесть. Там можно устроиться. Поташился я в это самое село Шижня. Улиц там вовсе нет. Избы лепятся друг к дружке — не пройти. Церковка деревянная, на погосте — кресты с кровельками. Пустил меня к себе один старик древний, все хвастал, что ему сто восемнадцать лет. Только из старого он ничего не помнит. «Что за название такое, спрашиваю, Шижня?» А он мне: от слова «шиж». Так раньше на Руси бунтовщиков называли, смутьянов. Вот и ссылали их сюда, на край земли, от глаз подальше. Стал я жить у старика. А внизу у реки что ни день — взрывы, скалы взрывают. Грохот, камни во все стороны, прямо на крыши падают. Старик мой только крестится. Там на реке я и отца разыскал, он подрывником был. Ему за хорошую работу льготы дали — разрешили свидания. Мы с ним часто виделись, разговаривали. Он все каялся, что бросил меня. Прощения просил...

— Все равно он хороший, — говорит Пашечка. — Мой прадедушка Петр Спиридонович...

— Конечно, хороший, — соглашается Варя. — А то что сына оставил, так его тоже понять можно. Сейчас вон сколько детей брошенных. Мать с отцом пьяницы, квартиру продают за ящик водки, а детей на улице.

— Я когда у старика в избе жил, — говорит Алеша, — ко мне по ночам уродец какой-то являлся. Коротышка, уши оттопырены, нос крючком, зубы вперед торчат. Стоит у кровати и шепчет: «Откажись от отца! Отрекись!» Я сначала боялся его, а потом ничего, привык. Как же, думаю, от отца отказаться?

Алеша как рассказал про уродца, Варя сразу рисунки Пашечки вспомнила. Там тоже был такой, вроде клоуна. Они еще долго на кухне сидели, разговаривали. А потом, когда Варя в комнату вернулась, там уже никого не было. Она было решила, что все это ей привиделось — наваждение, мол, дурман. Но тут увидела стол под красной скатертью, лозунг на стене, стенгазету. «Что же это такое?» — думает.

Не успела она от этой игры отойти, как уже новая. Возвращается она домой, входит в комнату, перед ней картина: Алеша лежит на полу, а Пашечка ного ему перевязывает. Варя не на шутку перепугалась:

— Что случилось?

— Да вот с дедушкой беда, — отвечает Пашечка. — Сегодня мы в тачечников играли. Грунт возили из котлована наверх. Там такие трапы положены, катальные доски, чтобы по ним возить. А дождик моросит, доски скользкие. Тачка на повороте и соскочила с трапа, опрокинулась. Дедушка так и полетел, ногу вот о камни разордал.

Тут входит какая-то девушка в белом халате. Осмотрела ногу и говорит:

— В амбулаторию надо.

Они вместе с Пашечкой помогли Алеше подняться и повели на кухню.

— Здесь у нас амбулатория, — говорит Пашечка.

У окна на табуретках лагерники сидят, приема ожидают. Один из них, в полосатом халате и тубетейке, стоит перед фельдшером, объясняет ему что-то, в грудь себя бьет. Фельдшер только головой кивает. Варя спрашивает у Пашечки:

— Неужто доктор понимает его?

Фельдшер услышал, повернул к ней голову:

— Какой там! Несознательный народ! Объясняться на понятном языке не умеют. Определяем недуг по внешней комплекции.

Другой лагерник в очереди хмыкает:

— У них одна болезнь, известная — «Ибрагим, работать не можем».

— Разве это народ? — поддакивает его сосед. — Не умываются неделями. От запаха щей бегают, говорят — свиной пахнет. Валенки носят не умеют. У меня вот болезнь понятная — «грызь». А у него что? Знай, Коран свой читают.

Варя пошла в прихожую пальто снять, в коридоре какой-то человек за руку ее хватает:

— Как мне быть, скажите? Я инженер, мне шестьдесят лет. У меня хронический бронхит. Мне перед сном горчичник на грудь нужен. На обед стакан теплого молока. Сырость для меня смертельна. А у меня пять лет. Что делать?

У Вари теперь жизнь веселая пошла. Как ей домой с дежурства ехать, она все гадает: что ее сегодня ждет? И вот как-то в один из дней возвращается она — в квартире дым, гарь. Пашечка из комнаты выходит чумазая вся, на шее провода какие-то болтаются, в руках флажок красный.

— Погоди, мама! — кричит она. — Туда нельзя! Там взрывные работы. Несчастье у нас! Алешино го отца убило, моего прадедушку. Камнем придавило.

Тут какой-то стриженный, в бушлате, из комнаты выскакивает.

— Как дело-то было? Ведь все шло как положено. Бурильщики готовили в скале скважины. После них запальщики. Закладывали аммонал, прилаживали шнуры запальные.

Он снимает с шеи Пашечки шнур и показывает Варе.

— Вот такие вот шнуры. На концах капсулы с гремучей ртутью. А наверху, на горе, сигнальщики уже всю флажками командуют.

Пашечка что есть мочи стала махать флажком.

— Петр Спиридонович-то — запальщик, — продолжает стриженный. — Бегают он, шнуры запальные поджигает. И тут вдруг взрыв! Один, другой, третий! Что такое? В чем дело? Почему раньше времени? Кругом крики, все бегут. А как стихло, стали людей окликать.

— Слепнёв и Кикин живы? — кричит Пашечка. — Кого нет?

— Кольки Седого!

— Здесь я, Колька!

— Значит, все целы? А где Петров? Петр Спиридонович где?

— И тут мы видим, — заканчивает стриженный, — лежит Петр Спиридонович, руки в стороны, весь камнем измят.

Из комнаты сестра в белом халате выходит, которую Варя уже видела.

— Его когда к нам принесли, еще живой был. Сына его жалко, Алешу... Такой мальчик... Всю ночь возле него сидел, не отходил от кровати. Отец все прощения у него просил. Сам еле губами шевелит, а шепчет: прости меня... Говорил, это радость, что сын здесь. Хоронить будет... Хоть одна родная душа...

— А похороны какие были! — опять вмешивается стриженный. — Оркестр, музыка! Впереди запальщики. В руках палки с горящими шнурами. Как факелы! Когда гроб в землю опускали, зажгли скважины, сорок штук. Такой взрыв грохнул!

Неделя после этого, наверное, прошла, едет Варя домой с ночного дежурства; только бы, думает, до постели добраться. Входит в квартиру, а там гости. Какие-то три женщины вокруг стола сидят, перед ними гора белых рубашек.

— Что же это такое? — чуть не плачет Варя.

— Ты не волнуйся, — успокаивает ее Пашечка. — Это у нас гнидобойня.

— Господи, это еще что?

— Ну прачечная, стирка белья. Ведь здесь как? Сначала идет дезинфекция белья, потом стирка и сушка, а под конец гнидобойня и гладилка. Вот видишь, у каждой женщины в руках осколок стекла. Они этим осколком швы в рубашках чистят. Между прочим, бывшие монашки. Теперь вот с вошью воюют.

Тут из коридора еще какая-то женщина идет — рыжая, в малиновом платке, за ней Алеша.

— Вот, — говорит рыжая, — жених к Татке явился! Садись, жди здесь! В амбулатории она, сейчас будет.

Одна из монашек затянула тоненьким голоском, слов, правда, нельзя разобрать толком:

— «Родителей бо глас... Возлюбленного Сына именуя...»

Другая к ней присоединилась, тоже запела, а третья говорит будто сама себе:

— Матери-то Евлампии за хорошую работу юбку подарили и гимнастерку. Так она теперь не снимает этот наряд. Срам-то какой!

Соседка перестала петь и говорит:

— Одна-то вот тоже так, забыла про Бога. А он все терпел. Только потом во сне старичок ей какой-то светлый является. Взял крест золоченый у ее постели и заменил его простым, из черного дерева. Да на окошке горшки цветочные переставил, два их только осталось. Она через два дня и померла...

— Помолимся за матушку, сестры...

Рыжая в платке хмыкает:

— Нужны ей ваши молитвы!

— Не скажи,— замечает одна из монашек.— У нас вот случай был. У вдовы одной сын крепко пил, пьяница, одним словом. Уходит из дома и пьет неизвестно где. Потом находят его на краю оврага. Это ему казалось, что он пирует там с приятелями. Ну решили отслужить молебен с водоосвящением в том гиблом месте, на краю оврага. Пропели Животворящему Кресту, потом иконе Казанской Божией Матери, Ангелу Хранителю, пророку Божию Илие, великомученику Димитрию Солунскому. И вроде отошел сын от пьянства, не ходил больше к оврагу...

А рыжая не слушает ее. Достает из-за пазухи самодельные карты и подсаживается к Алеше.

— Давай я тебе погадаю...

Стала она карты раскладывать, а Пашечка Варю в бок толкает:

— Это не вредительница, ты не думай. Это по другой статье...

Рыжая кивает:

— Точно, я по тридцать пятой. Родители мои умерли от дымного угара, мне шесть лет было. Росла в сиротстве. Помню, хозяйка говорит мне: нанеси воды, дам варенья. Я воды натаскала, а она гонит меня — нет тебе варенья. А потом на базаре двое подходят, мужчина с женщиной. Иди, говорят, к нам, за ребенком посмотреть. Я пошла. Только ребенка никакого нет. Где же ребенок? — спрашиваю. А вот, говорят, бабушка из Киева привезет. А как-то ночью проснулась, гляжу — на столе деньги, карты, вино. Ну утром хозяйка призналась: воруют они. Я с ними воровать стала. Не боялась. Знала, если что — меня не в тюрьму отправят, а в приют. Так оно и вышло, забрали меня в приют. Девчонки там рубашки строчат, мальчишки иконки из фольги делают и фитильки для лампад. Руки все в цыпках. Потом, когда снова попалась, исправдом был, Соловки, теперь вот здесь...

— Вот за свои дела ты и здесь,— отзывается монашка.— В Писании сказано: возлюбила неправду больше правды, зло больше добра. За то Бог и сокрушит тебя вконец, исторгнет из жилища твоего и корень твой из земли живой...

Рыжая только рукой машет:

— А ты-то здесь за что? За какую правду?

Тут она кончила раскладывать карты и хохочет:

— Выпала тебе дама бубновая!.. А бубновая Татка и есть. Жениться тебе на Татке — вот что.

А в комнату уже Тата входит, медсестра. Увидела Алешу и к нему:

— Представляешь? Мама моя ехала сюда ко мне. В дороге ей плохо стало. Приезжает — сыпной тиф, сыпняк. Ее сразу в изолятор. Все свидания прервали.

Варя с ног валилась после дежурства. Пошла на кухню выпить чаю, а как вернулась, в комнате никого не было.

Летом Варя увезла Пашечку на дачу к знакомым. На даче все эти странные гости перестали являться. Варя радовалась, думала: все уже позади.

Только без гостей Пашечка стала вдруг тосковать, заболела даже. У нее сделались жар, лихорадка. Варя увезла ее домой. Лежит она дома в постели, бредит:

— Мама! Весна скоро! Вода может плотину прорвать! Скажи им, чтоб засыпали мешки землей и кидали в реку!

Участковый врач, которого вызвала Варя, выписал какие-то порошки и сказал:

— Обычная простуда...

Вечером соседка Муся с первого этажа забежала.

— Да разве врачи могут что? Тебе бабка нужна, знахарка. Есть у меня таякая, баба Сата. Завтра приведу. Ты только конфет ей купи. Любит она сладкое.

Варя не возражала — знахарка так знахарка. Конфет купила шоколадных. И вот на другой день является Муся, с ней старушка в платке — баба Сата. Попили они чаю с конфетами, и баба Сата пошла Пашечку смотреть.

— Это наваждение дьявольское,— говорит.— Черт порчу наслал. Выгнать надо.

Достала она из сумки какую-то сухую ветку, стала махать ею над Пашечкой и приговаривать:

— Осина, осина, возьми ее трясину, дай ей леготу...

Потом принялась бормотать и вовсе какие-то непонятные слова:

— Трясея... Огневея... Ломея... Все двенадцать дочерей Иродовых! Прочь, жены бесовские рода нечистого! Заклинаю, сатана! Прочь в тартарары!

Перед уходом они снова пили чай с конфетами, Варя бабе Сате с собой еще дала кулечек.

— Вот уж точно,— сказала баба Сата на прощание.— Богу молись, а черта не гневи...

Пашечка в эту ночь спала спокойно, все вроде бы сошло хорошо. Только в квартире после бабы Саты пошло какое-то беспокойство. Варе все стало казаться, что в ванной комнате кто-то шевелится, вздыхает, кричит, будто сидит там кто. Заглянула Варя туда раз — нет никого, другой раз — тоже пусто. «Уж не черт ли? — думает она.— Без нечисти лукавой здесь никак не обошлось».

Переживаний и волнений у Вари, конечно, выше головы, а тут еще на работе всякое. Приходит она как-то на дежурство, а в отделении новенький, в особой палате лежит. Палата эта обычно пустая, туда просто так не кладут, только за большие деньги. Сменщица ушла, ничего Варе не сказала. Варя заглянула в палату, больной лежит, глаза закрыты, потный весь. Вытерла его Варя, грелку холодную на голову положила, а он успокоиться не может, бредит:

— Ни копейки валюты! Канал поручен ОГПУ! Будем строить силами, которые идут с этапа!

В обед заглядывает Варя: больной глаза открыл. Смотрит на Варю, спрашивает:

— Что происходит? По бумагам канал выбран до проектной глубины! На деле же он мельче! На тридцать шесть сантиметров!

Успокоила его Варя как могла, таблетку дала. К вечеру больному стало легче, так Варе показалось.

— Я ведь давно уже должен был помереть,— говорит он.— Сначала в двадцать четвертом, потом в тридцать седьмом. Расстрела ждал! А вот живу!

«Нет, все равно бредит»,— решила Варя и вышла в коридор. А сбоку так, за левым плечом, стоит кто-то. Видом — вылитый клоун. Коротышка, уши оттопырены, нос крючком, зубы вперед торчат. «Кто бы это мог быть? — думает Варя.— У нас в отделении вроде такой образины нет. Может, санитар новенький?» А коротышка вдруг закашлялся, закричал. Варе показалось, где-то она уже слышала это кряхтение.

— Неблагодарная работа, ох неблагодарная...

Голос у него тоненький, писклявый. Потом вдруг спрашивает:

— У тебя выпить есть? Может, спиртик? Мне бы чуть-чуть...

Варя подумала, подумала и повела его к себе в комнату.

— Это вы, что ли, у меня дома в ванной кряхтели? — спрашивает.

— А то кто же? Знахарка твоя страху напустила. Вот хозяин и погнал меня к тебе. Выяснить, что и как... Ох неблагодарная работа, неблагодарная!..

Налила Варя ему немного спирта в мензурку, гость выпил, еще больше кряхтит, отдувается.

— Ты хоть знаешь, кто у тебя в отдельной палате лежит? — спрашивает.

— Да уж, верно, не из простых, — отвечает Варя. — Сразу видно — из новых. Теперешний хозяин жизни.

— Так и есть. Коммерсант Нафталий...

— И кто же он такой, этот коммерсант?

— Это долгий рассказ...

Гость откинулся на стуле, заложил ногу за ногу и начал рассказывать:

— Мы его давно ведем! Наш человек! Еще при царе заметили, в Одессе! Хозяину так и доложили: есть, мол, в Одессе подходящий человек. В экспортной фирме работает. Валюта, контрабанда, подделка документов. Связан с воровской Молдаванкой, с бандой Мишки Япончика. Хозяин и посылает меня к нему. Вот с тех пор стал Нафталий под нашим покровительством. После революции контрабанда особенно хорошо пошла. Новая экономическая политика. У Нафталия все было куплено — таможня, угрозыск, суд, ГПУ. В Кремле свои люди для прикрытия. И вот пошли в Москву на Лубянку доносы. Мол, в Одессе творится черт знает что, не разберешь, где чекист, где налетчик. Дзержинский тогда направляет в Одессу своих людей. Я, разумеется, среди них — член коллегии ОГПУ Дерibas. Да, да, потомок того самого знаменитого одесского де Рибаса. Вице-адмирала, основателя города. Друга князя Потемкина.

Пошли аресты. Нафталия тоже взяли, это двадцать четвертый год. Смертный приговор. Только мы-то с хозяином берегли его. В последний момент в подвале Нафталию объявляют, что смертная казнь заменяется десятью годами каторги на Соловках. Там-то, на Соловках, мой хозяин и вложил в его голову дьявольскую мысль — использовать труд каторжников. Лагерь нового типа. В самом деле, двадцать тысяч каторжников без всякой пользы. А если они будут рубить лес, строить дома, прокладывать рельсы? Ведь какая выгода! Раньше не знали, что делать с каторжниками. Теперь их стало не хватать! На Лубянку запрос за запросом — срочно шлите новые партии, как можно больше! Через три года Нафталия досрочно освободили, мы с хозяином позаботились. А потом — Беломорстрой. Начальник работ, орденосец.

— Вот оно что, — говорит Варя. — То-то он в бреду: все канал да канал...

— Наших там много было, — говорит Дерibas. — Начальник лагеря, к примеру, Лазарь К., — тоже под нашим покровительством. При царе из тюрем не вылезал: Елисаветград, Херсон. Я и то извелся весь, на него глядя. Кандалы на руках и ногах. Дадут тряпку — протирай пол. А пол асфальтовый, его с керосином мить надо. Чуть что не так — бьют до полусмерти. Когда я хозяину о нем доложил, он как мертвый был. Смердело от него нестерпимо. А хозяин сказал: «Разбудите его!» И потом: «Лазарь! Встань! Иди вон!» И тут — Февральская революция, тюрьмы разбиты, заключенные на свободе. Потом другая революция, и вот Лазарь К. — начальник Беломорстроя. Ходит — пальто новенькое, белые валенки, подбитые кожей. Все чекисты в шинелях, а он в пальто.

— А что же с вашим Нафталием? — спрашивает Варя.

— В тридцать седьмом его снова арестовали, и опять мой хозяин вмешался. Нафталий освобожден по личному распоряжению Берии. Почетный пенсионер. Официально скончался в 1960 году, но мы-то с хозяином знаем, что это не так. Жив он. Сейчас самое его время. Только теперь размах другой. Раньше он кто был? Контрабандист, спекулянт, жулик. А теперь уважаемый человек, бизнесмен. У него фирма, счет в Английском банке.

— Сколько же ему лет? — недоверчиво так спрашивает Варя.

— За сотню перевалило. Мы его так и зовем — Вечный Нафталий...

Пока Дерibas рассказывал, за окном светать стало. Варя голову повернула на часы поглядеть, а гостя уже нет, исчез. После дежурства пошла Варя взглянуть, как там Нафталий. Тот увидел ее, губы кривит.

— Вот надорвался, — говорит. — Не рассчитал силы...

— Оно конечно, — вздыхает Варя. — Заботы, заботы...

— И так всю жизнь. Ничего не поделаешь — коммерция. Я ведь всегда коммерцией занимался. Как раньше, так и теперь. Закупаю товары за границей, здесь продаю. Да вот, видно, возраст не тот. Поизносился.

А когда через сутки Варя снова пришла на дежурство, Нафталия в больнице уже не было.

— Увезли его, — сказала сменщица. — В Швейцарию, на самолете. Там какая-то клиника частная.

А вечером в тот же день дома новое явление. Вернулась Варя, а у постели Пашечки женщина какая-то сидит. Пригляделась Варя — вроде знакомое лицо. Потом вспомнила — та самая санитарка Тата из лагерной амбулатории.

— Вот Тата меня навестить пришла, — говорит Пашечка. — Ты не думай, мама, она не вредительница.

— Нет, нет! — мотает головой Тата. — Меня вместе с отцом забрали. Папа — студент консерватории. По вечерам у нас в доме всегда музыканты, ансамбли устраивали — трио, квартеты. Вот в двадцать девятом всех и арестовали — подзрительные сборища. А у меня в сумке при обыске нашли портрет Ленина из книги. Я ему уши оттопыренные пририсовала, нос крючком и зубы длинные. Меня вместе с папой и забрали. Соловки, Беломорстрой. В Соловках папа еще держался, а на канале умер.

Тата теперь стала бывать у них часто, почти каждый день. И странное дело — Пашечке со дня на день становилось все лучше и лучше. Лежит она, а Тата ей рассказывает:

— За мной тут один инженер ухаживает. Из конструкторского бюро. Бакастов Федор Федорович. Уж такой человек! Тоже заключенный. Ему разрешили на частной квартире жить, не в бараке. Он меня каждый день зовет в гости, чаем угощает. Сидим мы с ним за столом, он мне свой сон рассказывает. Будто освободили его и едет он на юг, в Ташкент. Смотрит в окно вагона, а там снег, сосны, валуны, костры жгут. Меж сосен белье на морозе сушится. Наутро вызывают его в управление. Говорят: заключение ему заменяется высылкой в Среднюю Азию. А он тут же заявление — просит оставить на Беломорстрое. Говорит, что из-за меня.

— Ты за него замуж пойдешь? — спрашивает Пашечка.

— Не знаю, — отвечает Тата.

Другой раз приносит Тата в сумке соленую рыбу, целый пакет.

— Это меня Алеша угостил. Когда на речке Выг плотину поставили, там на камнях рыбы видимо-невидимо осталось. Местные жители корзинами таскали ее домой. Алеша со своим стариком хозяином целую бочку семги насолили.

Поели они рыбы, Тата и говорит:

— Я бы за Алешу замуж пошла. Но я на семь лет старше его. Не знаю, как быть...

И вот несколько дней всего, наверное, прошло, приходит Варя домой, ничего не подозревает и слышит — в комнате гул голосов. Входит она — посреди стол накрытый, народу полно. Среди гостей Пашечка, веселая такая, нарядная, в новом платье. Варя только удивляется: ни следа болезни, совсем выздоровела.

— Ты только погляди, мамочка! Это же свадьба! Весело как!

— Какая еще свадьба? — оглядывается Варя как потерянная.

— Дедушка мой женится. На моей бабушке. Они же на канале полюбили друг друга.

Тут Алеша Тату за руку подводит.

— Вот, освободилась Тата, — говорит он. — Дождался я ее. Жаль, отец мой не дождал, Петр Спиридонович...

Варю усадили за стол рядом с женихом и невестой. Тата все к ней оборачивается:

— Праздник у нас сегодня — канал пустили. Везде украшения, звезды свечащиеся. На откосах клумбы, елочные гирлянды. Ждут первый пароход. На пароходе начальство.

Тут за столом стали кричать: «Горько!» А Алеша, как они с невестой поцеловались, стал стихи читать:

Хороша лесов прохлада,
Трав душистых мягок пух,
Но ударная бригада
Бережет ударный дух.

— Это мой отец сочинил! — кричит он. — Эх, жаль, что не дождал, не видит! Потом кто-то заиграл на гармошке, стали петь частушки:

Где я завтра запою,
Не хочу загадывать.
Славим мы ОГПУ,
Нам канал прокладывать.

Какой-то лысый все показывал Варе свой портрет:

— Это меня как ударника нарисовали. Там было так принято — ударникам портреты дарить. Ведь похож!

Варя сидит за столом, а перед ней, как в театре, какие-то странные лица. Вот сосед, почему-то в фуражке за столом, нагибается к ней:

— Я на канале воспитателем был. А до этого — вор, «скокарь», по квартирам ходил. Первый раз меня еще при царе взяли. В тюрьме устроился в аптеку, лекарства по камерам разносил. Там и познакомился со своей будущей женой. Она тоже за воровство сидела, только она — «городушница», по магазинам работала. А как нас выпустили — война. Я, конечно, скрывался от службы, жена у меня молодая. Ходил в солдатской шинели. А как-то зазевался, честь фельдфебелю не отдал. Тот по морде меня, скандал. Меня снова забрали. Восемь лет каторги. И вдруг Февральская революция, всех выпускают. Потом, уже при большевиках, новый арест, и вот я на канале.

Он налил себе рюмку и поднялся.

— Я что хочу сказать? У меня дети — мальчик и девочка. Комсомольцы, учатся в вузах. Они отреклись от своего отца, презирают его. А Алеша не отказался от своего! Приезжал к нему, заботился! За тебя, Алеша!

Не успели выпить, еще один поднимается, в рубашке с застегнутым наглухо воротом.

— А я на канал по-другому попал. Меня в тридцатом, весной, раскулачили, лошадь отняли. Я к сестре перебрался, в том же селе. Спал в сених. Славил Бога. Кланялся в ноги всем, кто входил, — соседу, курице, собаке. А осенью взял и поджег народный дом. Судили меня. Расстрел заменили десятью годами лагерей. На канале я работать отказывался. Все время в роте усиленного режима. Паек урезанный, льгот никаких. Только я все равно на работу не ходил.

— Нашел чем хвастать! — шепчет Варин сосед-воспитатель. — На отказчике, известно, вошь всегда злее...

— Читал молитвы, псалмы пел, славил царя Давида, — продолжал в рубашке. — А Тата, которая теперь невеста, учила меня грамоте. И других тоже учила, которые по тридцать пятой статье, больше ста человек. Дай ей, Господь, здоровья и долгих лет жизни! За тебя, Тата!

Следующим поднялся человек в форме.

— Я стрелок из охраны, — говорит он. — Но тоже из заключенных. Прапорщик военного времени. В Красную Армию пошел добровольцем. Потом сорвал-

ся, глупость — растратил казенные деньги. Когда сюда привезли, думал — не выдержу, пропаду. Работал подрывником у Петра Спиридоновича. Вдруг вызывают к начальству. Дают винтовку, форму. Петлицы только серые. Сказали, будет красноармейский паек, махорка. И пошел я стоять на вышке. А то бы сломался. И все твой отец, Алеша! Петр Спиридонович! Видит — человек погибается. Похлопотал! За твоего отца!

А к Варе подвигается все тот же лысый со своим портретом.

— Я ведь кто? Я ведь бывший трактирщик. Меня ни одна бригада к себе не брала. А Петр Спиридонович взял. Говорит: при случае из любого стакана можно чай пить. И что же вы думаете? Я понял: выполни процент — и все получишь. Пропуск в ларек, билет в кино, свидание с родными. За большой процент дни считаются: три за пять.

И опять за столом все чокаются, кричат: «Горько!» Шум, гвалт, веселье.

— А какой канал отгрохали? Ведь одним топором, без единого винтика!

Варя сидит за столом, и все ей кажется — то в одном углу, то в другом мелькают оттопыренные уши уполномоченного Дерибаса.

Потом уже, когда под утро все разошлись, у нее в ушах еще долго стояли крики: «Горько! Горько!» Только надо сказать, что с того самого дня все эти удивительные гости пропали, как в воду канули, так что Варя теперь и сама уже толком не знала — во что это они с Пашечкой играли, в какие игры...



Борис ХАЗАНОВ

Вейнингер и его двойник

«Об одном хочу тебя попросить: не старайся слишком много узнать обо мне».

Инцидент

Полиция обнаружила в доме № 5 на улице Черных испанцев, в комнате, где умер Бетховен, прилично одетого молодого человека с огнестрельной раной в области сердца. Он скончался на пути в больницу. Самоубийцей оказался доктор философии Венского университета Отто Вейнингер, евангелического вероисповедания, двадцати трех с половиной лет. Вейнингер жил с родителями, респектабельной четой среднего достатка, с сестрами и братом. Он оставил два завещания. Одно из них было написано в феврале 1903 года, за восемь месяцев до смерти, другое — в августе, на вилле Сан-Джованни в Калабрии. В завещаниях содержались распоряжения об урегулировании мелких денежных дел; друзьям Артуру Герберу и Морицу Раппапорту он оставил на память маленькую домашнюю библиотеку и две сабли. Кроме того, просил разослать некоторым известным людям — Кнуту Гамсуну, Якобу Вассерману, Максиму Горькому — экземпляры своего трактата «Пол и характер». В бумагах умершего нашлась загадочная запись, сделанная перед смертью: «Я убиваю себя, чтобы не убить другого».

Кем он был

Жизнеописание Отто Вейнингера можно уместить на одной страничке: родился в Вене в апреле 1880 года, проявил раннюю умственную зрелость, необычную даже для еврейского подростка. В университете изучал естественные науки, затем переключился на философию и психологию, слушал курсы математики, физики, медицины. В двадцать лет это был эрудит, прочитавший всё на свете, серьезно интересующийся музыкой, владеющий древними и новыми языками. О своих способностях он был высокого мнения и однажды записал: «Мне кажется, мои духовные силы таковы, что я мог бы в известном смысле решить все проблемы». Оставалось свести все знания и прозрения в единую всеобъясняющую систему, решить загадку мира и человека. Что он и сделал.

По совету профессора Йодля, своего университетского руководителя (который, правда, советовал убрать «некоторые экстравагантные и шокирующие пассажи», а в частном письме признавался, что автор при всей своей гениальности антипатичен ему как личность), Вейнингер углубил и расширил свою докторскую диссертацию. Шестистраничный труд под названием «Пол и характер. Принципиальное исследование», с предисловием автора и обширными комментариями, был выпущен издательством Браумюллер в Вене и Лейпциге весной 1903 года.

В день защиты диссертации Вейнингер принял крещение. Переход евреев в христианство был довольно обычным делом в католической Австрии, но Вейнингер крестился по лютеранскому обряду, что, во всяком случае, говорит о том, что он сделал это не ради карьеры, выгодной женитьбы и т. п. Летом 1903 года он совершил поездку в Италию, в конце сентября вернулся в Вену и, проведя пять дней у родителей, снял на одну ночь комнату в доме Бетховена. На рассвете он застрелился.

Человек. Его привычки

Две сохранившиеся фотографии Вейнингера — два разных человека, хотя их разделяет всего несколько лет. Зная о том, что случилось с Вейнингером, легко поддаться искушению прочесть в этих портретах его судьбу. Смерть в ранней молодости бросает некую тень на прижизненные изображения, смерть вообще меняет фотографии человека, об этом знала Анна Ахматова.

Первый снимок: где-то в парке на скамье сидит юноша, почти подросток, темноглазый и темноволосый, с большими ушами, в сюртучке, в высоких воротничках и белом галстуке, и смотрит вдаль; немного похож на Кафку.

На другой фотографии (поясной портрет, сделанный в ателье, вероятно, в последний год жизни) Вейнингер выглядит явно старше своих лет, узкоплечий, одет более или менее по моде: белый стоячий воротник с отогнутыми уголками, сюртук, жилет, видна цепочка от часов; широкий галстук повязан несколько криво. Он в очках, некрасивый, как молодой Ницше; короткая стрижка, жидковатые усы. Вейнингер как будто вот-вот усмехнется. Укоряющий взгляд устремлен к невидимому оппоненту, взгляд человека настырного и несчастного.

Сохранились и кое-какие воспоминания. Стефан Цвейг учился в университете в одно время с Вейнингером. «У него всегда был такой вид, как будто он только что сошел с поезда после тридцатичасовой езды: грязный, усталый, помятый; вечно ходил с отрешенным видом, какой-то кривой походкой, точно держался за невидимую стенку, и так же кривились его губы под жидкими усиками...»

Похожее описание внешности покойного друга студенческих лет сделал Артур Гербер, человек ничем не знаменитый. Отто был худ, неловок, небрежно одет, в движениях было что-то судорожное; ходил опустив голову, неожиданно срывался и несся вперед. «Никогда я не видел его смеющимся, улыбался он редко». Вечерами, во время совместных прогулок по тусклым улицам, Вейнингер преображался. «Он как будто становился выше ростом, — пишет Гербер, — увлеченный разговором, фехтовал зонтом или тростью, как будто сражался с призраком, и был в эту минуту похож на персонаж Гофмана».

Круг знакомств юного Вейнингера был, по-видимому, крайне узок. Нет никаких сведений о его взаимоотношениях с женщинами, никаких следов невесты, подруги. Похоже, что он никогда не пережил страстной любви. Если же и случалось что-нибудь подобное, то это были, надо думать, одни неудачи.

Его фантазии

После первой мировой войны Артур Гербер опубликовал заметки и письма Вейнингера; книжка, ставшая раритетом. Во вступительной статье рассказано несколько мелких эпизодов из жизни Вейнингера. Дождливый днем, поздней осенью 1902 года, друзья едут в трамвае в Герстхоф, весьма отдаленный по тем временам городской район. На Вейнингере зимнее пальто, но он мерзнет: «Я чувствую холод гроба». Входят в комнату, спертый воздух. «Пахнет трупом — тебе не кажется?..» Вейнингеру остается жить меньше года, Гербер пишет о нем спустя два десятилетия, густая тень будущего лежит на его воспоминаниях. Другой рассказ. Приятели шатаются вечером вокруг какой-то церкви, потом Отто провожает друга домой. Потом Артур провожает Отто. Поздно ночью наконец прощаются, на улице ни души. Вейнингер вглядывается в глаза другу — и шепотом:

«Тебе не приходила в голову мысль о двойнике? Вдруг он сейчас появится, а?.. Двойник — это тот, кто все знает о человеке. Даже то, о чем никто не рассказывает». Гербер не знает, что ответить. Вейнингер поворачивается и уходит.

Книга

Надо же, выбрал место: дом, где угас Бетховен. Любил ли он Бетховена? «Истинно великий музыкант, — говорится в книге Вейнингера, в главе “Дарование и гениальность”, — может быть таким же универсалом, как поэт или философ, может на своем языке точно так же измерить весь внутренний мир человека и мир вокруг него; таков гений Бетховена». Все же Вейнингер, вероятно, предпочел бы, если бы мог, свести счеты с жизнью не в родном городе, который он не любил, а в Венеции, во дворце Вендрамин-Калерджи, где скончался Вагнер, «величайший человек после Христа».

Мориц Рапппорт, другой сверстник и друг, привел в порядок его рукописи и опубликовал их (в 1904 году) под общим названием «О последних вещах». Это выра-

жение — «последние вещи» (die letzten Dinge, ultimae res) — отсылает к христианской эсхатологии, учению о конце света, о смерти и воскресении из мертвых. Позднее, как уже сказано, Гербер подготовил к печати немногочисленные письма и расшифровал стенографические заметки из записной книжки Отто. Все это могло привлечь внимание лишь на фоне оглушительной славы, которой удостоились «Пол и характер» сразу после их появления. Вейнингер успел услышать первые трубные звуки этой славы; да он и не сомневался в том, что будет признан великим философом и психологом, первооткрывателем последних тайн человеческой природы.

Книга забыта. Две-три строчки в энциклопедических словарях — вот и все, что осталось от Вейнингера. Книга, написанная сто лет назад, стала нечитаемой, забыта или почти забыта, но невозможно забыть ее автора — «случай», который не раз был предметом социально-психологических и психоаналитических толкований; чем больше его разгадывали, тем он казался загадочней. В короткой жизни Вейнингера самоубийство поставило не точку, а многоточие. Книга Вейнингера заслонена им самим. Утратив — или почти утратив — самостоятельное философское и тем более научное значение, она осталась в равной мере документом его эпохи и его личности, она стала знаком судьбы. Перечитывая книгу, понимаешь, что тот, кто ее написал, не мог не истребить себя.

Почитатели

Сто лет прошло, и наступил новый fin de siècle: невыносимой тяжестью висит у нас на плечах этот ушедший век. Что-то похожее на этот груз, должно быть, ощущали на себе европейцы, провожая девятнадцатое столетие. Не потому ли тынет вспоминать о некоторых современниках той поры, что они, как и мы, смутно чувствовали вместе с концом века близость какого-то другого финала? Можно сказать, что имя Отто Вейнингера переживает ныне род чахлого, осторожного возрождения — скверный симптом. О Вейнингере написан роман, лет десять назад в Вене была поставлена пьеса под названием «Ночь Вейнингера». Мрачная история — и лучше всего было бы сдать окончательно дело Вейнингера в архив. Но не получается.

Два или три десятилетия, прежде чем сочинение Вейнингера перекочевало в библиотечные фонды редко востребуемых книг (а в Советском Союзе — в спецхран), оно успешно конкурировало с самыми модными новинками. За первые десять лет книга, что совсем необычно для ученого труда, была переиздана 12 раз. К началу тридцатых годов она выдержала около тридцати изданий. Книга была переведена на все языки, включая русский (два издания). Это был одновременно и рыночный бестселлер, скандальный до неприличия, и серьезный труд, с которым полемизировали, которым восторгались, чьему влиянию поддались прославленные умы. Под двусмысленным обаянием Вейнингера чуть ли не всю жизнь находился Людвиг Витгенштейн. О Вейнингере уважительно писали Николай Бердяев в книге «Смысл творчества» (что, возможно, следует сопоставить с его позднейшими профашистскими симпатиями) и — чему тоже не приходится удивляться — Василий Розанов («Опавшие листья», короб I). Роберт Музиль испытывал к Вейнингеру отчужденный интерес — как и к психоанализу Фрейда. Автор «Пола и характера» стал чуть ли не главной фигурой в нашумевшей книге Теодора Лессинга «Ненависть евреев к себе» (1930); самый термин *Selbsthaß* был, по-видимому, заимствован у Вейнингера. Мы не будем здесь говорить о попытках оживить интерес к Вейнингеру в нацистской Германии (некий доктор Центграф выпустил в Берлине в 1943 году брошюру «Жид философствует»). Но женоненавистничество Вейнингера вызвало, например, живое и понятное сочувствие у Августа Стриндберга. «Странный, загадочный человек этот Вейнингер! — восклицает Стриндберг. — Уже родился виноватым — как и я...» Великий швед нашел в этом мальчике родственную душу.

Наука и еще что-то

Через два года после появления книги «Пол и характер» Старлинг ввел в биологию человека понятие о гормонах — веществах с мощным физиологическим действием, выделяемых железами внутренней секреции. В 1927 году было показано, что гормоны передней доли гипофиза регулируют деятельность половых желез; в 20-х и 30-х годах химически идентифицированы мужские и женские половые гормоны, ответственные за внешний облик и сексуальное поведение индивидуума. Об этих открытиях здесь стоит упомянуть, так как некоторые идеи Вейнингера их отчасти предвосхитили.

Книга «Пол и характер» («Geschlecht und Charakter») стала библиографической редкостью, и нам придется кратко пересказать ее содержание, или, лучше сказать, ее главные тезисы. Книга состоит из двух частей. Первая, медико-биологическая часть именуется подготовительной и озаглавлена «Сексуальное многообразие». Разница между мужчиной и женщиной не ограничена первичными и вторичными половыми признаками, но простирается на все клетки и ткани организма. Можно говорить о двух биологических началах, мужском (М) и женском (Ж). При этом оба начала существуют в каждом индивидууме; нет ни стопроцентных мужчин, ни абсолютных женщин. Другими словами, у каждого мужчины и каждой женщины имеет место та или иная степень недостаточности определяющего начала; решает дело лишь преобладание М над Ж или наоборот.

В этом смысле каждый человек бисексуален. Тезис Вейнингера согласуется с позднейшими данными эндокринологии: в организме мужчины вырабатываются вместе с мужскими половыми гормонами женские, и, наоборот, в женском организме можно обнаружить присутствие мужских гормонов.

Далее формулируется (и выводится с помощью математических выкладок) «закон полового влечения»: оно тем сильнее, чем полней недостаточный мужской компонент мужчины компенсируется добавлением мужского компонента женщины и недостающий женский компонент у женщины — женским компонентом мужчины. Слабый мужик тянется к сильной бабе, сильного мужчину привлекает слабая женщина. Когда же обе чаши весов, М и Ж, приближаются к равновесию, мы получаем интерсексуальный тип — мужеподобную женщину, женственного мужчину. Промежуточный тип играет заметную роль в некоторых общественных движениях, например, в феминизме — борьбе за женское равноправие, бессмысленное, по мнению Вейнингера. Так намечается новый аспект истории и социологии — биологический. Близким к соотношению 1:1 сочетанием противоположных начал объясняется и гомосексуализм, который, по Вейнингеру, столь же легитимен, «нормален», как и нормальная половая жизнь.

Женщина. Ее рабство

Во второй, главной части — «Сексуальные типы» — биологические начала М и Ж превращаются в характерологические. Два пола — два разных характера. Женская душа все еще окружена ореолом таинственности; все заслуживающее внимания описания женского характера — в научной литературе, в романах — принадлежат мужчинам и далеко не всегда достоверны. По существу, психология женщины не расшифрована. Автор собирается это сделать.

Никакой тайны тут нет: ключ к женской душе, как и к физической природе женщины, лежит в ее сексуальности. Сексуален, разумеется, и мужчина. Но его сексуальность — довесок к его личности. Сексуальность женщины тотальна. Пол призывает все ее существо. «Ж есть не что иное, как сексуальность; М — сексуальность, но и кое-что другое».

Отсюда вытекает принципиальная противоположность мужского и женского сознания. Мужчина способен психологически дистанцироваться от сексуальности, женщина — никогда, ибо она вся — воплощение своего пола. Женщина — это раба самой себя. Женщина лишена дара рефлексии, не в силах подняться над собой, ей незнаком универсализм — условие гениальности. Гений может быть только мужчиной.

Здесь нужно сделать одно замечание. «Женщина» в немецком языке обозначается двумя словами: Frau и Weib; автор трактата «Пол и характер» пользуется почти исключительно вторым словом. В современном употреблении Frau — нормативное слово, звучащее нейтрально. Weib вытеснено в нижний слой языка и звучит скорее презрительно («баба»), но имеет и другие коннотации. Этимологически оно связано с глаголом, означающим «закутывать»: у европейских народов индогерманской языковой семьи покрывалом прикрыта невеста. Немецкое слово Weib воспринимается как устарелое, риторическое и выражающее женскую суть. Все эти значения, очевидно, присутствуют у Вейнингера.

Чего нет, того нет

В нескольких главах (вызвавших наибольший интерес у серьезных читателей) рассмотрена связь между самосознанием, логикой и этикой мужчины и женщины. Здесь — та же самая несимметричность М и Ж.

«Toute notre dignité consiste donc en la pensée, итак, всё наше достоинство состоит в мысли... Будем стараться мыслить правильно: вот основа морали». Так заканчива-

ется знаменитое рассуждение Паскаля о мыслящем тростнике. Вейнингер не ссылается на Паскаля (бегло упоминает о нем по другому поводу), но, в сущности, подхватывает этот тезис. Логика, разум — основа нравственности. Не сердце, не интуиция диктуют нравственный закон, а логически упорядоченная мысль. Человек морален, поскольку он одарен способностью логически мыслить. «Вопрос в том, признаешь ты или не признаешь аксиомы логики мерилom ценности своего мышления, считаешь ли ты логику судьей твоих высказываний, ориентиром и нормой твоих суждений». Но женщине всё это недоступно. Ей «недостает интеллектуальной совести». Женщина безответственна и лжива.

«Существо, не понимающее или не желающее признать, что А и не-А исключают друг друга, не знает препятствий для обмана, существу этому чуждо самое понятие лжи, так как противоположное понятие — правда — для него не закон; такое существо, раз уж оно наделено даром речи, лжет, даже не сознавая этого...»

Вейнингер придает особое значение закону исключенного третьего ($A=A$), так как в итоге дальнейших рассуждений делается вывод, что закон этот имеет фундаментальное значение для самосознания личности. Он означает: я — есмь. Я — это я, а не кто-то другой или что-то другое. Верность самому себе, искренность и правдивость по отношению к себе — вот основания единственно мыслимой этики. Такова этика мужчины, но не женщины.

Величие и одиночество

После этого (завершая главы об этике) следует любопытное высказывание, пассаж, который перебрасывает мост от Паскаля через Канта к французскому экзистенциализму, к завету героического одиночества перед лицом абсурда; неожиданная, гордая и горестная человеческая страница, лучшая, может быть, во всем сочинении.

«Человек — один во Вселенной, в вечном, чудовищном одиночестве. Вне себя у него нет цели, нет ничего другого, ради чего он живет; высоко взлетел он над желанием быть рабом, над умением быть рабом, над обязанностью быть рабом; далеко внизу исчезло человеческое общежитие, потонула общественная этика; он один, один!

Но тут-то он и оказывается всем; и потому заключает в себе закон, и потому он сам есть всецело закон, а не своевольная прихоть. И он требует от себя повиноваться этому закону в себе, закону своего существа, без оглядки назад, без опаски перед будущим. В этом его жуткое величие — следовать долгу, не видя далее никакого смысла. Ничто не стоит над ним, одиноким и всеединым, никому он не подчинен. Но неумолимому, не терпящему никаких компромиссов, категорическому призыву в самом себе — ему он обязан подчиняться...»*.

Эмансипация наоборот

Женщина — сфинкс? Смешно... «Мужчина бесконечно загадочней, несравненно сложнее. Достаточно пройти по улице: едва ли увидишь хоть одно женское лицо, в котором нельзя было бы сразу прочесть, что оно выражает. Регистр чувств и настроений женщины так беден!»

Существует два основных типа поведения женщины: к ним, собственно, всё и сводится: Ж — это или «мать», или «шлюха», в зависимости от того, что преобладает: установка на ребенка или установка на мужчину. Проституция — феномен отнюдь не социальный, но биологический или даже метафизический; проституция всегда была и всегда будет; распространенное мнение, будто женщина тяготеет к моногамии, а мужчина — к полигамии, ошибочно: на самом деле моногамный брак — союз одного с одной — создан мужчиной, носителем индивидуальности, человеком-личностью, человеком-творцом.

Мужской воле противостоит женское влечение, мужской любви — бабья похоть, мужскому формотворчеству — женский хаос, нечто бесформенное, недоделанное, расплывающееся... Женщина есть полномочный представитель идеи соития. Коитус, только коитус — и больше ничего! Идеал женщины — мужчина, целиком превратившийся в фаллос. Подлинное освобождение человечества есть освобождение от власти женщины — воздержание.

Эту обвинительную речь дополняет любопытный пассаж из посмертно опубликованных записок, род самокритики. Мужчина тоже не безвинен. «Она» сумела за-

* Здесь и далее — перевод автора статьи.

ронить зло в его душу. Как может он упрекать женщину в том, что она жаждет поработить мужчин, если они сами хотят того же? «Ненависть к женщине — всегда лишь еще не преодоленная ненависть к собственной сексуальности». Это уже почти признание.

Теперь М и Ж — уже не биология и не психология; теперь это метафизические понятия. Женщина — не только «вина мужчины», воплощение постыдного низа человечества. Противостояние мужского и женского принимает почти манихейские черты. Свет и тень, абсолютное добро и абсолютное зло. Но и этого мало. Последовательное раздевание женщины — разоблачение злого начала — завершается странным открытием: *там ничего нет*. В главе «Сущность женщины и ее смысл в мироздании» говорится:

«Мужчина в чистом виде есть образ и подобие Бога, то есть абсолютного *Нечто*. Женщина символизирует *Ничто*. Таково ее вселенское значение, и в этом смысле мужчина и женщина дополняют друг друга». Итак, глубочайшая сущность женщины — отсутствие сущности, «бессущность»; чтобы стать из ничего чем-то, ей нужен мужчина.

Коварство Иакова

Венчает эту ахиною глава о народе, который, как выясняется, аккумулировал все отрицательные качества женской души. Это евреи. Не правда ли, мы этого ждали, этим должно было кончиться. Почему? Существует типологическое родство и внутренняя связь между женоненавистничеством и ненавистью к евреям, антифеминизмом и антисемитизмом.

«Существуют народности и расы, у которых мужчины, хотя их и нельзя отнести к промежуточному интерсексуальному типу, тем не менее так слабо и так редко приближаются к идее мужественности... что принципы, на которых базируется наше исследование, на первый взгляд кажутся основательно поколебленными». Таким исключением являются, вероятно, китайцы (не зря они носят косичку) и, уж без всякого сомнения, негры с их низкой моралью и неспособностью быть гением. Евреи похожи на негров (курчавые волосы) и вдобавок содержат примесь «монгольской крови» (лицевой череп, как у малайцев или китайцев, лицо бывает часто желтоватым).

Впрочем, речь идет не о расе и не столько о народе, сколько об особой психической конституции, которая в принципе может быть достоянием не только евреев; просто историческое еврейство — самый яркий и зловещий ее представитель. И оно это чувствует: самые заядлые антисемиты не арийцы, а сами евреи. Вот в чем могла бы состоять историческая заслуга еврейства — предостеречь арийца, постоянно напоминать ему о его высоком достоинстве, о его низменном антиподе.

Еврейство сконцентрировало в себе бабьи черты. Евреи, как и женщины, беспринципны; у них отсутствуют тяга к прочности, уважение к собственности — отсюда коммунизм в лице Маркса; у еврея, как и у женщины, нет личности, еврей не имеет своего «я» и, следовательно, лишен представления о собственной ценности, не случайно у евреев нет дворянства. Не индивидуальность, а интересы рода движут евреем — совершенно так же, как инстинкт продолжения рода движет женщиной. Говорят, что рабские привычки навязаны евреям историческими обстоятельствами, дискриминацией и т. п. Но разве Ветхий завет не свидетельствует об исконной, изначальной низости евреев? Патриарх Иаков солгал своему умирающему отцу Исааку, бесстыдно обманул брата Исава, обьегорил тестя Лавана.

Народ-женщина. Его триумф. Гнусное время

Еврей, продолжает Вейнингер, противостоит арийцу, как Ж противостоит М. Гордость и смирение борются в душе христианина — в еврейской душе соревнуются заносчивость и лизоблюдство. Не зная христианского смирения, еврей не знает и милости, не ведает благодати. Еврей поклоняется Иегове, «абстрактному идолу», полон холопского страха, не смеет даже назвать Бога по имени — всё женские черты: рабыня, которой нужен господин. В еврейской Библии отсутствует вера в бессмертие души. Как же может быть иначе? У евреев нет души.

Высшее качество арийца — гениальность — недоступно еврею совершенно так же, как оно невозможно у женщины. Среди евреев нет и не было великих ученых, нет у них ни Коперника, ни Галилея, ни Кеплера, ни Ньютона, ни Фарадея. Нет и не было гениальных мыслителей и великих поэтов. Называют Генриха Гейне, ссылаются на Спинозу. Но Гейне — поэт начисто лишенный глубины и величия, а Спиноза — отнюдь не гений: среди знаменитых философов нет ума столь небогатого иде-

ями, лишенного новизны и фантазии. Вообще всё великое у евреев — либо не великое, либо не еврейское. Любопытно, что англичане, чье сходство с евреями отмечено еще Вагнером, тоже, в сущности, мало дали по-настоящему великих людей.

При всем сходстве евреев с женщинами между ними есть и важное отличие. Женщина верит в Другого: в мужчину, в ребенка. Еврей хуже женщины: он не верит ни во что.

«В наше время еврейство оказалось на такой вершине, куда ему еще не удавалось вскарабкаться со времен царя Ирода. Дух модернизма, с какой стороны его ни рассматривать, — это еврейский дух. Сексуальность всячески одобряется, половая этика воспевают коитус...»

Время капитализма и марксизма, время, когда утрачено уважение к государству и праву, время, не выдвинувшее ни одного крупного художника, ни одного замечательного философа, попавшее на удочку самой плоской из всех концепций истории — исторического материализма. «Самое еврейское и самое женоподобное время». Автор книги «Пол и характер» не устает клеймить эпоху, в которой его угораздило родиться и жить.

Но наперекор вконец обнаглевшему еврейству несет миру свой свет новое христианство. Как в первом веке, борьба требует радикального решения. Человечеству предстоит сделать выбор между еврейством и христианством, между делечеством и культурой, между женщиной и мужчиной, между инстинктом пола и личностью, между тем, что есть ничто, — и божеством. Третьего не дано.

Счастливая Австрия

Барон Франц фон Тротта, сын унтер-офицера, словенца, спасшего жизнь юному кайзеру Францу-Иосифу I в бою под Сольферино, дворянин во втором поколении, смотрит из окна своей гостиной на площадь, где выстроились колонны в белых парадных мундирах австрийской армии. Звучит знаменитый «Марш Радецкого» Иоганна Штрауса-старшего. Император в седых бакенбардах, в белых перчатках осаживает коня.

Музыка, в которой слышится танцующий шаг кавалерии, кокетливо-молодецкий марш, отнюдь не воинственный, который так и зовет шагать, гарцевать, смеяться, побеждать не города, а сердца, — беззаботная душа старой Вены! Ставший поговоркой латинский стих: «*Bella gerant alii, tu felix Austria nube*» («Пусть другие воюют, а ты, счастливая Австрия, играй свадьбы!»). Куда это всё провалилось?.. Старик Тротта умирает в один день с 86-летним кайзером. Его единственный сын, третий и последний барон, убит на фронте. «Марш Радецкого», роман Йозефа Рота, вышедший в тридцатых годах, — песнь любви к исчезнувшей Двуетной монархии, ностальгическая песнь, между прочим, пропетая евреем.

В огромном рыхлам теле Австро-Венгрии бились три сердца — славянское, мадьярское и, конечно, немецкое: Прага, Будапешт, Вена. На груди государственного двуглавого орла висел щит с бесчисленными гербами, десятки народов и народностей составляли 50-миллионное население империи Габсбургов, с грехом пополам объединившей, кроме собственно австрийских и венгерских земель, Богемию, Моравию, Силезию, Галицию, Буковину, Далмацию, Хорватию, Словению, Фьюме, Боснию-Герцеговину и так далее; полный титул монарха едва уместился бы на этой странице. Не так уж плохо жилось в этой империи — по крайней мере так нам кажется теперь, когда мы взираем на нее через сто лет, после двух мировых войн, после всего, что было, — как и вообще не так уж плох был этот затянувшийся «конец века». Один только был у него недостаток: это был конец. Гротескная «Какания» Роберта Музиля — дерзкое словечко, образованное от официальной аббревиатуры «k.-k.», «императорско-королевская» и одновременно поахивающее латинским глаголом «*sacare*», который значит примерно то же, что и русское слово «какать», — феодально-бюрократический монстр, страдавший старческим запором, не выдержал испытаний мировой войны, рухнул, подобно трем другим империям евроазиатского региона — Российской, Германской и Османской. Австрия, голова без тела, стала духовной провинцией, Германию ждал нацизм, огромная Россия впала в варварство.

Парад культуры

Но, как и в России, предвещьем конца был пышный закат. Искусство и мысль существуют в психологическом и интеллектуальном поле, которое можно сравнить с физическим; в иные эпохи такие поля достигают необычайного напряжения. Ис-

кусство и мысль обреченной Австро-Венгрии, прежде всего в австрийской столице, переживали неслыханный расцвет. Вейнингер, вешавший: «Ни одного большого художника, ни одного крупного мыслителя», — был прав с точностью до наоборот: достаточно назвать некоторых из его современников и соотечественников. Философ Людвиг Витгенштейн, врач и психолог Зигмунд Фрейд, прозаики Франц Кафка, Роберт Музиль, Герман Брох, Артур Шницлер, Стефан Цвейг, поэты Георг Тракл, Гуго фон Гофмансталь, Райнер Мария Рильке, композиторы Густав Малер, Арнольд Шёнберг, Альбан Берг, художники Густав Климт, Оскар Кокошка, Альфред Кубин. И так далее, это лишь наскоро составленный список.

То обстоятельство, что больше половины этих избранников, которых вдруг оказалось так много, были евреями, имеет некоторое отношение к нашей теме. Юдофобство не есть следствие возрастания роли и влияния выходцев из еврейских семей в общественной жизни, экономике и культуре, но оно растет вместе с ним. В первой декаде XX века в Вене проживали 160 тысяч евреев, восемь процентов населения столицы. Прославившийся своей рачительностью бургомистр Карл Люгер, ставленник католической христианско-социальной партии, обрадовал своих еврейских сограждан изречением: «Es ist alles eins, ob man sie hängt oder köpft» («Какая разница, вешать их или рубить им головы»). Георг, рыцарь фон Шёнерер, помещик из Нижней Австрии и вождь «вегерманского движения», додумался до идеи радикально очистить империю не только от евреев, но и от славян и вообще от всех расово-чуждых элементов; вопрос: что осталось бы тогда от Дунайской монархии?

Некий утекший из монастыря, как Гришка Отрепьев, монах по имени Ланц фон Либенфельз возвестил о создании арио-героического мужского ордена светловолосой и голубоглазой расы господ для расправы с неполноценными расами вплоть до их истребления и вывесил (в 1907 году) над своим наследственным замком знамя со свастики.

Некто Гитлер, сын таможенника, проживавший в Вене, зарабатывая на жизнь срисовыванием архитектурных памятников, четверть века спустя сообщил в хаотическом сочинении «Моя борьба»: «С той поры, как я стал заниматься этим вопросом, когда впервые обратил внимание на еврея, Вена показалась мне в другом свете, чем раньше. Куда бы я ни шел, я видел одних евреев, и чем больше я их видел, тем они резче отличались от остальных людей... Была ли вообще какая-нибудь гнусность, какое-нибудь бесстыдство в любой форме, особенно в культурной жизни, где бы не участвовал еврей?.. Я начал их постепенно ненавидеть».

Женщина 1900 года

Мы надеемся, что читатель не ожидает найти в этой статье полемику с концепцией и мировоззрением автора книги «Пол и характер». Время полемики давно прошло. Не говоря уже о том, что любые разумные доводы против половой вражды и расовой ненависти (и то, и другое — всегда знак внутреннего неблагополучия и роковой зависимости от предмета вражды) бесполезны.

Чувствуется какая-то одержимость в том, что и как пишет о ненавистном ему племени этот еще не видевший жизни, не ставший мужчиной, до головокружения заносчивый недоросль с задатками гениальности, вопреки его собственной уверенности в том, что гений и еврейство — две вещи несовместные, и эта одержимость сродни той, другой одержимости, которая, собственно, и подвигла его написать всю книгу: одержимости женщиной. Женщина, как и еврей, — ничто. Стоило ли вообще о ней разговаривать? Но оказывается, что это Ничто обладает жуткой притягательностью — колоссальной властью. Ничто демонизируется.

Разумеется, здесь просвечивают черты времени. «Ж» Отто Вейнингера — это кошмарный сон о женщине его эпохи.

Во все времена, замечает Ст. Цвейг («Вчерашний день. Воспоминания европейца»), мода произвольно выдает мораль и предрассудки общества. Дамский туалет на рубеже девятисотых годов: корсет из рыбьих костей перетягивает тело, придавая ему сходство с осой. Грудь и зад искусственно увеличены, ноги заключены в подобие колокола. На руках перчатки даже в знойный летний день. Высокий узкий воротничок до подбородка делает шею похожей на горлышко графина, прическу из бесчисленных локонов и косичек, уложенных завитками на ушах, венчает чудовищная шляпа. Всё это сооружение, называемое женщиной из приличного общества, неприступная башня в кружевах, бантах и оборках, распространяет удушливый аромат духов, изображает монументальную добродетель и дышит запретной тайной — глубоко запрятанной и раздраженной чувственностью. В известном смысле можно сказать, что без этих мод был бы невозможен психоанализ.

Такая женщина вставлена, как в золоченую раму, в перегруженный вещами и вещичками быт; она двигается, шурша своим колоколообразным одеянием, по комнатам, загроможденным вычурной мебелью, заставленным столиками и шкафчиками с безделушками, среди стен, сплошь увешанных полочками, тарелочками, фотографиями, между окнами в тяжелых гардинах. Воспитанная в полном неведении касательно взаимоотношений полов, буржуазная барышня вручается в плотно упакованном виде мужу, который даже не знает толком, какого рода собственность он приобрел, но то, что он приобрел, есть именно собственность. В приличном обществе единственная карьера женщины — брак; если не удалось вовремя выскочить замуж, она становится предметом насмешек.

Что касается молодых людей, то, откуда ты не приобрел «положение», не окончил университет, не получил место в банковском доме, в адвокатской конторе, в торговой фирме, в страховом обществе, в государственном учреждении, ты не можешь думать о женитьбе. Да и куда спешить? К услугам начинающего чиновника, новоиспеченного юриста или коммерсанта — армия проституток. Так получается, что женщина предстает перед ним в двух ролях: либо девица на выданье, в перспективе — жена и мать, либо жрица продажной любви. И вечным кошмаром маячит перед ним риск подцепить дурную болезнь. Ведь еще не открыт сальварсан.

Чарующая Вена на переломе столетия, этот, как сказал Брех, «веселый апокалипсис», — это последние дни буржуазной Европы; еще каких-нибудь десять, пятнадцать лет — и всё рухнет. Театрализованная сексуальная мораль общества в одно и то же время игнорирует, осуждает, разрешает и поощряет то, что скрыто за сценой; спектакль невозможен без закулисного мира. Да и не такой уж это, по правде говоря, секрет. Тротуары кишат полудевами, разгуливающими туда-сюда, цены доступны, свидание обходится ненамного дороже, чем коробка сигарет. Это самый низший разряд. За ним следуют певицы, танцовщицы, «девушки для развлечения» в кофейнях и барах. Еще выше на иерархической лестнице — дамы полусвета, загадочные гости сомнительных салонов и, само собой, персонал многочисленных борделей.

Философия как наваждение

Вернемся к книге; об ее «идейных истоках», связях с современной автору и классической немецкой философией, с Кантом, Шопенгауэром, с оперной драматургией Вагнера написано немало; здесь стоит указать на одну, впрочем, бросающуюся в глаза аналогию. Оппозиция М и Ж слишком напоминает другую пару, традиционную для немецкого философствования и философического романа: дух и жизнь, интеллект и бессознательная своевольная стихия, которую Ницше (и следом за ним молодой Томас Манн) называет жизнью, а Бергсон во Франции — жизненным порывом. Но если в книге Вейнингера разуму — или скорее рассудку — отдается решительное предпочтение перед стихией, если благородный мужской интеллект у него бесконечно выше анархического бабьего начала, то в XX веке многочисленные эпигоны Ницше становятся певцами иррациональности, «философия жизни» приобретает агрессивно-вульгарный, «силовой», профашистский характер; Вейнингер оказывается в кругу ее зачинателей.

Книга «Пол и характер» предвосхищает ряд сочинений, которые выразили совершенно новое настроение: это книги апокалиптические, вышедшие почти одновременно после первой мировой войны. «Закат Европы» Освальда Шпенглера, «Дух утопии» Эрнста Блоха, «Дух как противник души» Людвиг Клагеса, еще несколько. В этих объемистых томах, восхитивших публику блеском стиля и неожиданностью обобщений, излучающих какое-то мрачное сияние, есть то, что можно назвать насильственной тотальностью. Они притязают на самый широкий охват истории и культуры, завораживают и поражают читателя своим авторитарным тоном и навязывают ему под видом философии и науки некую недоброкачественную мифологию.

Тень и голос

«Об одном хочу тебя попросить: не старайся слишком много узнать обо мне... Возможно, когда-нибудь я тебе расскажу об этом. Кроме той жизни, о которой ты знаешь, я веду две жизни, три жизни, которых ты не знаешь» (письмо А. Герберу, август 1902).

Ненаписанная пьеса о герое этих страниц — два действующих лица. О. В. и некто Другой — Doppelgänger. Сцена, напоминающая пьесу Леонида Андреева «Черные маски», где полубезумный герцог Лоренцо сражается со своим дойником и убивает его. То есть убивает себя.

Другой, чей шепот шелестит в мозгу, Другой, напоминающий Темного двойника,— амплуа из театра масок глубинной психологии Юнга: не я, Другой! Тот, кто воплощает всё пошлое и ненавистное, постыдный низ, потемки души; кто, как некий посторонний, присутствует в тягостных снах. Это он несет с собой анархию, безнравственность, хаос. Между тем как Я — стою на страже морали, разума и порядка, Я сам — логика и порядок. Я мужчина. Он — моя вина и погибель. Он тащит меня к женщине. Он напоминает мне о моем происхождении. Он мешает мне сознавать себя равным в обществе, единственно достойном меня. Истребить его! Вейнингер разоблачает женщину, отрещивается от еврейства. Но отделаться от себя невозможно, потому что Он — это Я. Ненависть к темному спутнику всё еще написана на лице умершего; любящий Гербер, который отыскал его в морге венской Общей больницы утром в половине одиннадцатого 4 октября 1903 года, вспоминает:

«Ни единого намека на доброту, ни следа святости и любви не было в этом лице... нечто ужасное, нечто такое, что вложило в его руку оружие смерти,— мысль о Зле. Но спустя несколько часов облик его изменился, черты смягчились... и, взглянув в последний раз на мертвого друга, я увидел глубокий покой вечности».

Ненависть породила теорию, способ самоотчуждения, но вернулась к ее создателю, умертвив его на сорок лет раньше, чем ему полагалось умереть.

ЭПИЛОГ

Биограф Кафки Клаус Вагенбах рассказывает, что, приехав в Прагу, он сумел разыскать почти все улицы и дома, где жил или работал Кафка. К великому счастью, город не пострадал во время войны. Но, когда исследователь приступил к поискам людей, знавших Кафку, и его родни, на всех архивных карточках под именем, фамилией, местом рождения стоял один и тот же штампель: *Освенцим*.

Кафка был на три года моложе Вейнингера. Ему повезло: он умер от туберкулеза, не дожив до газовой камеры. Вейнингеру тоже повезло.



Павел БАСИНСКИЙ

Постфеминизм

У РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ БЫЛА ЖЕНСКАЯ ДУША

Жилое и нежилое

«Прогнозы на третье тысячелетие неутешительны для литературы. Будущее прозябание словесности на обочине цивилизации... кажется всем настолько очевидным, что как бы и не о чем особо рассуждать... Но вот другой, противоречащий вышесказанному факт: за последнее десятилетие в российской прозе... появилось необычно много ярких женских имен (следует перечисление.— П. Б.). ...Почему возникновение женской прозы... противоречит концу литературы? Потому что женщина никогда не идет на нежилое место. В женской генетической программе не заложено быть расходным материалом эволюции. В экстремальной ситуации, когда мужчина обязан погибнуть, женщина обязана выжить... Отсюда мощный инстинкт самосохранения, часто принимаемый, например, за специфическую русскую жертвенность... На самом деле она (женщина.— П. Б.) предпринимает свои усилия, чтобы не выпасть из жизни, и при этом очень мало считается с истинными чувствами объекта своей заботы, ставшего — по стечению обстоятельств — единицей ее житейского груза и героем ее сюжета. Точно так же и в литературе: нравится это кому-то или нет, но представительницы эгоистического пола приходят сюда и делают то...» и т. д.

Прошу прощения за столь пространную выписку из материала новой рубрики Ольги Славниковой «Терпение бумаги» («Октябрь», 2000, № 3), но она необходима для того, чтобы читатель, возможно, не знакомый со статьей, понял, в чем же ее главная мысль. Тем более что мысль эта давно носится в воздухе, и хорошо, что О. Славникова так ярко и четко ее выразила. Литература в упадке. Но в нее идут женщины. Женщина не пойдет на нежилое место. Следовательно, литературу ждет расцвет.

Сама по себе мысль хотя и занятая, но весьма спорная. По ее логике русская (и большей частью вся европейская) литература XIX века была нежилым местом. На самом деле тогда женщины не шли потоком в литературу по другой причине: из-за специфики образования и отношения к литературным занятиям вообще. Напомню, что Тургенев, прежде чем стать великим и хорошо оплачиваемым автором, за свои литературные занятия (в частности) остался без матушкиного содержания и прожил на даче Виардо под Парижем на положении... не могу подобрать точного слова. Там он писал «Записки охотника», впоследствии составившие славу русской словесности. Совершенно ясно, что женщина в подобной ситуации оказаться не могла. Либо она была бы актеркой, балериной, но никак не писателем.

Конечно, Россия в этом смысле отставала от Европы, особенно от Франции, на культуру которой во многом ориентировалась. Там в XVIII веке уже процветали салоны во вкусе г-жи Рамбуйе, там нарасхват читались романы г-жи Жанлис, что естественным образом подготавливало почву для появления Жермены де Сталь и Авроры Дюпен, чей мужской псевдоним — Жорж Санд — тоже, впрочем, красноречиво свидетельствовал об ущемлении женского достоинства в литературе даже во Франции. А у нас московская цензура в 1797 году запретила роман некой девицы Демидовой из Калуги. Дело пошло на утверждение в специально учрежденный Цензурный совет, который подтвердил запрещение и постановил о романе, что «если подлинно сочинен девицею, то занималась она делами совсем до нее не касающимися».

Фамусов мечтал сжечь все книги, которые читала Софья (конечно, романы, и, конечно, французские). Вообразите, как бы он поступил с самой Софьей, если бы она воплотила свой с Молчалиным роман в некий текст и тиснула, ну, скажем, в «Московском телеграфе».

И все же в логике рассуждений Ольги Славниковой, даже и применительно к концу XVIII — первой половине XIX столетия, есть рациональное зерно. Российское литературное пространство в то время было нежилым местом в том смысле, что это была целина, а не многократно уже засеваемое поле. Все приходилось осваивать впервые, все испытывать на русской почве: от стихотворных размеров до поэтических и прозаических жанров. Да и самый литературный язык наш только выковывался.

Хотим мы того или нет, но словарь «Русские писатели. 1800—1917», первые четыре тома которого уже вышли, не самое душеприятное чтение для феминисток. Гендерный состав русских писателей XIX — начала XX века похож на список членов мужского клуба, в коем женские имена встречаются как исключения. В основном это поэтессы, мемуаристки и переводчицы. В основном — за редкими исключениями — эти фамилии либо совсем неизвестны никому, кроме специалистов, либо задевают слух исключительно потому, что их обладательницы состояли в родственных отношениях с Глинкой, Аксаковыми, Баратынским или — допустим — Боборыкиным.

Но обратимся к исключениям... Вот Марко Вовчок (настоящие имя и фамилия — Мария Александровна Вилинская, в замужестве Маркович). Одна из самых популярных писательниц середины XIX века. Ее повестями и рассказами зачитывалась вся образованная Россия, о ней неоднократно писал сам Белинский. В контексте своего времени она была не менее известна, чем Тургенев и Достоевский (не будем в данном случае говорить о суде потомков). Однако любопытна канва ее биографии. Всякий биограф непременно отметит, что в детстве она воспитывалась в доме В. Д. Писаревой — тетки знаменитого критика. Что, будучи перевезенной в Орел, она познакомилась с Н. С. Лесковым. Что — цитирую словарь «Русские писатели» — «переезд в столицу расширил литературные связи Вовчка». Еще по дороге, в Москве, она познакомилась с С. Т. Аксаковым, М. П. Погодиным, А. И. Кошелевым; затем в круг ее знакомых вошли А. Ф. Писемский, Я. П. Полонский, Ф. И. Тютчев, А. Н. Плещеев, А. М. Жемчужников, Н. И. Костомаров, Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев». В Лондоне она встречается с Герценом и вступает с ним в переписку, которая явилась для нее «новым этапом политического образования». В Париже — с Львом Толстым и М. А. Бакуниным.

Речь вовсе не о том, что Марко Вовчок светила отраженным светом. Речь о том, что, в точности согласно рассуждениям О. Славниковой, женщина-литератор в XIX веке приходила именно на жилое, то есть уже *обжитое* пространство. Феномен Марко Вовчка вряд ли был бы возможен в карамзинско-пушкинскую эпоху, когда светская русская литература только искала пути своей самостоятельности. Должна была накопиться критическая масса литературной культуры, возникнуть «жилое место», чтобы в словесность явилась «хозяйствовать» женщина.

Обидно, но что делать?

Звучит это вроде бы обидно... Нередко приходится слышать обвинения русской литературе (и православной культуре вообще) в «мужском шовинизме». Но, во-первых, судить историю человеку не по силам — это божественное право. Во-вторых, принцип обычной арифметической справедливости в культуре не работает — культура не собес и не пенсионный фонд. Достаточно вспомнить, что высочайшее нравственное и *эстетическое* влияние на очень многих русских писателей оказывали мамы, няни и жены в отличие от отцов, часто вовсе не занимавшихся своими сыновьями, зато проигрывавших в карты целые миллионные состояния, как, например, батюшка А. С. Хомякова, один из основателей Английского клуба. С культурной точки зрения это обстоятельство не менее важно и существенно, чем итоговая литературная продукция. На каких весах взвесить и как подсчитать, что означали, например, для Н. М. Карамзина и Н. А. Некрасова образы их любимых и рано умерших матерей?

Вот любопытный факт, о котором пишет В. В. Зеньковский в «Истории русской философии». Когда будущий славянофил Иван Киреевский «женился, между ним и его женой начались столкновения по религиозным вопросам, горячая и сосредоточенная религиозность жены, по-видимому, вызывала в Киреевском неприятные чувства. Они условились между собой, что при жене Киреевский не будет “кошунствовать”. Когда Киреевский предложил жене почитать Вольтера, она сказала ему, что готова читать всякую серьезную книгу, но насмешки над религией и кошунства не выносит. Позже они вместе стали читать Шеллинга, и здесь жена Киреевского чрезвычайно поразила его указанием, что мысли, которые были выражены у Шеллинга, “давно ей известны — из творений Св. Отцов”. Постепенно, под влиянием же-

ны, Киреевский стал сам читать творения Св. Отцов, а затем у него завязались близкие отношения с духовными лицами».

Так рождалась православная славянофильская идеология. Та самая, которую несведущие люди обвиняют в «мужском» высокомерии и презрении к женщинам.

И, наконец, в-третьих, культурные явления возникают не в результате идеально правильного распределения всех векторов (в том числе «мужского» и «женского» начал), но именно в результате «перекосов», внешней несправедливости и вообще всяческого внешнего неблагополучия. Культура, в которой все идеально, все на своих местах, все справедливо и т. д., есть не культура, а цивилизованная норма, к которой естественно стремится разумное человечество, но культурные явления, как показывает историческая практика, неизбежно мельчают по мере приближения к концу пути. К тому же конца этому пути нет. Цивилизованный идеал устремлен в бесконечность, в то время как культура всегда очень жизненна и конкретна. Она существует «здесь и теперь». Она есть жизнь, а не претензия к живой жизни.

Каким образом с точки зрения цивилизованной нормы можно оценить, например, феномен Елены Андреевны Штакеншнейдер и ее знаменитого «Дневника»? Дочь богатых родителей (отец, обрусевший немец, плохо понимавший по-русски, был придворным архитектором, мать держала в Петербурге самый гостеприимный литературный салон), она родилась калекой. «Горбунья с умным лицом», как называл ее И. А. Гончаров, — она писала о себе в семнадцать лет: «Мне многое не позволено, что идет к другим, — не могу ни танцевать (так в ее тексте. — П. Б.), ни наряжаться, ни кокетничать».

Положение Штакеншнейдер было действительно ужасным. Физические недостатки словно умножались на несправедливость бытовых предрассудков столичного света, по которым девушка-горбунья не могла считаться полноценным членом социума, то есть женщиной, способной увлечь мужчину, выйти замуж, создать нормальную семью, а следовательно, и полноценным человеком. Против нее были и природа, и общество. И вот именно в этих условиях появился ее «Дневник», равного которому по уму, по глубине, по остроте чувств и сопереживания нет среди женских дневников того времени. И такой дневник не мог бы написать ни один мужчина, даже и самый несчастный. Здесь ценен как раз женский душевный «почерк».

И так же ценен он в поэзии гр. Е. П. Ростопчиной, о стихах которой Тютчев писал: «То лирный звук, то женский вздох...», и о которой Ходасевич прекрасно заметил: «Если вычеркнуть из биографии Ростопчиной все то, что относится к литературной ее деятельности, получится описание самой обычной жизни барышни и дамы, жившей в первой половине минувшего столетия».

В отличие от Елены Штакеншнейдер Додо (так называли Ростопчину близкие) была обольстительной дамой, недаром написанный ею роман назывался «Счастливая женщина». «На балах Додо имела чрезвычайный успех. Она была очень красива... Поклонники ее окружали. Немало было среди них выгодных и блестящих партей».

Примеры Додо и Штакеншнейдер, столь несхожие, доказывают только одно: путь в литературу всегда единичен и неповторим, он невыводим, как среднее арифметическое. Невозможно вычислить, из чего рождается литературный феномен, здесь нет общих закономерностей, не может быть четких прогнозов.

Тот факт, на который обращает внимание О. Славникова (современная экспансия женщин в литературе), объясняется весьма прозаически. Во-первых, мы более или менее достигли в равенстве полов цивилизованной нормы. Гуманитарные вузы и факультеты университетов имеют более чем половину женского состава. Выпускницы-то в основном и пополняют редующий состав литераторов. Во-вторых, путь в современную литературу достаточно прост. Она не является делом государственным. Она не является даже и общественным делом. Она все более становится частным занятием, как, например, макраме. Как ни обидно это звучит, но женщины сегодня охотно заполняют культурные области, покидаемые мужчинами, области, из которых выветривается дух напряженного культурного строительства: больших идей, поисков новых форм и т. д. В литературе главным становится второстепенное: вовремя написанный и аккуратно подготовленный к печати текст, умение гибко и по возможности бесконфликтно строить отношения с редакторами и издателями, в том числе и с зарубежными, изрядно обработанными европейским и американским феминизмом. Если это, по мнению Славниковой, и есть то самое «жилое место», то она в своих рассуждениях, несомненно, права. Мужскому духу давно пора мигрировать в какие-то более необжитые и неизведанные области...

Эгоистический пол

В рассуждениях О. Славниковой есть одна мысль, которая мне кажется чрезвычайно важной. Она точно характеризует существенный сдвиг, произошедший в русской литературе, после которого стоит задуматься о возможности бытия русской литературы вообще. Я имею в виду то место, где Славникова пишет о приходе в литературу представительниц эгоистического пола.

Как странно! Русская литература традиционно имела «женскую» душу, без которой никоим образом не мог бы состояться ее «мужской» дух. Проводя антиэгоистический идеал жалости, сострадания, она если чем и погрешила против истины национальной жизни, так это тем, что, обращая всю свою любовь к личностям жалким, слабым, неудавшимся, попавшим в исторический переплет и не способным справиться с судьбой, она почти не замечала людей сильных, победителей, а не пораженцев.

Если поверить академику В. Н. Топорову и согласиться, что именно карамзинская «Бедная Лиза» «...стоит у самых истоков *новой русской прозы*» (то есть прозы XIX века) и что «...именно Карамзину принадлежит честь определения важнейшей составляющей писательского дела — *нравственной*, завещанной последующей русской литературе как ее долг», — тогда приходится признать, что олицетворением «души» этой прозы была несчастная Лиза, а не прекрасный Эраст. Бедная, падшая девушка, а не гордый, великолепный воин.

Но сложность проблемы состоит в том, что Лиза словно бы лишена собственной души. Когда Эраст уходил на войну, Лиза, «прощаясь с ним, прощалась с душою своею», пишет Карамзин. «Что принадлежит до Лизы, то она, совершенно ему отдавшись, им только жила и дышала, во всем, как агнец, повиновалась его воле и в удовольствии его полагала свое счастье», — она способна жить только в Эрасте и ради Эраста. Он становится ее смыслом, ее Богом. Когда он предаст ее, жизнь лишается смысла, а мир лишается Бога. Отсюда — самоубийство, которое есть страшный религиозный грех. Но важно это «женское» начало русской души, впервые показанное Карамзиным: все для «другого» и в «другом». «Своего», автономного, будто и нет. Это народная душа. Эраст все отношения с Лизой видит сквозь себя. Он и любит ее для себя. И даже страдает от ее смерти потому только, что это нанесло урон *его* совести, его идеальным представлениям о себе. Лиза же совершенно не считает себя с собой, как и ее мать, которая мгновенно умирает от известия о смерти дочери: «Кровь ее от ужаса охладела — глаза навек закрылись. — Хижина опустела».

Между тем главный нравственный принцип, выдвинутый Карамзиным в искусстве, заключался в следующем: «Ты берешься за перо и хочешь быть автором: спроси же у самого себя, наедине, без свидетелей, искренно: *каков я?* ибо ты хочешь писать портрет души и сердца своего...» (Н. М. Карамзин. «Что нужно автору?»).

Получается, что «бедная Лиза» (конечно, не Эраст!) и была своего рода проекцией авторской души. На это указывает логически необъяснимый, вызывающий множество вопросов финал повести, где автор намекает на встречу с девушкой на небесах: «Когда мы там, в новой жизни, увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!»

В этом удивительный психологический парадоксализм русской литературы от Карамзина до, скажем, Распутина. Нравственный и эстетический идеал автора-мужчины реализовывался преимущественно через женские образы. Примеры, думаю, приводить не надо, они слишком известны. И наоборот: эгоистическое начало пострадалось именно в мужских характерах — от Евгения Онегина и Раскольникова до, например, беловского Ивана Африкановича, отчасти виновного в смерти жены и вопрошающего возле ее могилы: «Ты, Катя, где есть-то?»

Но вот, по мнению О. Славниковой, в литературу приходит автор-женщина, которая «предпринимает свои усилия, чтобы не выпасть из жизни, и при этом очень мало считается с истинными чувствами объекта своей заботы, ставшего — по стечению обстоятельств — единицей ее житейского груза и героем ее сюжета». Приходит в «экстремальной ситуации, когда мужчина обязан погибнуть».

По закону противоположности это должна быть иная литература, жесткая, расчетливая, эгоистическая, но — главное — воплощающая в себе мужской «ндрав». Иначе зачем огород городить?

Так что же: дадим ей женское имя?



Двенадцать лет спустя

ДВА ЭКСПЕРИМЕНТА «МОЛОДЕЖНОЙ» ЛИТЕРАТУРЫ

Кто старше: отцы или дети? Ответ не так очевиден, как может показаться с первого умственного захода. Разумеется, родители старше *физически*, они дольше прожили на свете, о чем свидетельствует их многослойная, хотя и не до самого дна достоверная память. Но дети живут на поколение позже, их история человечества на два десятка лет дольше. В этом смысле дети принадлежат к более возрастной — если угодно, более старческой — человеческой группе. Сумма исторического времени, состоящая, поскольку прирастает человеческими мерками, из малых вершков, миллиметровых подвижек, ничтожных долей, у детей неизбежно превышает родительскую; временной столб давит на них ощутимей. Молодой человек может знать об Александре Македонском из рекламы банка «Империял», но шкурой чувствует давление внешнего мира, ошибочно принимаемое им за родительское занудство и попечение социума. Возможно, экстравагантные формы поведения юношества как раз и объясняются подспудным стремлением сбросить груз; возможно, они, эти формы, предъявляют отцам их же собственный жизненный опыт, театрализованный и со знаком «минус», а задача отцов — уже не столько привести потомков в надлежащий вид, сколько по возможности отстоять *свое*.

Лет примерно десять назад я полагала (и мне очень нравилась эта идея), что главным героем прозы может быть только персонаж моложе тридцати. Мне казалось, что, как зародыш проходит в материнской утробе основные стадии биологической эволюции, так и каждый молодой человек, прежде чем достичь социально приемлемой нормы, проживает в зашифрованном виде — и каждый по-своему — историю человечества. Разумеется, ключи к этим драматическим и трагическим шифрам даются в руки только литературно одаренным ровесникам героя, они — достояние *поколенческое*; иными словами, у каждого новичка, пришедшего в литературу, есть в потенциале нечто такое, о чем способен написать только он один. Горький груз непризнанного старшинства, особенно ощутимый на том возрастном рубеже, когда обычный человек перестает развиваться и начинает жить по горизонтали, следовало с кем-то разделить, и лучше всего для этого годился безмолвный и незримый, иллюзорно похожий на автора собеседник, в дальнейшем именуемый «читатель». Естественно, что переход от литературной теории к литературной практике очень скоро показал, что и сама глобальная теория была литературой.

Что такое «молодой писатель», точно не скажет никто: у нашего почтенного сироты, фигуры заметной и неизбежной в литературном процессе, творческий возраст почти не соотносится с возрастом физическим. На областных семинарах молодых писателей мне приходилось встречать людей и вовсе пожилых, в пиджаках с трудовыми медалями, с пожелтевшими от времени рукописями в полустертой паутине карандашных пометок, нарастающей на этих бумагах уже не по закону творческой работы, но по закону паутин. Имеется и тип пожизненного кандидата в классики: этот часто напоминает внешностью — в малом или несколько преувеличенном формате — кого-нибудь из великих, правда, не всегда из области, где стремится преуспеть (в последнее время по понятным, хотя и мистическим причинам среди проходящих кандидатский стаж иные стали неулловимо смахивать на потенциальных спонсоров). Самые дальновидные из молодых начинают молодиться очень рано — лет примерно в двадцать восемь косят не больше, чем на двадцать шесть: автоматическая утрата

альтернативности грозит со временем оставить их без работы, что будет, конечно, очень печально.

Однако в моем родном Екатеринбурге «молодые писатели» двенадцать лет назад действительно наделали шороху. Так получилось, что я приложила руку к двум ныне существующим молодежным спецвыпускам журнала «Урал». Не всем известно, что «экспериментальных» выпусков было два, а не один. Первый номер «Урала» за 1988 год, помнится, стал событием в масштабе страны, о нем писали многие критики, и не очень-то обласканные прежде свердловские литераторы впервые увидели свои фамилии набранными в центральной прессе. Девятый номер за 1999 год не стал событием вообще. Очень скромно, почти по-семейному, прошла его презентация в екатеринбургском Доме кино. Кое-что раздалось из местных газет, старшее поколение литераторов выразило гораздо меньше лестных негодований, чем рассчитывали и ожидали юные ниспровергатели основ. На том дело и кончилось.

Между тем именно в прошлогоднем «неизвестном» молодежном «Урале» еще на стадии его подготовки я обнаружила то, чего в восемьдесят восьмом году не уловила вовсе. А именно — преобразованное расстоянием эхо собственных юношеских мыслей. При всей субъективности подхода для меня этот отклик проявил некую подлинность явления. Приведу цитату из стихотворения студента УрГУ Дениса Сергеева «Случайность» (в молодежном «Урале» он опубликовался впервые):

Нас миллиарды... Глаза в глаза... Только в одни.
Случайность. Раз за разом. Еще и еще.

Несется время, текут люди. Наши вселенные встретятся лишь на один миг, чтобы больше уже не пройти никогда даже близко.
Как же в этот миг сможем мы полюбить друг друга?

Почти физическое ощущение «миллиардов» — нестерпимого умножения человечества и его истории, уменьшения на этом фоне и в этом котле каждой новой человеческой единицы — пронизывает и повесть Андрея Попкова «Не думайте смерть». Третья мировая война плюс эпидемия странной «чумы», в которой выживает едва ли каждый сотый, — такое грандиозное «вычитание» из человечества понадобилось произвести, чтобы малая кучка избранных ощутила высшее *присутствие*. Повесть Марины Живулиной «Дикий сад» строится как будто в пределах любовного треугольника, совершенно замкнутого из-за бисексуальности партнеров и совершенно при этом сумасшедшего. Но поскольку главные герои повести — стильные, продвинутые и так далее — все работают в модных, продвинутых и так далее СМИ, то их переживания и впрямую, и косвенно перерабатываются в сообщения, которые воспринимает незримая, но подразумеваемая миллионная аудитория. Будучи «старше» отцов, дети в процентном отношении к человечеству значат меньше, чем значили они; движение вперед, изображая ускорение изменениями материальной среды, на самом деле тормозится; туша истории выбрасывает все менее заметные по отношению к ее величине вегетативные отростки, пока наконец ее так называемый «прогресс» не превращается в статичную вибрацию, в ступор. Рассказ Алексея Наричына «Телевидение» содержит главку о старухе из дальней северной деревни, которая — последняя из всех живущих — может растолковать значение слова «любовь». Самой старухи в тексте нет: имеется ее покосившаяся запертая изба, до которой добираются самые удачливые и упорные паломники, а сама знахарка — «мож, по грибы пошла». Все здесь недостоверно, все косвенно, мож, и изба эта не старухина вовсе — уклончивые кивки односельчан ничего не гарантируют, и ощущение ватного тупика в точке наивысшей бездомности путешественника (паломники ночуют под навесом маленькой станции, содрогаясь от холода) просматривается не только у Наричына, но и во многих текстах этого номера. Родственность мироощущения, при очевидной разнице дарований и манер, делает молодежный номер явлением цельным и из-за цельности — достаточно крупным. Отчего же он оказался столь незаметен?

Глупый, конечно, вопрос. Сегодня литературные события почти невидимы невооруженным глазом — такие настали времена. Что сравнивать с годом 1988-м, когда печаталось неслыханное прежде, а чтение — было наше всё? И все-таки: столь разная судьба двух «экспериментальных молодежных» номеров побуждает их сопоставить. Действительно ли в 1988 году был продемонстрирован столь высокий уровень письма, что это прозвучало даже на фоне «возвращаемой» литературы? Или то была иллюзия, игра на разнице курсов «разрешенного» и «запретного», «реализма» и «формализма»? Что такое сегодня «первый экспериментальный», если отнестись к нему просто как к чтению, то есть так, как и относится сегодняшний читатель ко всей литературе?

Беру в руки экземпляр знаменитого номера не без ностальгии: потрепанный и ветхий, довольно-таки нелепый со своей косолапой версткой, делающей его местами похожим на перекидной календарь, и со своими безобидными на нынешний взгляд иллюстрациями, наклепанными к текстам примерно по тому же принципу, по какому лепятся репродукции и постеры на стены богемного жилья. Может быть, это жестоко — тревожить сон издания, сделавшего когда-то большое дело и почившего с той поры в своей нерушимой репутации? Ведь репутация — и сегодня это особенно актуально — значит едва ли не больше, чем текст...

Но не будем слишком почтительны (последуем в этом примере авторов номера). Тем более что к ощущениям от чтения и перечитывания (сегодняшние тексты накладываются на себя двенадцатилетней давности, что-то разрушая из бывшего, ничего не дополняя) можно прибавить и кое-что из личных воспоминаний, не самых ключевых с точки зрения историка литературы, но кое-что проясняющих по существу.

Дело в том, что «первый экспериментальный» не был собственно молодежным. Авторы, что составили его костяк, уже имели не только журнальные публикации, но по большей части и книги. Впервые попав на общий сбор этой сенсационной тусовки (попав, надо сказать, совершенно случайно), я увидела там не мальчиков, но мужей, которым явно подкатывало к сороковнику: люди были, судя по выговору слов и плотности посадки за столами, уже маститые. Каждый из них имел наряду с «проходными» произведениями также и «непроходные»: задача номера была все это наконец опубликовать и предъявить. Эксперимент затеял, возглавил и пробил Валерий Исхаков, тогдашний зав. отделом прозы «Урала». Кроме него, в редколлегии, сформировавшую номер, входили: Александр Крашенинников, Элеонора Корнилова, Андрей Матвеев, Андрей Грамолин, Андрей Козлов, Евгений Зашихин, Леонид Быков, Александр Чуманов, Надежда Вигорова. Перечисляю эти имена для восстановления исторической справедливости: согласно позднейшим легендам, прославленный номер делали люди необычайные, уровня не ниже Майкла Джексона и Папы Римского, в действительности даже близко не подъезжавшие тогда к «прокольному Свердловску», но оказавшиеся в контексте скандального успеха по тому же закону, по которому у меня на заре рассудка возникло убеждение, что это Ленин построил московское метро. Признаюсь, и я входила в состав этого одноразового органа литературной власти, но как входила: на правах самого младшего сотрудника, которому разрешили кое-что прочесть, кое-что сказать, однако сказанное оставили совершенно без последствий. Так что об экспериментальном номере я могу судить скорее со стороны, то есть как рядовой его читатель.

Прежде чем приступать к художественным текстам, следует сказать о «паровозе» и «супербомбе» номера: о статье ленинградца Сергея Андреева (кстати, единственного «варяга» среди сплошь уральских авторов) «Причины и следствия». Именно эта статья, как было понятно всем и с самого начала, определила ажиотажный спрос на номер и подняла его цену на черном рынке до сотни и выше рублей. Удивительно, но сегодня «Причины и следствия» вновь читаются как нечто полузапретное и почти до неприличия радикальное. Двенадцать лет назад, потеснив пресловутый «пролетариат», «крестьянство» и «прослойку интеллигенции», Сергей Андреев выделил административно-управленческий аппарат в особый общественный класс, чьи интересы объективно противоречат интересам большинства населения страны, и это было равносильно тому, как если бы кто-нибудь среди привычных Евразии, Африки, двух Америк, Австралии и Антарктиды обнаружил вдруг неизвестный континент. Сегодня можно спорить с методологией статьи, но нельзя не поразиться ее решительности и ее правоте. Нахлебавшись «следствий» в таком количестве и качестве, каких нельзя было даже вообразить в невинном 1988 году, мы тем не менее отвыкли мысленно переходить от частного к общему: частности, одна сенсационнее другой, увлекают разум, как курицу просыпанные зерна, и впереди в качестве *источника событий* мнится огромный мешок пшена, содержащий будущее. Статья Сергея Андреева, будучи прочитана заново, возвращает нас к полузабытой практике логичного мышления и подводит теоретическую базу уже под сегодняшний, богатый подвигами управленцев, практический материал. Кроме того, стиль статьи, весь построенный, как шахматная партия здоровой человеческой речи против партийно-советского канцелярита, доставляет сейчас удовольствие даже большее, чем двенадцать лет назад, когда читатель то и дело впадал в постороннюю эйфорию, принимая мысль как таковую за антисоветский спецэффект. К сожалению, статья «Причины и следствия» не имеет и не может иметь аналогов в молодежном номере 1999 года: она осталась явлением своего времени, того эйфорического состояния умов, когда реальные факты порой казались выразительней и фантастичней любой литературы.

Что же из художественной прозы, опубликованной в «первом экспериментальном», действительно было экспериментом, а что только казалось таковым? Критерии, по которым собирался номер, сформулированы в предисловии к нему тогдашним (и до самого последнего времени бессменным) главным редактором «Урала» Валентином Лукьяниным: «Произведения этого номера необычны прежде всего своей образной сутью, формой выражения художественных идей превращения жизненных впечатлений в «вещество» искусства». Однако сегодняшнее перечитывание показывает, как часто путали тогда новизну формальную с новизной тематической. Конечно, содержание всегда — и даже у автора совсем неопытного, только-только освоившего азы — корректирует форму. Тем не менее напечатанный в номере едва ли не первый в перестроечной литературе «афганский» рассказ Олега Хандуся «Он был мой самый лучший друг» сегодня выдает свое родство с «армейской прозой» «молодых писателей», широко публиковавшейся в журнале «Юность». Легкая примесь натурализма (кровь афганской старухи, стекающая в тазик с мертвым новорожденным младенцем) мало окрасила этот совершенно здравый и вполне ученический текст (не хватило не крови, но мастерства — и собственной творческой призмы, через которую видится мир). Сегодня, когда натурализм, особенно кровавый, законно отошел к масскульту и в этом качестве уже никого не может удивить, пацифистский рассказ Олега Хандуся едва ли воспринимается как «вещество искусства». А вот рассказ Валерия Исакова «Человек с обочины». Тоже ничего особо радикального: текст написан в свойственной этому писателю ироничной манере, с элементами «фантастического реализма», также Валерию Исакову органически присущими. Героиня рассказа — это да, про спившихся писательниц тогда не принято было упоминать в печати сочувственно. Но вот что интересно: на момент составления и даже выхода номера никто не видел, что текст Исакова — в пределах наработанной художественной формы — намного лучше, тоньше, сложнее, нежели более «смелые» выступления многих соседствующих авторов. Эта слепота представляется мне характерной: ох, как путались тогда в головах «смелость» и «образная суть»! Кто сейчас решится отрицать, что «экспериментальный» номер посеял семена новой литературной конъюнктуры? И они попали на благодатную почву (причем иллюстрация номера — репродукции «нетрадиционных» живописных и графических работ — выстроили панораму грядущей конъюнктуры собственного рынка и были, не сознавая того, *товарными образцами*). Но только пока, по-моему, об этом никто не проговорился вслух.

Так было ли в знаменитом номере истинно новое «вещество искусства»? Разумеется, было. Наиболее радикальной по методу, наиболее свободной от дурных привычек соцреализма и наиболее при этом удавшейся мне представлялась тогда и представляется теперь повесть Александра Иванченко «Техника безопасности I». Правда, ныне вещь не так загадочна, как казалась когда-то: на поверхность этой сознательно запутанной работы всплывает не такая уж и сложная антитоталитарная метафора. Дан поезд, в поезде едет человек — по каким-то неизвестным причинам не вполне законный пассажир. То есть он как будто и легален, и лоялен: у него билеты, документы, багаж, — но что-то в нем выдает чужака. Человек и сам догадывается, что не все в порядке: он без устали обыскивает собственные карманы в поисках утраченного предмета, который мог бы засвидетельствовать его гражданскую состоятельность (самообыск, доходящий до раздирания одежды, занимает едва ли не четверть объема текста). Тем временем в поезде, где был первоначально только один арестантский вагон, появляются люди в черном, которые планомерно арестовывают всех пассажиров, а затем начинают по кругу арестовывать один другого, превращая выхватывание удостоверений в нечто похожее на игру «в ляпки», но от этого еще более зловещее. Когда же человек (имени герою автор принципиально не дает) наконец находит искомое и этим искомым оказываются наручники, все становится ясно и прочитывается до смыслового дна.

Но ясность эта — достояние нынешнего читателя. В 1988 году читатель еще недостаточно освоился с реальными прототипами условного сюжета — событиями сталинских, к примеру, репрессий (о прочих проявлениях тоталитарности в нашей и мировой истории представление было еще более смутным). Требовался целый вал документальной литературы, фактическая привязка сюжета к конкретным персонам, датам, лагерным и ссыльным географиям, чтобы он, сюжет, мог восприниматься как таковой. Это теперь мы стали умные, а двенадцать лет назад «Техника безопасности I» читалась, как страшноватая и темная притча. Однако нас интересует, конечно, что осталось от текста к сегодняшнему дню. Ведь если говорить откровенно, то время проявилось в повести не только ее идеологию, но и ее, скажем так, художественную зависимость от ряда первоисточников. В повести Александра Иванченко не-

вооруженным взглядом виден Набоков («Приглашение на казнь») и, разумеется, Кафка («Процесс» и менее внятно, но узнаваемо в «беспокойстве вины» человека — «Америка»). Сконструированная, механико-филологическая эротика повести (вот что мне всегда казалось излишним, изобретенным именно ради «смелости») отсылает способом своего возникновения из игры языка к текстам Саши Соколова.

Однако видно и то, что первоисточники автором преодолены. Поверх добровольно-принудительного заимствования (не путать с апроприациями позднейших постмодернистов!) ложатся своя интонация, свой художнически нажитый материал. Не каждому, кстати, дано. В чем главная суть метода Александра Иванченко? Повесть его (и не только она одна) — это *эстетические* причины и *эстетические* следствия. Пытаясь выяснить, относятся ли «черные люди» к миру уголовного или к миру государственной службы, безмянный человек не подслушивает разговоров, не анализирует, к примеру, процедуру ареста, а размышляет как художник (как автор): «Итак, черные люди с пистолетами и в перчатках. К тому же в шляпах и с зажигалками. Плюс отложенные воротники. <...> Изящные лайковые перчатки прямо вызвали образ хладнокровно перебираемых отмычек, ночь, темноту, полнолуние, чей-то явно непредусмотренный труп и, наконец, сейф. <...> что было в сейфе, человек все еще не знал и продолжал исследовать ход своих преступных ассоциаций. Сначала в сейфе были только деньги (отмычка без труда справилась с секретом). Немного, пачка или две. Оставшееся пространство сейфа было огромно. Неуместность этой мизансцены тотчас была обнаружена режиссером и отменена — как вследствие неуместности, но и неубедительности также». И далее: «Оставалась возможность государственного преступления, и человек с жаром принялся исследовать эту возможность. Как таковое оно хорошо сочеталось со спокойной уверенностью этих людей, с тем, что все они были в черном, и с тем, что у них были отложены воротники. Не всякий преступник может позволить себе так броско одеваться, застегиваться наглухо да еще откладывать воротник». Как видно из цитат, эстетическое расследование человека строится на том, что мир произведения буквально создается по художественной (а не по житейской, сколь угодно преломленной) логике. То есть не художественная форма извлекается из «форм самой жизни», но ровно наоборот: сцепление образов порождает предметы, ассоциации плодят персонажей. Здесь никто и ничто не приходит «ниоткуда», не появляется «со стороны»: все «внутри» саморазвивающегося текста, так что кажется, будто в первой фразе его заложены все последующие, вплоть до самой последней. В этом и заключается принципиальная «инакость» «Техники безопасности I» по отношению к тому, что средний вкус воспринимал и все еще воспринимает как «норму».

К «другой прозе», во многом близкой Александру Иванченко, можно отнести и два рассказа Александра Верникова: «Дозорный на границе» и «Не будите спящую собаку, или Где вы, доктор Юнг?» (Вот Верников, кстати, действительно был дебютантом и открытием «экспериментального» номера, его присутствием отчасти оправдана заявленная «молодежность».) Тут следует обратить внимание на два явления. Первое: проза Верникова, как и проза Иванченко (как и гораздо менее, на мой взгляд, состоявшиеся тексты Александра Крашенинникова и Андрея Матвеева), буквально напитана опытом *чтения*. Кортасар, Борхес, Кастанеда — вот лишь часть ингредиентов того раствора, на который Александр Верников кладет свои кирпичи. Опять-таки оговорюсь: перед нами не совсем игра культурными смыслами, характерная для нынешнего постмодерна, а может быть, и совсем не она. Литература «первого экспериментального» (как и многая другая современная ей литература) обладала неким особым качеством, впоследствии не повторившимся. Людям, имевшим «непроходные» тексты (а Верников к моменту своего дебюта писал и не печатался лет примерно семь и отличался от старших товарищей разве что тем, что по молодости не имел вещей «проходных»), приходилось как-никак молчать в сообществе большой и очень большой литературы, также не допущенной к печати. Пребывание в этом сумрачном раю даром пройти не могло: порой не особо сильные (а иногда так и просто худосочные) творения андеграундной словесности перенимали «повадки» серьезных соседей, собирали для себя их золотую пыльцу. Подобное соседство по ту сторону печатного станка и «подсветило» экспериментальный номер 1988 года, создав у читателя иллюзию мощного выброса уральского авангарда.

И второе: у Верникова, как и у Иванченко, эстетика, подчинив себе причинно-следственные связи, тем самым упразднила этику. Вопросы морали и нравственности — принципиально вне поля авторского рассмотрения. Главная внутренняя установка *однокоренных* (если не сказать одинаковых) героев Александра Верникова — уловить в окружающей действительности ряд значимых для себя состояний и с ними по возможности совпасть. То, что герой «Дозорного на границе» фактически без

причины бросает свою невесту и все ее доброе семейство, вложившее столько сил и средств в обустройство будущей жизни молодых, отрефлексировано героем лишь в параметрах бытийного открытия, сделанного во время службы на границе: «Днем он был направлен в караул на смотровую вышку. Нашагавшись вдоволь по ее площадке, он остановился, поудобней встал и приложил к глазам бинокль. Простояв так некоторое время, он вдруг всем позвоночником, спинным мозгом, всем существом от макушки до пят почувствовал, что стоит спиной ко всей стране и смотрит на ту, чужую сторону — там было на что смотреть!» Вот только это и важно, только к этому герой впоследствии и будет стремиться, «странно» вытягивая ноги из петель сюжета, планомерно разложенных автором, и избавляясь от всего, что не имеет отношения к «открытому для себя» *пограничному* состоянию души. Герой «Доктора Юнга», тот и вовсе убивает комиссара студенческого колхозного отряда. Убивает, правда, нечаянно: незадачливый комиссар пришел будить и расталкивать старшескурсников, отсыпавшихся в поле вместо того, чтобы грузить машины, ну и получил в результате сонного ответного взмаха перелом основания черепа. Сон тот был не просто сном, но коллективным погружением в подсознание, им одарила пришельцев открывшаяся пустота ничем не занятого полевого пространства, где «все было вдаль и ничего не было вблизи». Александр Верников, собственно, даже не провоцирует читателя на внутреннее несогласие со своими заторможенными персонажами (хотя некоторые традиционалисты из старших писателей на *несуществующую* провокацию, как мне помнится, поддались). Отношения героя с другими героями вообще не имеют особого значения: в этом смысле проза Верникова внепсихологична. В данных текстах человек взаимодействует со средой и с собственным «я» (еще, пожалуй, с языком текста, который не есть потусторонняя форма для героя, но часть окружающего его «вещества искусства»). Взаимодействие носит характер примерно того же *эстетического расследования*, что с блеском удавалось Александру Иванченко. Рассказы, опубликованные в «первом экспериментальном», до сих пор остались у Александра Верникова одними из лучших.

Обогащенные перечитыванием знаменитого прототипа, вернемся к «молодежному» номеру урожая прошлого года. (Он-то, кстати, и правда молодежный и чуть ли не студенческий — большинству авторов нет тридцати.) И сразу отметим то, что раньше не так уж бросалось в глаза: у авторов его, в отличие от покрывших себя увядаемой славой старших товарищей, не угадывается в подтексте никаких литературных учителей и кумиров. Такое ощущение, будто они вообще не любят литературу.

Исключение составляет, пожалуй, только энергичный и весьма провокативный рассказ Анны Матвеевой «Супертаня». Перед нами не что иное, как римейк «Евгения Онегина», кажущийся при первом прочтении всего лишь хулиганской выходкой молодого дарования, литературным материалом для команды КВН. Правда, уже на второй странице становится понятно, что все это сделано не ради смеха. Гремни у Анны Матвеевой превращается в бандитского «авторитета», Вова Ленский — в богемного и зависимого родственника бандита, Онегин — в переводчика с испанского и португальского языков Евгеника Иоганссона, типа трусоватого и безответственного, зато прекрасно приспособленного к данным ему условиям жизни. Пушкинский сюжет плывет и деформируется словно под давлением в десятки атмосфер, а что это за давление, мы уже немного знаем: столб времени для нового поколения пишущих сделался выше еще на миллиметр. А самое главное — в мире, описанном Анной Матвеевой, *нет никакого Пушкина*. И не было. «Онегин» не написан. Видимо, не написано и многое другое. Отсюда — разбалансированность мира, дикость событий, безъязыкость и тщета человеческих чувств, безысходность женского одиночества. Видимо, в «Супертане» показана Россия, какой она была бы без своей литературы.

В отличие от Анны Матвеевой, попытавшейся литературу отменить (и знающей больше читателя, что именно отменяется в ее сюжете), круг чтения Марины Живулиной, если определять его по повести «Дикий сад», сведется, пожалуй, к чему-нибудь романтическому начала XIX века, непосредственно наложенному на современный дамский роман. Главный герой по имени Олег, ставший причиной всех событий повести, обладает неотразимой демонической красотой, возбуждающей страстную любовь и женщин, и мужчин. Зная за собой это роковое качество, Олег старается не навредить любящим его, а в результате отдается всем, кто этого захочет. Содержание повести составляют драматические объяснения и любовные сцены на фоне вишневым «мерседесов», шикарных баров, дизайнерски оформленных телевизионных студий и элитных дискотек (также в повести элегантно употребляются догрии наркотики). И тут уж поздно говорить «Не делайте мне красиво»: сделано —

со всей избыточностью и восклицательным пылом человека, только-только научившегося что-то изображать при помощи слов. Тщетно читатель стал бы искать в этом «Диком саду» чего-нибудь, что не смотрелось бы еще органичнее на страницах глянцевого журнала типа «ОМ» или «Птюч»: писательница не оставила места такому подвигу. Невооруженным глазом видно, что мир Марины Живулиной очень заданный, очень стандартный — как бы ни претендовал стандарт молодежной культуры на «продвинутость» и «инакость».

Одновременно становится понятно, что нравственный вопрос вовсе не кажется молодым писателям чем-то посторонним для художественной литературы. Их старшие товарищи, озверевшие от призывов партии воспитывать читателя на положительных примерах, поставили эстетику выше этики, но нынешние дерзатели и дебютанты обнаружили себя заброшенными в жизнь без нормального запаса вечных истин, о которых еще говорят, что они прописные. Давненько такого не было в нашей истории! Разные смешные слова — «честность», «порядочность», «совесть», «добро» — сделались элементом, уже без всяких иллюзий, политической рекламы, что эстетам образца 1988 года могло бы только приветствоваться, но сегодняшние «новые» авторы внезапно ощутили, что им не хватает в окружающей действительности ряда занудных категорий, против которых молодежи вообще-то полагается бунтовать. И так же, как человек, чувствующий недостаток любви к себе, влюбляется сам, так и молодые писатели принялись внедрять позитивную нравственную программу средствами своей литературы.

Главный герой повести Андрея Попкова «Не думайте смерть», по имени Алексей Иванович, по профессии врач, пытается найти причину болезни, условно названной «чумой». На самом деле это вовсе не инфекция, никто не выделил возбудителя, сыворотка, спешно изготовленная по приказу властей неизвестно из чего, оказалась буквально припаркой для мертвецов. Случай плюс внезапный приступ ясновидения открыли герою, что умирают больные вовсе не от физических патологий, а от черноты и несправедности помыслов. Чтобы человек как вид совершил необходимый эволюционный скачок, сделавшись истинным посредником между Богом и природой, ему, по мысли Попкова, необходимо очиститься, как бы ни была ужасна цена очищения. У Марины Живулиной главный герой, так страдающий от чужой любви и собственного рокового совершенства, предстает и демоном, и падшим ангелом — грешником, трагически призывающим к исправлению нравственного зла. Но вот получилось же так, что в ее повести, поверх избыточных красотей и роковых любовей, вопреки банальному «глянцевому» письму, выговорилось нечто действительно больное и в этом качестве — точное: «В наше время грех — не способ ублажить плоть, но способ замены реальности». Каково? Не только диагноз состояния нравственности, но и *угаданная* формула состояния культуры.

Конечно, в литературе есть и «другие молодые» — как раз весьма начитанные, объединенные между собой и со своей аудиторией общим полем культовых текстов (Сорокин, Пелевин, неизбежный Кастанеда и так далее). Они и более заметны в литературном процессе; у них имеются и персональные святые из «больших» (так, читателям Анастасии Гостевой уже не по отдельности, а просто хором следует повторять ключевое слово «Джойс»). Но вот в «молодежном» номере «Урала» подобрались такие, заставляющие задуматься: а каково это — быть молодым писателем именно в тот момент, когда общество только что сбросило литературоцентричность с корабля своей современности? Ей-богу, не вру: один из авторов данного номера на полном серьезе расспрашивал меня, кто такие Маканин и Битов, а в конце разговора записал фамилии на бумажку. И не потому, что он такой плохой, — наверное, не поэтому. Просто он, действительно талантливый прозаик и при этом *искусственный* варвар, живет во времени, никак для него не предназначенном. Во времени, где и правда почти нет никакой литературы. При этом не писать он не может: что дано от Бога, то не очень-то вытравишь. И писать он будет — но вот что? Это нам еще предстоит узнать.

Признавая за авторами «первого экспериментального» если не поголовную гениальность (при сегодняшнем чтении не подтвердившуюся), то по крайней мере превосходящее литературное мастерство, все-таки скажу: авторы второго «молодежного» «Урала» мне милей. Хочется верить в них, хочется быть с ними. Им будет трудно. Потому что они *будут старие*.



Владимир БЕРЕЗИН

Зверье

«Смерть тараканам, скидки инвалидам».

Объявление в газете

Зверье в массовой литературе легко делится на две неравные группы — помощников-симпатяг и монстров-убийц. Симпатяги всегда малочисленны, гады — плодovitы.

Положительные звери-персонажи, как правило, теплокровны и мохнаты. В первую очередь это собаки — вот вам «Ко мне, Мухтар!» и его американский вариант «К-9», а также тягучий, как тянучка, австрийский вариант на ту же тему.

Теплокровность и мохнатость, впрочем, не безусловно обязательны: три бестолковых поросенка все же побеждают вполне волосатого волка. Да и поросенку Бейбу свиная щетина не помешала стать любимцем кинозрителей.

Еще одним исключением из правила теплокровности и мохнатости стали гладкокожие дельфины. Раньше они, как это описано в «Разумном животном» Р. Мерля, сопротивлялись планам империалистов поставить их на военную службу, теперь вместе со старшими братьями — людьми борются за экологию.

Что касается фэнтези, то там мало зверей, а есть существа: ну, скажем, знаменитые толкиеновские хоббиты. Фэнтези вообще следует тем философам, что распространяют понятие «душа» на все живое. Конечно, биологически слово «зверь» суть то же, что млекопитающее, однако в массовой культуре оно почти заменяет слово «животное».

Даже космический гость Альф — не зверь, а существо.

В фантастических фильмах правильные звери — это мохнатые, похожие на болонок или медвежат создания, какими были, например, гремлины, пока их не накормили после полуночи. Но, как всякие положительные герои, мохнатые симпатяги в своих проявлениях не так интересны. Они скорее ослабленная, требующая защиты и отвечающая преданностью копия людей. Это недолюди. Просто братья, хоть и меньшие. Кинг-Конг из великана-терминатора превращается в несчастную жертву цивилизации, потому что он существо пушистое. Даже в американских фильмах, снятых по мотивам фантастического романа Пьера Буля «Планета обезьян», умные обезьяны, соперничающие с людьми, на поверку оказываются эвфемистическим наименованием не то индейских, не то негритянских сообществ. Почти друзья.

Вот враг — другое дело. И приоритет в создании животного-врага принадлежит именно фантастике. Воевать со зверем в условиях реальности, в обыденной жизни невозможно. Давление «Greenpeace», западной системы стереотипов давно вытеснило сюжет драки не на жизнь, а на смерть, что вели Старик и Большая Рыба.

В фантастике виды неисчезающи, и, помимо двуногого мыслящего, врагом может стать самое невероятное существо. Набор признаков врага в фантастике легко вычисляем — подобно «арафаткам», саддамовским усам, длинным шпионским плащам вкупе со шляпами и темными очками, которыми наводнены комедийные американские фильмы. Этот набор есть классический набор ксенофобии.

Во-первых, враг похож на насекомое. Сразу надо оговориться, что различия между насекомыми и членистоногими рядовой читатель и зритель не видят. И видеть они не обязаны, они все-таки не зоологи. Насекомые же — класс беспозвоночных животных типа членистоногих. В массовой культуре опять же эти тонкости стираются и можно употреблять любой термин. Все едино.

Зверь-враг есть совокупность хитина и какой-нибудь отвратительной жидкости, сочащейся изо рта (ртов). Хитин можно заместить на кремниевый панцирь, по венам погнать кислоту — это сути дела не меняет.

Во-вторых, как всякая чужая популяция, и насекомых в том числе, враг многочислен. И плодится он качественно иным способом — страшнее, когда он вылупляется из яиц. Это подчеркивает его «чуждость» человечьему племени.

Он неиндивидуален — каждая особь взаимозаменяема. Отвлекаясь от зверья, надо заметить, что военная пропаганда одной из главных своих задач всегда имеет деперсонализацию чужого солдата — иначе убивать труднее.

Идеальный враг похож на огромного таракана-убийцу.

Издавна, кстати, в России таракана звали прусаком, а в Германии — русским. Недавно один человек купил средство от тараканов арабского производства. На нем изображен маленький таракан. В ермолке.

Таракан давно уже стал мифологическим животным мировой литературы. Высказывается, например, такая мысль: герой знаменитого рассказа Кафки «Превращение» стал не каким-то странным насекомым, а именно тараканом. Это объясняет многое.

А следы таракана можно найти на любых страницах, как ни метафорично это звучит. По сообщению Большой Советской Энциклопедии — издание второе, синее, — в Индонезии существует даже порт Таракан с нефтепромыслами и развитым рыболовством. Так это или не так сейчас — нельзя судить с полной определенностью. Слишком много странных сведений заключено в этом солидном собрании томов.

Таракан же, наш сосед, существует определенно. Вот он — побежал, шевеля своими тараканьими усицами, что хорошо рифмуется со словом «голенища».

Под тараканий шорох времен менялись герои в русской литературе. Когда русский интеллигент перечитывал ее, классическим дополнением к пейзажу служила следующая деталь: на его кухне тараканы играли в салочки, с грохотом бегая по мятой бумаге.

По-настоящему в беллетристике они появились в описаниях гражданской войны. Говорить о них ранее было дурным тоном или же почти гротеском.

В конце булгаковской пьесы Хлудов говорит: «Я не таракан, в ведре плавать не стану». А вокруг него кипит жизнь под вывесками: «Sensation a Constantinople! Courses des safards! Races of cockroaches!» Жизнь под крик: «Тараканы бегут по открытой доске с бумажными наездниками! Тараканы живут в опечатанном ящике под наблюдением профессора энтомологии Казанского императорского университета, еле спасшегося от рук большевиков!»

Усатое домашнее зверье живет под чьим-то наблюдением и в другом творении. Имя ему — «Похождение Невзорова, или Ибикус». Но и там появляется какая-то Фигура и произносит: «Жульничество! Артурка пивом спойл Янычара!» Артур же в отчаянии кричит: «Где вы видели когда-либо пьяного таракана?»

Да видели! Сам я, сидя в кухне, наблюдал одного такого, ковыляющего походкой негодяя, опившегося дихлофосом. К кому не приходили тараканы-беженцы? Те, что спасаются от соседской поправки, — вот, вот, прибежали, родные... Не берет дихлофос наших тараканов, они только косеют от него. Говорят, они не боятся радиации, и толпы мутировавших усачей в белых хитиновых панцирях расплозуются от реакторов. Нечисть плодится и множится.

Некоторое время назад в Москве появились американские тараканы. Черные, в два раза крупнее своих отечественных собратьев, они были привезены как диковина. И правда, они обладали почти членораздельной речью и за это продавались на Птичьем рынке по полтиннику за штуку. Гости расплозились со скоростью австралийских кроликов. Одна застенчиво-интеллигентная дама с ужасом вспоминала, как в коридоре собственной квартиры встретила с заморским чудищем и негодяй стал фыркать на нее.

Недолгие размышления над фильмами ужасов приводят к выводу, что наибольший страх вызывают представители наиболее совершенного по сравнению с нами биологического вида. Одним словом, насекомые и членистоногие. «Таракан, таракан, таракашечка...» — речитативом повторяют детские стихи. Чуковский оказался провидцем — таракан стал героем.

Есть, правда, среди зверей-врагов еще и крысы. Крысы иногда кажутся даже противнее, потому что имеют преимущество перед человеком, играя с ним на одном поле — среди живородящих. Это изверги группы пушистых и теплых. Но все же человечество готово примириться с крысой и даже ввести в качестве мудрого персонажа в литературу.

С тараканом — иное. Плюшевых тигров в детских магазинах сколько угодно, но невозможно найти плюшевого таракана. А ведь нет ни одного свидетельства смерти человека от лап таракана, но от лап и когтей тигра — сколько угодно.

Никто не несет ребенку в подарок славную усатую игрушку.

Именно женщины особенно переживают от вида тараканов. И в этой связи интересен мотив «изнасилования» женщины космическим тараканом. Героиня космической саги о «Чужих» А. Д. Фостера Элен Рипли проходит именно через это.

Чужие действительно наполнены кислотой, прожигающей всё и вся, действительно в них заложена иррациональная агрессивность, отнюдь не всегда связанная с продолжением рода, охраной потомства или голодом.

У Чужих есть матка, стройная, насекомовидная система размножения, плодовитость, загадочность цели существования. В общем, это классический враг — таракан, преобразившийся в гигантское хвостатое и зубастое существо. Вот цитата из одного романа: «Огромная голова на длинной суставчатой шее прижалась к груди, и морды существа видно не было, а шипастый гребень на черепе возвышался над туловищем. Шесть членистых конечностей плотно прижались к телу, многометровый хвост, свернутый в кольца, безжизненно лежал на полу зала. От туловища отходили две полупрозрачные трубы, теряясь где-то в темноте. Свет фонарей отражался от матово-хитинового покрова чудовища...» Это тараканья матка Чужих.

Произведенный от такой матери таракан непобедим, как Джеймс Бонд (или Джеймс Бонд непобедим, как таракан). И непобедим так же, как Чужие. Битва с ними вечна, на радость писателям и кинематографистам.

Книги о Чужих, мутировавших тараканах, обладая сюжетной незавершенностью (главным качеством любого сериала), по сути — фрагменты большого повествования.

Истребление зверя-врага бесконечно, как бритье, и безнадежно, как выведение тараканов. Невольно вспоминается одно рекламное объявление: «Избавим от тараканов навсегда. Гарантия полгода».

Рассказы о космических тараканах плодятся, как вариант фантастических романов Гаррисона, как ходилка-стрелялка, беллетризованная компьютерная игра в стилистике незабвенного «Duke Nuckem»а. Персональная корректность этой игры заключалась в том, что врагами игрока становились мутировавшие свиньи с дробовиками, демоны и уроды. В предшественниках «Duke Nuckem»а, например в «DOOM», битва шла с людьми. Игрок убивал себе подобных. В этом принципиальная разница.

И в финале таких виртуальных побоищ именно тараканоподобный монстр выглядывает из-за угла.

Вот и сейчас, когда я пишу все это, представитель неистребимого племени высунул голову из-за плинтуса, пошевелил усами, огляделся и побежал через кухню.

И всегда был противником эсеровских методов. Пусть живет.



Фасон испанского сапога. Гвоздь нового зона

Разглядывая занятную книгу, какую-нибудь «Иллюстрированную историю всемирной инквизиции», невольно задаешься вопросом: что есть прогресс, а что — регресс?

Ну, скажем, не в области духовного — куда там! — пусть в технической.

Ведь какой-нибудь испанский сапог — в конце концов довольно изящная и не в пример остроумно сконструированная вещица, и современный рокер либо металлист таскался бы в нем на всевозможные тусовки едва ли не с наслаждением.

Носили же нечто подобное и его более культурные предки, не рокерам чета. Хотя бы Иван-царевич, спаливший прикид — лягушачий камуфляж малознакомой царевны, а затем выхаживающий прощение высших сил: «Вот, делать нечего, пошел искать, взял железные сапоги и три железные просвиры. Шел, шел, сапоги железные износил, три просвиры железные сглодал и опять захотел есть».

Очередную порцию железных просвир наркомат пищевой и оборонной промышленности еще может выковать, а новые железные сапоги получить никак нельзя — положенный срок не вышел. Сапоги среднему августейшему составу, к которому относится Иван-царевич, выдают равным счетом на два года. Стоптал по небрежению, можно только заново подметки приклепать и свежие цинковые портянки сменить после бани у Бабы Яги.

Но вернемся назад из прошлого. Итак, есть ли он, технический прогресс?

Сколько своих голов и чужих ног изломали старательные испанцы, сооружая такие тяжкие механизмы! И зря? Все насмарку? Или не нужно нам ничего чужого, у нас особый русский путь?

Мы своего и без испанских сапог добивались.

«Он, — рассуждает о Сталине писатель Эммануил Казакевич, — знал, что даже у великих артистов, поэтов, ученых и философов есть только по два яйца, и если хорошо отдавливать их дверью, то данный артист, поэт, ученый или философ забудет, кем он был. И, зная это, он неоднократно с успехом применял эту методику».

Просто, надежно, действенно. Опять-таки не имеет мировых аналогов.

Правда, Валентин Катаев, пытаясь было не согласиться с автором «Синей тетради» и восстановить приоритет, написал повесть о Ленине «Маленькая железная дверь в стене». Однако, во-первых, дверь была хоть и железная, но маленькая. И главное, в стене, а подобным актам дознания и самораскрытия в те двойственные времена более всего мешала публичность¹.

Пришли на память эти проклятые вопросы уже не при перелистывании «Истории инквизиции», а за проглядыванием книги Т. Чередниченко «Россия 1990-х в слоганах, рейтингах, имиджах / «Актуальный лексикон» (М., «Новое литературное обозрение», 1999)².

Какое название подобрать этому жанру, методу современной социологии? Социологический допрос или перекрестный опрос с пристрастием?

В приснопамятные времена, о которых давно уже никто ничего не помнит, необходимые показания добывались самыми разными способами. Например, тщательно

¹ Семиотическое окно — 1.

Вообще Катаев вечно опаздывал. Например, хотел быть родоначальником, провозвестником новой прозы, скажем, мовизма, но хуже его писали едва ли не все современные писатели, а Гладилин писал настолько плохо, что Катаев назвал его своим лучшим учеником. В какой-то момент собрался он создать сочинение о самом-самом главном, но, поняв что к чему, озаглавил его с повинной простотой «Уже написан Вертер»... Так и сыпались на него удары со стороны классиков. Впрочем, это так, по ходу дела к слову пришлось.

² Семиотическое окно — 2.

Не оцениваю само это сочинение, мне любопытен принцип его постройки, подход к материалу.

но отжимая вышеупомянутые гениталии подозреваемого дверью³ или аккуратно забивая ему под ногти иголки.

Судопроизводство подобные способы вряд ли обогатили, зато русский язык приобрел великолепное выражение — подноготная правда. А о людях, выдерживающих любые генитальные пытки, говорят словечко «крутой» (вероятно, произошедшее от слова «вкрутую»).

Времена смягчились, и добывание нужных сведений путем телесных истязаний почти не практикуется. Однако в историческом арсенале осталось немало других, также эффективных уловок.

Скажем, подтасовка сказанного. Или, научно говоря, монтаж цитат. Этим испытанным образом дознания и воспользовался современный социолог. Тщательно проработав материал телепередач из серии «Лексикон истории культуры», выбрал необходимые высказывания и смонтировал их в нужном порядке, придав отрывочным фразам вид связной дискуссии.

И вот по мановению волшебной палочки (ну, джойстика, чтобы не отставать от побегов прогресса) беседуют киновед Даниил Дондурей, культуролог Александр Панченко, кинорежиссер Андрей Михалков-Кончаловский и еще многие-многие известные лица.

А можно сказать и так: компьютерная культура. Новые веяния. Свобода мнений. Духовный либерализм.

Автор-составитель тоже на красивые слова не скупится: лексикон, брэнд, русифицированная версия, окна, распахивающиеся в разные темпоральные стороны.

Но стоит ли цель таких усилий?

Желаете чистосердечное признание во всех своих и чужих делах и помышлениях? Пожалуйста.

Существуют отлично проверенные, старинные методы (ударение — и как можно сильнее, с оттяжкой — на среднем слоге).

Виртуальная дверь.

Кейбордом по пальцам.

И ответ на любой вопрос готов.

Новое — это хорошенько забитое старое. Прогресса не существует. А механизм чем проще, тем и надежней.

Ни в жизнь не поверю, будто у испанского сапога могут произойти системные сбои из-за «проблемы 2000 года». Иголка — столь действенное и — в хорошем смысле — примитивное приспособление, что сквозь ее ушко возможно и верблюда прогнать (если подталкивать его в зад опять-таки железным сапогом либо приманивать железной просвирой).

Все в порядке вещей. Пока Иван-царевич истово стаптывает казенную обувь, царевна-лягушка не пребывает в нетях, она проходит на спецбазе курс молодого бойца. А потом они организуют с царевичем группу захвата: один бросок — и власть в их руках. Царевич на престоле, лягушка обучает придворных дам приемам рукопашного боя.

Кажется, в этом огромном мире только люди смертны, прочее же вечно. Архетипы. Традиции. Методы. Живем, как в громадном компьютере.

Да вот хотя бы либеральные иллюзии. Ничего с ними не поделать. Их отжимают дверью, а они лезут в семиотические окна.

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ МОСКВОВШВЕЯ

Список дополнительной литературы

Русские народные сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. М., Государственное издательство художественной литературы, 1957.

Х. А. Льюренте. История испанской инквизиции в двух томах. М., «Ладомир», «АСТ», 1999.

Э. Казакевич. Слушая время. Дневники. Записные книжки. Письма. М., «Советский писатель», 1990.

Я. Шпренгер, Г. Инститорис. Молот ведьм. М., «Интербук», 1990.

³ Семиотическое окно — 3.

На этом уровне разрешается знаменитое Митрофанушкино противопоставление: дверь тут и существительное, и очень прилагательное.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписные индексы нашего журнала в каталоге Агентства «Роспечать»:

для Российской Федерации — **73293**;

для стран СНГ — **79209**.

Во втором полугодии 2000 года каталожная цена на один месяц:

для подписчиков Российской Федерации — 36 рублей;

для подписчиков стран СНГ — 41 рубль

плюс стоимость доставки.

В редакции можно оформить подписку на «Октябрь» по льготной цене и приобрести отдельные номера. Выдача и продажа журналов производятся ежедневно с 12 до 17.30, кроме субботы и воскресенья. Справки по тел. 214-31-23.

В розницу наш журнал можно приобрести в московских книжных магазинах:

«Ad marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

«Библио-Глобус» — Мясницкая, 6;

«Гилея» — Б. Садовая, 4;

Литературный клуб «Графоман» — ул. Бахрушина, 28;

Книжная лавка при Литературном институте им. М. Горького — Тверской б-р, 25;

Книжно-нотный салон «Летний сад» — Б. Никитская, 46;

«Мир печати» — 2-я Тверская-Ямская, 54;

«Эйдос» — Чистый пер., 6.

Распространением журнала «Октябрь» за рубежом занимаются:

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенс» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax. (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37);

государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» Академцентра «Наука» Российской академии наук (State Foreign Trade Company «NAUKA-EXPORT» of «NAUKA» Akademizdatcentre of the Russian Academy of Sciences. 90, ul. Profsojuznaja, Moscow 117864, Russia. Telefax (095) 334-74-79, (095) 334-71-40). E-mail: nauka @ naukae. msk. ru

Читайте в ближайших номерах

«ДНЕВНИК ЧИТАТЕЛЯ»

ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА

«Когда все читают, это ненормально, все читателями быть не могут, равно как гипнотизерами, канатоходцами, предсказателями будущего, живописцами, лицедеями, чревовещателями, подвижниками, изобретателями, рапсодами, анахоретами, коллекционерами, дельцами, специалистами по белому муравью. Страсть к чтению есть в своем роде избранничество и талант, и оттого она встречается в природе чаще, чем kleптомания, но значительно реже, чем расположенность выпить и закусить. К тому же читатель — существо привередливое, выше всего ставящее счастье общения с лучшими умами человечества, в ущерб благам цивилизации, продолжительности жизни и мнению о себе. С другой стороны, читатель есть существо по-своему отчаянное, неустрашимое, потому что общение с лучшими умами человечества чревато такими мучительными открытиями, о которых Екклезиаст пишет: “Во многия знания многия печали”».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*В 2000 году «Октябрь»
предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Роман.**

Наталия ИЛЬИНА. **Из последней папки.** Записи разных лет (1957—1993).

Николай КЛИМОНТОВИЧ. **Далее везде.** Книга прозы.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**

Стихи.

Юрий ОЛЕША. **«Прости меня, Суок, что значит вся жизнь».** Письма Ю. Олеси к жене.

Владислав ОТРОШЕНКО. **Новочеркасские рассказы.**

Сергей НОСОВ. **Член общества, или Голодное время.** Роман.

Олег ПАВЛОВ. **В безбожных переулках.** Роман.

Рассказы и статьи из новой книги.

Евгений ПОПОВ. **Повесть.**

Вячеслав ПЬЕЦУХ. **Дневник читателя.**

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Ольга СЛАВНИКОВА. **Повесть.**

Борис ХАЗАНОВ. **Рассказы. Статьи.**

Евгений ШКЛОВСКИЙ. **Рассказы.**

Сергей ЮРСКИЙ. **Опасные связи.** Продолжение новой книги.

А также **новые произведения** Петра АЛЕШКОВСКОГО, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Владимира КАНТОРА, Михаила ЛЕВИТИНА, Владимира МАКАНИНА, Афанасия МАМЕДОВА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Ирины ПОЛЯНСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Леонида ФИЛАТОВА, Александра ХУРГИНА, Асара ЭППЕЛЯ и др.

Постоянные рубрики ведут известные критики Ольга СЛАВНИКОВА, Владимир БЕРЕЗИН, Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ.
